

СИБИРСКИЕ ОГНИ



**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Правительство Новосибирской области

Редакционная коллегия:

М.Н. АКимова (зав. отд. публицистики)

Н.М. АХПАШЕВА

Б.Л. АЮШЕЕВ

А.Г. БАЙБОРОДИН

Ц.-Х. БАЛДОРЖИЕВ

Б.Я. БЕДЮРОВ

В.А. БЕРЯЗЕВ

Б.В. БУРМИСТРОВ

В.В. ДВОРЦОВ

Б.С. ДУГАРОВ

А.И. ИВАНТЕР

В.Н. КАЗАКОВ

А.В. КИРИЛИН

Н.В. КОРНИЕНКО (член-корр. РАН)

В.Н. КОСТИН

М.В. КУДИМОВА

С.Г. МИХАЙЛОВ (зав. отд. поэзии)

А.М. РОДИОНОВ

Э.И. РУСАКОВ

В.Н. СЕРОКЛИНОВ (зав. отд. прозы)

В.И. ТИТОВ (отв. секретарь)

М.А. ЧВАНОВ

Т.Г. ЧЕТВЕРИКОВА

В.Н. ЯРАНЦЕВ (зав. отд. критики)

Главный редактор: В.А. БЕРЯЗЕВ

7 июль 2013

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

| | |
|---|-----|
| Дмитрий ШЛЯПЕНТОХ. Конец Истории: благословенный Иов. Повесть. ... | 3 |
| Олег КОПЫТОВ. Долгая дорога. Рассказ. | 42 |
| Елена КРЮКОВА. Девочка и смерть. Главы из романа. | 53 |
| Алесь ПАШКЕВИЧ. Сим победиши. Роман-парабола. | 74 |
| Александр КРАМЕР. О скитальцах и странниках. Повесть. | 117 |

ПОЭЗИЯ

| | |
|--|----|
| Юрий КАЗАРИН. Ледяная простуда. Стихи. | 38 |
| Юрий ЗАФЕСОВ. «А стрела все летит и летит...» Стихи. | 47 |
| Амарсана УЛЗЫГУЕВ. Из цикла «Утро навсегда». Стихи. | 72 |

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

| | |
|--|-----|
| Владимир АЛЕЙНИКОВ. Саю ваю. | 140 |
| Алексей ЗЯБЛИКОВ. Провинциальная столица. | 154 |
| Лариса БЕЛКОВЕЦ, Сергей БЕЛКОВЕЦ. История германского консульства в Новосибирске. Продолжение. | 165 |

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

| | |
|---|-----|
| Борис КУТЕНКОВ. Безутешный утешитель. | 180 |
| Владимир ЯРАНЦЕВ. Эта «маленькая» Кострома. | 186 |

ЛИТЕРАТУРА НОВОСИБИРСКА

| | |
|--|-----|
| Борис ПОЗДНЯКОВ. Два рассказа. Рассказы. | 131 |
| Владимир ТИТОВ. Южные окна. Стихи. | 115 |

| | |
|----------------------------|-----|
| <i>Авторы номера</i> | 191 |
|----------------------------|-----|

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Журнал зарегистрирован в Мининформпечати РФ. Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Главный редактор, руководитель ГБУ «Редакция журнала «Сибирские огни»» В.А. Берязев.

КОНЕЦ ИСТОРИИ: БЛАГОСЛОВЕННЫЙ ИОВ

П о в е с т ь

1982—1984 гг.

В Нью-Йорке или Чикаго Иов смешон... даже не смешон, это я неправильно выразился — он просто не смотрится, теряется среди витрин, рекламных огней и бродячих проповедников всех возможных религий и политических теорий. А его вопрос к богу — просто один из товаров или реклама его. А поскольку у него нет рекламных огней, роста он среднего, голос не слишком зычный, то, по всей вероятности, его обойдут, не заметят прохожие, в лучшем случае бросят медяк на поживу.

Да и вопросов у него не может быть, в силу того хотя бы, что вопросы, делающие Иова Иовом — вопросы, изначально неразрешимые не только на практике (в этом-то, в практической неразрешимости вопросов, ничего удивительного и специфически нового нет), но даже в теории, в Америке не существуют. Любой Иов в Америке быстро ответит себе на все свои библейские вопросы. Если он впадет в бедность, то это потому, что на рынке скота затоваривание, и делать ему со своими баранами нечего. Если у него ушла жена, то, опять же, все это очень понятно — жена встала на ноги, хорошо устроилась и вместо старого, плешивого и бедного шизофреника нашла молодого, красивого и богатого любовника или мужа. Если от него ушли дети, то и в этом ничего загадочного нет — кому нужны старые родители, которые к тому же не могут платить за колледж.

В Иерусалиме, на горе Скопус Иов не смешон, он естественен. Красная, воспаленная земля кремнистыми, шершавыми надломами и зубцами уходит вниз. А там, между синим индиговым небом и красной охрой, на том самом месте, где в средней полосе находятся робкие и размытые полутона, лежит гора с драгоценным золоченым яйцом Илясы, мечети, стоящей на месте Храма. Город выжжен солнцем, прокалился до серых пепельных цветов, кажется нематериальным, воздушным, готовым рассыпаться от первого прикосновения, — должно остаться только золотое яйцо Илясы. Город-символ.

Ночью на горе Скопус почти нет прохожих. Ночь накрывает ее быстро и основательно, закупоривает со всех сторон. Сверху вспыхивают все разом бесчисленные южные звезды, и губы сами собой шепчут из «Мастера и Маргариты»: «И тьма пала на древний город Иерусалим...»

Человек может быть абсолютным, черноземным бюхнеро-молешоттовским атеистом, но и ему, хотя бы из любви к театральному жесту, хочется здесь если уж не упасть на колени, то хотя бы поднять руки к этим находящимся на неизмеримых

расстояниях от горы Скопус звездам и воскликнуть: «Господи!» При этом значение этого слова может быть каким угодно. Так что его вполне может произнести, повтворю, и черноземный бюхнеро-мошоттовский атеист, не поступаясь ни на йоту своими атеистическими убеждениями.

Здесь, на горе Скопус, Иов вполне естественен, как на театральной сцене. И если бы он здесь упал на колени и, воздев руки к небу, закричал бы: «За что, Господи?!» — то он, несомненно, был бы замечен, а может быть, даже не высмеян.

Мне все говорили, и я читал, что Израиль отличен от Америки, вернее, не сам Израиль, а его восприятие. И я этому верю. В Америке, я думаю, можно оставаться равнодушным. То, что американцы называют любовью, это вовсе не любовь — она по сути своей требует жертв, а какие у американцев могут быть жертвы? Даже в национальном историческом предании солдат, павший на поле боя, оттесняется куда-то в сторону удачливым бизнесменом, который начал свою карьеру подметальщиком полов, а закончил банковским воротилой. Святым национальной истории объявляется не тот, кто давал, а кто брал. Не Христос, а мытарь. Американцы, которым я обычно это говорил, мне возражали, говорили, что никакого противоречия тут вовсе нет, что бизнесмен этот способствует процветанию любимого отечества, что «счастье каждого является условием счастья всех». А это — софизм. И такого в истории наций, да и нигде, нет, потому что любовь, будь она к земле или профессии, требует в первую очередь жертвы. А если нет жертвы, то нет и любви, а есть половой акт. Что, надо сказать, американки прекрасно понимают.

Израиль, я думаю, нужно или ненавидеть, или любить. Ненавидеть его должны те, кто приехал сюда брать. А любить — те, кто приехал давать. И отдав, они должны стать органической частью этой страны.

И еще была причина, почему сердце мое сжималось, когда самолет приближался к желтому песку посадочной площадки. Евреи — народ Книги. И от соединения земли и народа должно произойти нечто такое, чего история не видывала. Бог благословил Иова. Благословил за тысячелетний путь терпения. И откровения должны полновесными гроздьями висеть тут на каждом кусте... И откровение было. Говорили камни и воздух. А люди молчали.

Они очень красивые, израильтяне. Я никогда не видел таких красивых и сильных евреев не то что в России — даже в Америке. И я стал заговаривать с ними (они все почти говорят по-английски). Я бросал цитату-искру, ту, от которой мой собеседник в России немедленно вспыхивал и говорил, обняв меня за плечи: «А не выпить ли нам». И мы шли в кабак, кабак грязный и вонючий, смрадную московскую забегаловку. Или лучше к нему, в коммунальную крошечную клетушку с туалетным бачком, покрытым бахромой ржавчины. И был разговор «о боге и о бессмертии». А те, кто в бога не веровали, те на социализм переходили. Ибо это «истинно русский вопрос». А поскольку моими собеседниками были часто не только русские, но и еврейские мальчики, то я понимал, что это не только русский, но и еврейский вопрос.

Но для местных жителей этот вопрос отсутствовал. И были они равнодушны не только ко всяким экзотическим соловьевым и федоровым, но и к туземным буберам, и даже к книге книг. И это равнодушие было не слабее американского, какого-нибудь северо-дакотского. «А зачем нам все это?» — говорили они усталыми глазами, поправляя болтающийся за плечами автомат. И очень скоро случилось то, чего я никак не мог предположить в Америке: Израиль, вернее, его коренные, здесь рожденные жители — мне стали скучны так же, как и американцы в своем подавляющем большинстве.

Мне тут же возразят, что никакого права говорить о том, что скучно, а что нет, у меня не может быть, ибо пробыл я в стране без году неделя. Да разве нужны годы, чтобы понять страну? Понимание это рождается сразу же или никогда. Ненависть может перейти в любовь, любовь — так чаще всего и бывает — в ненависть, а скука



никогда ни во что не переходит. Она стабильна и только может поворачиваться различными своими гранями, подобно бриллианту на ювелирной витрине. С первого дня моего пребывания в Америке я понял, что американцы в своем большинстве постно-добродетельная, трудолюбиво-безвкусная нация, что все оргиастически-проискуитетные празднества на обложках их журналов и кровавое безумие их боевиков — обратное отражение целомудренно-застенчивого, эвклидово-одномерного, однообразного течения их бытия, подобно тому, как вселенская мощь еврейского Адоная была обратным отражением еврейского политического убожества. По прошествии многих лет моего пребывания в Америке мое отношение к ней не изменилось ни на йоту.

Израиль скучен, Америка скучна. А Россия — не скучна...

А вы в этом уверены? А может быть, всего там и скучней, и нет, быть может, более скучно-тоскливого места на земле: метелица метет без просвета и продыха, рваные серые облака, луна фонарем мигает... Так что остается только высунуть морду из форточки и выть на нее. Неужто и Америка плоха, потому что они не слушают советы эмигрантов?

А я вот думал: приеду в Израиль — и буду учить. И ошибся — тоже не хочется.

Вопрос Иова стоит особняком. Ибо здесь, на горе с открывающимся видом на Иерусалим и на *downtown*, непонятно, почему у человека, работающего в поте лица своего, нет средств, чтобы прокормить семью, почему жена должна уйти от мужа, даже если он в беде, а дети от родителей, даже если те не платят за колледж. «Дал господь, взял господь...» Противоречия снимаются. Но только внешне, ибо зачем давать, чтобы затем взять? Сердце Иова не принимает этого, и он становится Иовом — вопросительным знаком, воплем.

Но когда Иов вопит: «Господи!» — то никакого катарсиса, ничего логического, рационального в его вопле нет. Он на него и не претендует. Это просто вопит закаляваемая фермером свинья, вопит истошно и бессмысленно.

В Израиле пришлось мне беседовать с местной чиновницей. Узнала, что я из Америки, что бывший советский гражданин, и стала вкрадчиво так меня спрашивать:

— А счастливы ли те эмигранты, которые приехали в Америку?

— Как можно, — ответил я, — страховки — и те не все покрывают, а вы хотите, чтоб Америка всем гарантировала счастье. Конечно, отнюдь не все.

— А в Израиле, — тут голос ее стал еще более вкрадчивым, ласкающим, — евреи всегда чувствуют себя лучше, чем в Америке. Потому что в Израиле евреи живут среди евреев. Вам надо остаться. Мы по-прежнему, что бы там ни говорили, нуждаемся в эмиграции...

Да разве она не знает, что отнюдь не всегда евреям хорошо среди евреев, что работы я здесь не найду. Да и что с нее требовать, она ведь чиновник, и если велено ей говорить так, она и говорит: «Был ты, Петр, ловцом рыб, а будешь ловцом человеков».

Есть евреи-капиталисты и евреи-трудящиеся. И между ними — противоречия. И классовая борьба. Все эти истины я познал еще в Московском университете, где обстоятельно выступал на семинарах по научному коммунизму. Пусть есть эта истина, истина с большой буквы. Ведь можно это предположить хотя бы на минуту. Но что толку от истины, если сердце ее не хочет? Христос-то ведь вовсе не истина, а прямая и очевидная ложь, хотя бы потому, что его не было и не будет.

Почему Иов есть только у евреев? Почему только в их книге он остался? Древний грек не просит у своего бога ничего. Не жалуется, что он такой добродетельный, а жизнь у него такая отвратительная. И понятно — почему. Боги греческие — такие все человеческие, такие все сами недобродетельные, что было бы просто нелогичным, если бы они вознаграждали за добродетель.

Нет Иова и в Древнем Египте. Что толку обращаться к крокодилоголовому или львиноголовому богу. Он жрет тебя вовсе не из желания наказать. Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать. Но ведь иной бог евреев — бог Авраама-отца, бог-отец, знающий, что есть добро и зло, бог, заботящийся о благе детей своих. Поэтому, когда он бьет без жалости, то Иов вопит, как вопят профессиональные плакальщицы на восточных похоронах.

Традиция не может исчезнуть. Народ — раб своей истории. Об этом я часто думал в Америке. Изначально были здесь незамысловатые и предприимчивые фермеры. Был индивидуализм, не было ни католической церкви, ни Ж. де Местра, ни утопических социалистов. И научного социализма здесь тоже нет. Не привилось. А если все же привьет его *мировой дух*, то все равно будет он какой-нибудь индивидуалистический, американизированный, простенько-незамысловатый, как американский *парти*.

И неужто, думал я, в Израиле евреи — какой-то уж и в самом деле особый народ? Были евреи, которых я привык видеть в России, и все вышли, вымерли как динозавры. Но нет, не вымерли. Внимательно приглядываясь к толпе израильтян, я вскоре понял, что больше всего мне нравятся старики прежней, может быть, еще диаспоровской выпечки. Многие из них были одеты очень ортодоксально: в черный лапсердак и долгополую шляпу. Но не это выделяло их из толпы (в Израиле масса молодых благочестиво-ортодоксально одетых граждан), а походка и выражение глаз. Молодые израильтяне ходят, гордо распрямив плечи, а у старичков этих спина часто согнута, сами они какие-то маленькие, сухонькие, с грустными глазами рембрандтовских портретов, которые я видел в Эрмитаже.

И еще я видел их у Стены. У той самой, которая осталась от Храма, вернее, не от Храма, а от стены, его обносившей. Я туда пришел сразу после приезда. Самая стена не произвела на меня никакого особого впечатления, никаких специфических национальных чувств она у меня не вызвала. Стена как стена. Было здание — и не стало здания. Вот и все. Даже обидно, что у народа какая-то приземленная, конкретная святыня. И нет в ней ничего возвышенного. И тут я увидел стариков евреев. Они были этнографически колоритны: длинная всключенная борода, отороченная мехом широкополая шляпа, черный лапсердак. Они быстро, машинально переворачивали страницы книг, кланяясь желтому, выщербленному времени камню.

Наконец я увидел еврея за занятием, за которым я привык его видеть в России — за чтением книги. И тут мне стала близка каменная стена. Я подошел к ней и коснулся губами. А затем решил войти в синагогу, расположенную рядом со стеной. Толстый бородач в широкополой шляпе остановил меня величественным жестом:

— Американец? — он спросил по-английски. — Еврей?

Я на секунду задумался. Собственно, а кто я такой?.. Днем, проходя по Иерусалиму в шортах и красной рубашечке с надписью, русскими буквами, «Русский дом», я слышал, как мальчишки кричали мне вслед: «Мистер, мистер!» И швыряли камни.

В Америке мой сосед Шварц, предки которого прибыли в Новый Свет где-то в начале XX века, говорил, бывало, мне с пафосом:

— В восемнадцатом веке мы строили самые быстроходные в мире корабли!

— Ваши предки, мистер Шварц, равно как и мои, ничего не строили в восемнадцатом веке, а сидели в каком-нибудь задрипанном местечке и подбивали подметки.

— Нет, строили, — вмешивался в разговор Ален Мик, предки которого, по его же собственному свидетельству, дезертировали из Германии где-то в шестидесятых годах XIX века, не желая сражаться под началом «железного канцлера». — Если он считает себя американцем, то он и есть американец; выходит, его предки строили самые быстроходные корабли.

Может быть, он и прав. И строили предки Вилли Шварца самые быстроходные в мире корабли. А мои — определенно, нет. Потому что не чувствовал я духовной общности с Вильямом Шварцом и Аланом Миком. Так кто же я?..

Но тут я вспомнил, что почти 250 миллионов человек называли меня евреем... и что их приговор чего-то значит.

— Да, — сказал я, — я еврей.

— Тогда входи, — сказал толстый бородач.

И я вошел. Там у стены тоже стояли люди в широкополых шляпах. И тоже быстро, машинально перелистывали страницы книги и, что-то шепча скороговоркой, размеренно качались. И для них это чтение книги, совершенно бессмысленное (я не думаю, что богу, даже если мы предположим хотя бы на минуту его существование, так уж нужны эти бессмысленные бормотания), было главным занятием жизни. И мне эти евреи понравились, ибо напомнили мне тех евреев, которых я видел в Москве: лысых в двадцать лет, в очках, но с книгой.

Придя домой, я поделился своими мыслями о посещении стены с моим соседом. Ему шестьдесят два года, в Палестине он с 1938-го. Участник, как он сам говорит, семи войн. Социалист-сионист.

— Тебе понравились эти евреи! — кричал он мне прямо в ухо, брызгая слюной и сверкая своими голубыми нордическими глазами. — О! Я знаю этих американских евреев. Им всегда нравятся эти экспонаты для этнографического музея. А знаешь ли ты, что они делают здесь? Да ведь они же еврейские хомейнисты! Пройдись-ка по улице в их районе в субботу с непокрытой головой... Камнями забросают!

Продолжая нашу беседу, вернее, его монолог, мы вышли на улицу, на гору Скопус. Дело в том, что в этот вечер мы должны были охранять наши бараки от возможных нападений. Нам в центральной конторе сообщили, что «народные мстители» периодически подкладывают в районе университета бомбочки (на стене конторы висел большой плакат, где изображения бомбочек во всех разновидностях и были помещены), дабы не учились евреи и неевреи в аннексированном арабском Иерусалиме.

И вот мы медленно прогуливаемся вдоль наших берегов. Мы подходим к кладбищу; за невысокой бетонной стеной бесчисленные каменные плитки — это все, что осталось от солдат, павших в Палестине в Первую мировую войну, павших за Британскую империю, империю, которой уже нет. Мы прошли немного вдоль стены и сели на бугорок.

— Евреи — люди книги, — продолжал он яростно брызгать слюной, — слышали мы уже это. Вот в гетто евреи читали книги... И что вышло? Надо было что-нибудь практическое сделать, но к кому обратились эти евреи? К гою! А кто защитил их? Тоже гои! А если гоев сердобольных не было, то были твои «люди книги» абсолютно беззащитными... Да нет, не думай, что я ничего не вижу. Не все получается так, как мы хотели в молодости.

Он немного задумался и посмотрел на ряды могильных плит.

— Вот что такое — правящая партия? Да ведь это фашисты, да, да, ты меня не перебивай — это евреи-фашисты. Шарон — еврейский Муссолини. Он хочет диктатуры и создания еврейской империи. Но когда мы начинали строить государство, мы не хотели никакой империи. Мы хотели только свой национальный очаг и были совсем не против других очагов. Я считаю, что у палестинцев должен быть свой очаг. Много есть, конечно, того, чего мы не хотели, но нельзя отрицать и достигнутого: мы создали новую нацию, нового еврея. Этот еврей пашет землю и кормит самого себя, а если надо, берет автомат. И от гоя не зависит. А твои евреи книг — это просто евреи гетто, и ты хочешь их снова вернуть туда.

Белокурая валькирия в сандалиях и с маленьким, но вполне действенным автоматом, болтающимся у попочки как некий фаллический символ, спрашивает меня на улице:

— Кто ты такой?

— В России я был евреем, в Америке — русский, в Израиле — американец. Ты знаешь, у писателя Лиона Фейхтвангера написан роман-трилогия об истории Иосифа Флавия. Он хотел быть гражданином мира, космополитом, а кончил евреем. А вот я боюсь, что после посещения Израиля со мной будет все наоборот — хотел быть евреем, а стал гражданином мира.

— Это плохо, очень плохо, — говорит мне моя валькирия, — быть гражданином мира... Нужно быть кем-то.

Сказав это, она уходит от меня, подергивая попочкой и придерживая фаллос-автомат.

Да кем же мне нужно быть? Наверное, тем, кем я уже являюсь — евреем из гетто. И моя ностальгия — это вовсе не ностальгия по березкам и осинкам (на пальмы и кактусы я смотрю с тем же равнодушием), по церквям и соборам (римско-иудейские развалины вдохновляют меня куда более), — моя ностальгия по подполью, по вонючим коммунальным катакомбам. И даже не по русским их вариантам, а по еврейским, ибо последние находятся в самом низу, в самом смраде.

— Ты не прав, абсолютно не прав, — говорит мне сосед по квартире, английский еврей, одетый в черный свитер, с черной, аккуратно подстриженной бородкой, этаким юный Дизраэли. — Культура вовсе не должна рождаться в катакомбах. Израиль — очень культурная страна, многие кафедры израильских университетов — лучшие в мире. Да и история опровергает твою теорию. Греческая цивилизация — продукт демократии и свободы, а вовсе не катакомб.

А ведь началась она вовсе не при демократиях и свободах. И не на процветании стала она расти. Все то цветение Периклова века, того, который именуют «золотым», было ничтожно мало, каких-нибудь лет двадцать (не хочу обращаться, как сказал бы Леонтьев, «за постыдными справками»), и из цветения этого золотого века очень быстро вызрел плод, из которого и отжали цикуту. И Македония стала скоро отбрасывать тень на солнечную агору. И потому-то, что становились они из победителей побежденными, а из единых и сплоченных — раздробленными, и потому, что выхода у них никакого не было, стали греки греками. И Сократ стал Сократом, Платон — Платоном. А затем пошел Зенон и киники. И Диоген, собака, залез в бочку — тоже в своеобразную коммунальную катакомбу. А родился Диоген в благополучную эпоху — обязательно стал бы он государственно-полезным: уж слишком много искушений в эти эпохи для талантливых юношей. Обязательно бы выделили ему приличную квартиру и оплатили бы из общественных фондов — живи и философствуй на благо граждан и свое собственное. И Диоген не стал бы Диогеном.

— Но что ни говори, а армия тут первоклассная, — говорю я пареньку лет двадцати трех, сыну эмигрантов из России, уже побывавшему в армии.

— Да брось ты, — отвечает он. — Да и насчет армии — тоже брось: не нужна нам первоклассная армия, а нужен мир. Не хочу служить... и умирать не хочу. Хочу, чтобы было без армии. Как в Швейцарии. Я очень люблю швейцарский шоколад.

И жена его, девочка лет двадцати, вяжет что-то и кивает головой — она тоже любит швейцарский шоколад.

— Инфляция, девальвация, — сокрушается мой знакомый и, сгребая мелочь, кидает в мусорное ведро. Мелочь звенит. Стоимость металла, из которого отчеканены монеты, превышает, быть может, в сотни раз их номинальную стоимость.

— Все летит в пропасть, — говорит мне другой израильтянин, из Аргентины.

А я не верю в пропасть. Даже как раз в обратное верю.

Очень возможно, что заключат с *братьями* (ведь тоже из семени Авраама) почетный мир. И экономика выправится. И будет шоколад лучше швейцарского. И будет он в изобилии. И будут приезжать граждане из разных стран и, проглатывая слюну от зависти, сладострастно стонать: «Живут же люди». И жевать израильский шоколад. И добиваться отчаянно израильского гражданства.

Прогуливаясь по Иерусалиму, я думал о странном отсутствии — на первый взгляд, во всяком случае — логики в *Молитве*. Молитва же эта в какой-то тоске

повторяет рефреном: «Завтра в Иерусалиме». А при чем тут «завтра»? Ведь сегодня ходят тысячи людей по Иерусалиму. Достигли, чего желали. Какой же еще им Иерусалим-то надо бы? Но тут я вспомнил, что книга Иова тоже какая-то алогичная. Был Иов несчастен, беден, одинок и беззащитен, жил в книге, книге книг, которую бог или мировой дух дали миру. А получил все обратно — жену, детей, стада... и был изгнан: нет в книге Иова второй части, где жизнь благополучного Иова была бы детально описана. Сам-то хеппи-энд в книге скомкан. Так что оказалось, что благополучный и сытый Иов из книги изгнан, ибо книга написана была евреями для мира, а сытому и благополучному Иову сказать миру нечего. И забыл его «единый и не знающий жалости» еврейский бог. И потому-то, наверное, в последней своей отчаянной надежде он шепчет своему народу: «Завтра в Иерусалиме».

ГРОБ ГОСПОДЕНЬ

Иерусалим пестр и суетен. Сочные, яркие краски и запахи разбросаны повсюду, будто налеплены расшалившимся ребенком. На узкой улице жарится мясо, и острый запах дразнит ноздри.

— Бе-ге-ле... Бе-ге-ле... — блеет араб, обернув голову в грязный платок, и протягивает бублик, посыпанный каким-то острым пряным порошком. — Мистер, мистер, — блудливые глазки смотрят прямо в лицо, не мигая, — ты мой друг, мистер, — обладатель глазок слегка наклоняет голову в знак уважения и преданности. А затем он с театральной торжественностью прикладывает руку к груди, почти так, как это делает Урия в Эрмитаже. Помните — там он бледный, в турецкой чалме пятится к выходу?.. — Мистер, ты мой друг... Заходите, посмотрите мои сувениры. Очень недорого!

Заходишь в лавочку. Христос волочит с грустной покорностью свой крест, на вышитой салфетке по-английски начертано: «Если я забуду о тебе, Иерусалим», — и золотой купол мечети Омара.

— Все это очень интересно, спасибо, но у меня нет денег, — с этими словами я направляюсь к выходу, но владелец лавки хватается за руку и с силой затягивает обратно.

— Мистер, мистер. Будьте моим другом! — в зрачках полированным ониксом мерцает ненависть. — Все дешево, очень дешево, а если заплатите долларами, то будет еще большая скидка! Вот, посмотрите, — неведомо откуда появляется коробочка с кругляшками, — редчайшие древние монеты, все они найдены здесь, в Старом Городе.

Я наугад беру одну из них, она тускло светится на моей ладони.

— О, мистер! У вас прекрасный вкус, вы понимаете толк в вещах. Это тетрадрахма, естественно, серебряная, Александра Великого, четвертый век до Рождества Христова. Пять тысяч шекелей, это совсем недорого.

— Сто шекелей, — говорю я. Таковы правила восточной торговли — и торговец, и покупатель начинают торг с крайних, предельных цен, чтобы постепенно прийти к компромиссу. Без препирательства, божбы и взаимного шантажа (торгуясь на восточных базарах, я неоднократно делал вид, что собираюсь уходить — после этого торговец часто резко сбавлял цену) восточная торговля во многом теряет свою привлекательность не только для покупателя, но и для продавца. — Сто шекелей, — говорю я.

— Да как же можно — сто шекелей... да что нынче купишь за сто шекелей?!

— Триста.

— Да как можно... — продавец монеток закатывает глаза, как бы смущаясь зрелищем моей бесчестности.

Я покупаю монетку за шестьсот шекелей. Это, конечно, не Александр Македонский, и произведена она не в четвертом веке до рождества Христова, а в этом календарном году. Но какое это имеет значение...



— Я хочу помочь вам, — на лице другого араба, толстого, как бочка, доброжелательная улыбка. — Мистер, я вообще-то не меняю деньги, а продаю кофе. Кстати, не хотите ли чашечку? Нет, нет, не думайте, я не меняю деньги, но мне всегда приятно совершать добрые дела — ведь вы знаете, я совершил паломничество в Мекку... Так вот, мистер, в банке, вы это хорошо знаете, за доллар вы получите очень немного.

Я это знаю и говорю:

— Полторы тысячи шекелей.

— Мистер, мистер... Побойтесь бога, — толстый араб всплескивает руками. — Мистер, я ваш друг. Я мусульманин, я совершил хождение в Мекку. Вы должны мне верить! Я вчера заплатил за доллар всего тысячу шекелей, а вы мне говорите — полторы тысячи... Кроме того, а вы это хорошо знаете и без меня, доллар очень неустойчив, его стоимость сильно завышена, вскоре доллар должен с неизбежностью полететь вниз. А недавно какой-то банк разорился... то ли в Огайо, то ли в Иллинойсе, я уж не помню... и это еще раз свидетельствует о том, что доллар — это колосс на глиняных ногах, он с неизбежностью должен пасть в ближайшем будущем. Так что сейчас самое время продавать этот доллар по цене, которую я вам предлагаю — пройдет совсем немного времени, вы и этого не получите. Я покупаю у вас доллар только потому, что я мусульманин, хадж совершил... и вообще, я люблю делать добро людям.

— Все это, конечно, хорошо, — говорю я, — и доллар действительно может покатиться вниз, но хочу заметить вам, что как бы быстро ни катился доллар, шекель будет катиться еще быстрее.

Я продаю ему доллар за тысячу двести шекелей и, комкая бумажки с изображением Маймонида, засовываю их в карман. Я выхожу из кофейни толстого араба и вижу, что стою на вершине холма, а внизу, в кинематографической торжественности, облитый лучами огромного, раскаленного Юпитера, лежит город: желтые зубчатые пятнадцатые стены обрамляют золотой купол закованной в ослепительные синие изразцы мечети Омара. А чуть ниже — церковь поздняя и ничем не примечательная; это отсюда *он* оплакивал не принявший *его* город Иерусалим.

Я начинаю спускаться, и у самого подножия холма останавливаюсь у звеняще-серебристой листвы столетних олив; они покрыты, как застывшей магмой, серой коркой. Между ними бродит францисканский монах в рясе, перепоясанный веревкой. На воротах надпись: «Гефсиманский сад».

Я вхожу в церковь. В центре ее скала, огороженная железными коваными решетками, имитирующими терновый венец. Около нее группа черных американских туристов. Встав на колени, они усердно молятся. Слезы, полновесные и обильные, скатываются с их черных, как сажа, щек. Помолвившись, они встают и, оправив юбки, готовятся выйти, но тут одна из них, рванувшись вперед, прямо на остроконечные шипы решеток, начинает кричать тем страшным, раздирающим душу криком, каким кричит мать, на глазах которой убивают ее детей: «Джизус! Джизус!» Руки крыльями подстреленной птицы бьют по воздуху. Ее подхватывают подруги. Слезы ручьями льются из их глаз, губы шепчут молитвы. Им так хочется вместе с ней броситься, огласив церковь безумным, страшным криком, на железные остроконечные зубцы, но что-то удерживает их. Они, плача, уводят ее, с силой толкая к выходу, а она не дается им, бьется и продолжает кричать. Однако вскоре она начинает задыхаться от слез и возбуждения, и вместо криков из ее горла вырывается какое-то сдавленное шипение. Как только ее выводят из церкви, она тут же успокаивается, и через несколько минут все кончено: она спокойно идет по саду и даже явно стесняется своих криков, товарки ее тоже смущены.

Я между тем продолжаю свой спуск. Передо мной какой-то очередной маленький садик. В нем, как гласит табличка и путеводитель, грот — здесь находился *он*, перед тем как быть взятым римлянами и все оставили *его*. Стены Старого города



здесь совсем близко; они уже кажутся не желтыми, а серыми, и стоят на холме; у его подножия пальмовая роща.

Языки пламени, колеблющиеся и куда-то рвущиеся, ладони поворачиваются над огнем. Красные лица солдат, мерцающие в пламени бляхи панциря, и женщины с грубыми, помятыми, морщинистыми лицами — они сидят на корточках у костра и смотрят на пламя неподвижными зрачками, огненные блики отсвечивают в них. Пар идет от разогретой земли, и куда-то ползет растревоженный и выгнанный огнем из норки жучок. Бабочки и мошки, трепеща крылышками, впархивают на свет прямо из тьмы, тут же напарываясь на красные сполохи и исчезая в них без следа. Молнии проносятся над головой, делая немыслимые выражи в воздухе, летучие мыши. А над ними в торжественном спокойствии висят прямо над головой бесчисленные, сияющие алмазным холодным блеском миры, и вытканная из тончайшего шелка газовая ткань Млечного Пути развешана через весь небесный свод длинной белесой полосой. Вдруг женское лицо, простое и грубое лицо крестьянки или торговки, выхватывается огнем из темноты ясно и отчетливо, и голос слышится — тоже ясный и отчетливый:

— И ты был с Христом из Иудеи.

Дрожь током проходит по телу, и где-то там, далеко, за городской стеной, слышится надрывный, хриплый крик петуха, а затем ему начинают вторить другие петухи: «Нет... Нет...» Да как же я могу знать его, ежели родился почти через две тысячи лет после его смерти? И вообще, почему я должен думать об этом ненормальном? Что, мало ненормальных в этом мире? Да и забот у меня полон рот — диссертация не написана, 14 000 долларов долгу, и с работой все очень непонятно.

Около грота маленькая часовенка, а сам грот туннелем идет вниз. Я спускаюсь по туннелю и оказываюсь в довольно большой церкви. Я медленно брожу по ней, вдруг взгляд мой падает на листок бумаги. На нем четким, округлым детским подчерком выведено по-русски: «Отец Михаил. Не забудьте принести свечи». Я с удивлением беру бумажку и начинаю ее вертеть в руках. Через минуту появляется старушка, грозно рявкающая на меня.

— Извините, ради бога, извините, — говорю я ей по-русски. И она отвечает мне тоже по-русски с той же злобной интонацией в голосе:

— Ведь вас эта записка не касается, так и не трогайте то, что вам не принадлежит!

Она не удивляется моему русскому языку, а я ее, ибо на то она и Святая Земля, чтобы на ней говорили на всех языках, «на человеческих и ангельских».

— Это что, православная церковь? — спрашиваю я.

— Да.

— А начальник ваш, наверное, патриарх всея Руси?

— Да что вы! — возмущается старушка. — Они антихристовы, красная церковь-то... Мы, белые, их не признаем.

— А это кто? — спрашиваю я и указываю на дебелых прихожанок, беседующих друг с другом на вполне сносном русском. И узнаю, что они — православные арабки, здесь русскому и обучившиеся, а место, в котором я нахожусь, есть не что иное, как церковь Девы Марии, она здесь и похоронена.

— Вы тут поторапливайтесь, церковь скоро закроется, — бурчит под нос бабка, — мне нужно заглянуть в Гефсиманский сад, а затем спешить к Гробу Господа. Дела. — Она повествует об этом точно как хозяйка, которой, прежде чем вернуться домой, нужно сделать закупки в нескольких магазинах. — А насчет этой советской церкви, об этих красных мне больше не говорите — знать их не хочу: прокляты они, семя антихристово!

В Иерусалиме есть две православные церкви — «красная» и «белая». Одна — цезаря, другая — тоже цезаря, просто первый оказался удачливей второго. И вообще, если не кривить душой и положить руку на сердце, то нужно признать, что

Христос стал Христом — и здесь судьба его схожа с судьбой народа, породившего его, — вовсе не из-за желания страдать и искупать, а по причине иной. Одна бойкая, решительная и весьма ученая дама сказала мне, что Христос был из «наших», из ешиботников, и курс им был взят первоначально жизненный, перспективный и правильный — вполне мог из него получиться правоверный раввин, наподобие тех, что сейчас расхаживают в длиннополых халатах и широких, отороченных мехом шапках по сегодняшнему Иерусалиму. Но что-то не получилось; особа утверждала, что просто не удалось сдать ему соответствующие экзамены, а то и просто надоело учиться — в ешивах учиться нелегко, не всякий там выдержит. Я же думаю, что дело было вовсе не в ешиве.

В молодости, гуляя по пыльным улочкам Назарета (ныне, надо прямо сказать, это занюханый и ничем, кроме громкого имени, не примечательный городишко — кроме большого собора, недавно построенного итальянцами, смотреть там абсолютно нечего), мечтал он о судьбе не просто обеспеченной и бюргерски сытой. Другие мысли бродили в голове еврейского Раскольникова. Уже тогда веяли в Иудее мятежные ветры, готовился бунт. И очень, думаю, возможно, что он метил в вожди и ждал своего Рубикона или Брюмера, чтобы короновали его, но вовсе не терновым венком. А то, что царство его было бы задрипанно-провинциальным, никем не замеченным, не смущало его: ум его, довольно ограниченный (ежели посмотреть на Евангелие не как на *книгу книг* или составную часть *книги книг*, то легко можно убедиться, что там масса мыслей вполне себе тривиальных), ничего большего не видел и не хотел видеть. Оказавшись на престоле, он вполне мог бы быть вторым Иродом — и остановившимися зрачками, с искривленной улыбкой на лице, следил бы, как бьется и издыхает на дыбе, колу или кресте очередная жертва.

Вообще, почему-то все теологи, писатели и философы — все, повторяю, без исключения — видят Христа как жертву, и никто (во всяком случае, подобный смельчак мне не известен) не попытался проиграть второй вариант его судьбы — его победу и торжество, и не в том, умопостигаемом мире, а здесь, на Земле. А зря, любопытная могла бы быть история. И получиться вполне могло так, по логике повествования, что Христа надо было изобразить Пилатом, а Пилата — Христом, но без самомнения и надежды — по-сократовски умирающим на кресте. «Принесите Асклепию петуха».

Красная церковь находится в центре города, недалеко от Министерства иностранных дел. От Старого города минут сорок ходьбы. Я скоро заметил ее, но на всякий случай спросил у проходящей еврейки, это ли русская церковь. Она подтвердила. Мой взгляд случайно упал ей на грудь, на ней болтался брелок — золотая монета с портретом последнего русского императора, расстрелянного со всей семьей по приказу Якова Свердлова. Портрет с благообразной николаевской бородкой то ли окружен, то ли защищаем сплетенным из золотой крученой проволоки магеновидом и подымается на большой, мясистой и потной груди.

Церковь построена в конце прошлого века, в конце царствования Александра Освободителя. Рядом с церковью длинное здание — палаты; кое-где видны полустертые русские буквы. Перед палатами пыльный дворик, ничем не примечательный — таких двориков в Иерусалиме тысячи. Камушки, травка из-под них лезет, пыль, а в ней плещутся, растопырив крылышки, воробьи. Все так близко. Кажется, попал в какой-то провинциальный русский городишко. Подхожу к дверям «красной» церкви. Они заперты, а на них записочка — крупными буквами на машинке напечатано: «Служба отменяется. Служба будет происходить в церкви Александры Федоровны». Туда-то, в храм, названный именем последней русской царицы, и отсылала досужих любопытных прослушать церковную службу «красная» церковь.

В палатах, построенных, как и церковь, во вторую половину царствования «царя-освободителя», была при англичанах тюрьма. Сидели там политические — те, кто боролся против английского колониального владычества. Англичане называли их,

несомненно, террористами, а они себя — борцами за свободу. Как евреи нынешних арабов, а арабы — самих себя. А затем, когда свергли англичан и создали государство, открыли здесь музей, чтобы видели, как здесь сидели. И как вешали. Никогда не видел я места, где вешают. И потянуло меня страшно на это место: что-то ведь мистическое и страшное есть в лобных местах, ибо в тот момент, когда накидывают на шею твою петлю, должна открыться тебе какая-то великая истина, как мне, во всяком случае, казалось, все примиряющая, все охватывающая, но в силу своей универсальной, божественной всеобщности человеческим языком не передаваемая. Известно ведь, что все снятые с петли если и говорят о своих предсмертных видениях, то выходит у них какая-то абсолютная пошлость — типа того, что жизнь прекрасна. Языком это не передашь, разве что музыкой, но я почувствовал, подумал, что можно.

Стрелочкой указано, где находится вход. Прохожу метров сто и вижу могильные плиты, валяющиеся в траве. На них по-английски выбиты имена британских офицеров, павших от рук врагов империи, над которой «никогда не заходило солнце». Выбиты же они были на мраморе «террористами», которых британское правительство обезвредило и посадило. Здесь эти могильные плиты валяются в пыли, в беспорядке, а на горе Скопус, около моего общежития, стоят стройными рядами. Это английское военное кладбище времен Первой мировой войны, и похоронено там пять тысяч двадцатилетних английских «томи», павших здесь, в Палестине. За Британскую империю — империю, которой нет.

А вот и вход, и надпись «Музей героизма» — или что-то в этом роде. Указано, сколько нужно плагить за вход — несколько сотен шекелей. Вход охраняется служителем с собакой. Я сажусь на скамейку у самого входа и начинаю провокационно вытряхивать содержимое моего кошелька. Собака, приоткрыв рот и высунув красный язык, не обращает на меня никакого внимания, но служитель с опаской следит за моими действиями, и его опасения понятны. В Израиле инфляция, доходящая иногда почти до тысячи процентов в год, и за мое двухлетнее пребывание в стране сменилось не одно поколение денежных знаков. Купюры очень быстро низводят в медь и никель, и часто кошелек тяжелеет от полновесной сдачи. По мере того как я выстраиваю монетки в стопки, волнение стража растет. Наконец, не выдержав, он говорит мне по-английски:

— Не принимаем.

— Что не принимаете? — говорю я, сгребая в пригоршню мелочь.

Лицо его искажается от ненависти и ужаса, когда я протягиваю ему свои шекели и агоры. Монета достоинством в десять агор равна приблизительно одной десятой цента. Еще несколько таких посетителей — и ему понадобится специальная комната для хранения выручки. Ненависть каменеет официальной маской бесстрастности:

— Я говорил вам, что мы это не принимаем.

— Что — *это*?..

Молчание. Только собака — здоровенная немецкая овчарка, такие охраняли национал-социалистические и просто социалистические лагеря, — тяжело, нагруженно дышит от жары и, видимо, избыточного веса.

— Это деньги. Универсальное мерило стоимости, они должны приниматься на всей территории страны. Вот видите, здесь ясно и четко написано: «Израиль», — я кручу перед его глазами крохотную десятиагоровую монетку, за которую не купишь даже и стакана воды.

Страж взрывается:

— Деньги? Вы говорите, что это — деньги?! Это не деньги. Это мусор!

— Это уж я не знаю — мусор или не мусор... Вам, наверное, виднее. Но это, что, вполне возможно, является мусором, выпускается вашим Министерством финансов и вашим же правительством. Вы уж с ними сами разбирайтесь, а я заплачу вам именно этими деньгами, других у меня просто нет, — здесь я, естественно, вру, но тот, кто не врет хотя бы изредка, не может жить на исторической родине еврейско-

го народа, которая в этом кардинально отличается от страны «желтого дьявола», где вранье строго противопоказано, — и посету «Музей героизма».

Вид у меня злобно-решительный, и страж понимает, что я буду стоять насмерть, качая свои неотъемлемые и незыблемые права, посему решает отступить. Он принимает у меня с полкилограмма меди и никеля и, не считая, шумно бросает себе в сумку. Отрывает входной билет. Глаза мечут молнии. Он ненавидит меня не потому, что я попрекнул его правительством, а потому, что именно я и все прочие, не живущие в Израиле евреи, повинны в столь плачевном состоянии местных финансов. Огромное большинство израильтян твердо уверены в том, что евреи *галута*, диаспоры, не только могут, но и обязаны помогать своим братьям. Израильтянин часто относится к своему галутному соплеменнику приблизительно так же, как средневековый феодал к еврею. Феодал всем своим нутром презирает вшивого жида, который, в отличие от него, труслив и корыстно-эгоистичен. Особенно красноречивы здесь советские евреи — ныне гордые жители исторической родины. К тем, кто, миновав ее, оказался в стране «желтого дьявола» и сменил один галут на другой, одну часть диаспоры на другую, они не знают снисхождения, образы «отщепенцев» в их сознании ничем не отличаются от когда-то создаваемых советской пропагандой. Феодал, повторяю, презирает еврея, но, как известно, не его золото, и твердо уверен, что он, глупый еврей, этим золотом с ним должен делиться. Негативное отношение многих коренных израильтян к советским евреям, к тем, кто не направился в Израиль, тоже очень часто определяется финансовыми соображениями. Израильтянин относится с известной снисходительностью к богатому американскому еврею, закомплексованному до чрезвычайности от сознания своей страшной — и, замечу, дорогостоящей — вины и готовому щедро заплатить за индульгенцию. А вот с советскими евреями, с теми, что направились не в Израиль, а в Америку, случилось то, чего израильтяне не ожидали: советские евреи не испытывали комплекса вины и — а это было главным и смертельным их грехом — не желали платить. Помнится, был у меня по этому поводу разговор с одним местным жителем. Житель, узнав, что я только временно проживаю в Израиле, возмутился и сказал мне:

— Вот мы такие усилия прилагаем, чтобы вызволить советских евреев, а они все уматывают в Америку. Нехорошо, нечестно. Все евреи должны жить здесь, вне Израила жизнь еврея бессмысленна.

Сие умозаклучение — весьма модный рефрен израильских средств массовой информации; они также указывают, что только на исторической родине еврейский интеллект может развиваться в полную силу, и надо всем переселиться сюда.

— И американским евреям? — поинтересовался я.

— И американским евреям, всем без исключения.

— А вы подумали, куда вы денете, куда пристроите пять миллионов американских евреев? А кто деньги даст? И где вы будете собирать пожертвования, если все американские евреи будут жить здесь?

Житель призадумался, а затем сказал:

— Ну хорошо... Американские евреи пусть у себя останутся, а русские должны быть здесь. От них все равно денег не дождешься...

Я вступил в «Музей героизма». Тюрьма была, как я уже отмечал, построена при Александре II и первоначально предназначалась для проживания русских паломников на Святой Земле. Через все здание шел широкий коридор, а по обеим сторонам его находились комнаты с тяжелыми сводчатыми низкими потолками. В комнатах этих сначала молились богу по имени Христос, которого распяли его соплеменники почти две тысячи лет назад. А затем эти комнаты превратили в тюремные камеры и продали другим христианам — англичанам. Я начал было осторожно и даже с некоторой опаской (чувство подсознательного страха я всегда испытываю,

когда вступаю в незнакомый музей) бродить по коридору, когда ко мне подошла полная девушка, представившаяся местным гидом.

— Вы, — сказала она по-английски, — начали осмотр не с самого начала, а с середины. Я вам все покажу.

Пока она вела меня по коридору, я спросил:

— А почему «красная» церковь закрыта?

— Не знаю, но они не любят показываться. Провокаций, наверное, боятся, хотя с одним ее представителем я беседовала. Старичок прибыл сюда из Москвы для какой-то стажировки или для приобщения к святым местам, я не знаю. Заговорили мы о «белой» церкви — есть тут, вы знаете, такая, она советскую власть не признает. А он мне и ответил: «Мы все дети одной церкви, православной, вражды у нас к ним никакой нет, мы готовы им хоть сейчас протянуть руку, да вот они с нами знаться не хотят»... Мы пришли. Отсюда и надо начинать осмотр.

Мы стояли в середине комнаты, на стенах ее висели большие фотопортреты, а под ними были указаны годы жизни. Я сразу понял — это портреты казненных. Первый портрет удивил меня больше всех. Человек на портрете был казнен в 1917 году. В это время Палестина была еще турецкой колонией, а турки, как мне было известно, относились к евреям сносно, даже покровительствовали им. Я спросил своего гида, почему турки повесили этого еврея.

— А он, знаете, работал на англичан, шпионил, а турки его поймали и повесили.

— А зачем это было ему шпионить на англичан? — поинтересовался я.

— Как зачем? Ведь он был еврей и сионист, мечтал, как все сионисты, о создании независимого государства, а англичане это государство как раз и обещали создать.

— А кто вот этих повесил? — я указываю перстом на остальные портреты.

— А эти, — поясняет гид, — были повешены англичанами. А этот был повешен мусульманами как шпион — сирийцы повесили его, а они, как вы знаете, как и турки — мусульмане. И все погибли, сражаясь за «Эрец Израель». А если пойдете по коридору, то увидите камеры, где сидели заключенные.

Я благодарю гида и двигаюсь по коридору. Сортир. Комната с сотнями, наверное, тысяч неиспользованных конвертов со штампами мировой сионистской организации. Камеры покрыты граффити. И вот место, где вешали. С потолка свисает перекинутая через перекладину веревка с петлей. Внизу люк. Я трогаю петлю рукой (в комнате нет музейного служителя, и посетители могут трогать объекты руками), и она начинает медленно качаться.

— Почему вы говорите, что еврейская история бессмысленна? — возражает мне толстый еврей-ветеринар в столице мистиков городе Цфате; ветеринар, по его словам, провел несколько лет в Красной армии, где и обучился русскому языку. — Она трагическая, но не бессмысленная. Вы утверждаете, что она бессмысленна, потому что израильские евреи не любят друг друга... Что за глупость! А разве у других народов равенство и братство? Разве русские друг друга любят? Или французы? Или американцы, даже американские евреи? Вот вы едете в Америку — вы что, ожидаете, что каждый там вам на шею будет вешаться?

— Нет, — говорю, — не ожидаю. Мало того, скажу вам, что Америка — страна суровая, главные лозунги ее просты и ясны: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих» и «Подтолкни падающего», но не в этом дело, и разница между Америкой и Израилем громадна. Америка, как и Израиль, — страна эмигрантов, но те, кто высаживался на берегах Америки, не думали о ее спасении, им было глубоко на нее наплевать. Ежели и страдали они, мучились, осушали болота, рубили леса и отстреливались от краснокожих, то только потому, что стремились к своему личному, персональному благоустройству, и более ни к чему. А вот с Израилем все иное: первые поселенцы, высадившиеся на этих дюнах, хлопавшие

ногами в малярийных болотах, строившие города и очищавшие землю, данную «богом и мандатом», от *избыточного* арабского населения, создавали не стандартное государство, только небольших размеров, а что-то иное, невиданное, где ягненок будет играть со львом, а ребенок с аспидом. Хотя, конечно, и ягненок, и лев, и ребенок, и даже ядовитый гад должны были быть кошерного происхождения. А затем и от кошерной узости предполагалось отказаться, ибо должен был Израиль показать пример всему остальному человечеству и повести его за собой к свободе, равенству и братству. Об этом и мечтал еврейский коллега русского славянофила. А примера не получилось.

Разная бывает судьба у народов. Случается так, что нить исторической традиции не прерывается, и в отдаленных потомках легко можно разглядеть современников. Читал я, например, путевые заметки русских туристов, посетивших Америку сто лет назад, и, к удивлению своему, обнаружил, что ничего, практически ничего в американском характере не изменилось — я вижу их абсолютно такими же: честность, трудолюбие и одномерно-эвклидовский ум, в котором, в отличие от русского или, вернее сказать, европейского, никак не могут соединиться и мирно сожительствовать «идеал Моны Лизы и содомский грех». И в России, думаю, мало что изменилось за прошедшие двести лет; где-то между царствованиями Петра и Екатерины сложился тип русского интеллигента, и хоть кромсали и переиначивали Россию большевики — ничего не изменилось, сменились только личины и декорации. А так все осталось по-старому: и славянофильский имперский мессианизм, и лидирующая роль человека пера, книги, и жадно-презрительное отношение к Западу. В Китае не был, но думаю, что и там не удалось изменить течение местной, тысячелетней истории. Во времена «культурной революции» пытались коммунисты объявить знание ересью и отправить всю китайскую интеллигенцию на перевоспитание физическим трудом — и тоже ничего из их затеи не получилось: не успели отгреметь пушки речей Мао, как все вошло в старую, привычную колею, и снова человек науки обрел в Китае почет и уважение.

А вот в Израиле с первого дня моего пребывания в стране было у меня ощущение, что древний библейский Израиль и современная ближневосточная *касриловка* не имеют никакого отношения друг к другу, они не только отделены друг от друга пропастью, но эта пропасть еще и расширяется. Два Израиля со страшной скоростью разлетались друг от друга подобно галактикам в космическом пространстве. Но самым удивительным было для меня иное — большинство жителей страны этого не замечали и утверждали как раз обратное: нынешний Израиль и есть прямое продолжение Израиля древнего.

Кто-то посмеялся над народом зло и бесчестно.

Я вышел из музея и направился к Старому городу; по дороге мне надо было зайти по своим делам в Министерство внутренних дел, продлить визу. Каждый еврей, вступив на землю Израиля, может, а иногда и должен получить израильское гражданство — гражданство это в обязательном порядке должны были получить, например, все советские евреи, никакого документа, кроме выездной визы, не имеющие. Но ежели на руках имеется какой-нибудь другой документ, лучше всего паспорт иного государства, то можно пробыть в Израиле до трех лет без гражданства, так называемым временным жителем. У меня в кармане зеленая книжица, выданная мне эмигрантскими властями Америки — она позволяет мне вернуться в страну «желтого дьявола», не запрашивая разрешения эмиграционных властей. Двигаясь по суматошным и вечно чем-то торгующим улицам города — социалистически-сионистская идеология ставила своей задачей переплавить дрябло-интеллектуальное еврейство диаспоры в мускулисто-пролетарское еврейство, но плавка удалась лишь частично, и интеллектуально-дряблое еврейство диаспоры превратилось в еврейство мускулисто-торгующее, и не привилась привычка к физическому труду, — я приблизился к Министерству внутренних дел.



Я уже был в этом министерстве и знал, как нужно заполнять формы и как отвечать на задаваемые вопросы. В первый раз я чуть не совершил роковую ошибку. В форме, мне выданной, я просил еврейское государство разрешить мне «временно проживать» на его территории, а в графе «религия» написал: «Атеист». Мне вернули форму с отказом, и я немедленно побежал к начальству качать права.

— Почему? Почему мне отказано в проживании в Эрец-Исраэль? — подскочил я, размахивая злополучным заявлением, к молоденькой секретарше. Она скосила один глаз на мою бумажку и сказала:

— Все правильно. Никакого произвола нет, вы не имеете права на проживание в Эрец-Исраэль.

— Как так — не имею?

— А так. Посмотрите на графу «религия»... Вы там написали — *атеист*. А в Эрец-Исраэль могут жить только евреи.

— Так я ведь еврей.

— А где доказательства?

— А разве не видно? — я был твердо убежден, что мой антично-нордический, покрасневший от южного солнца и шелушащийся нос несомненно является семитским, и эта семитская сущность моего носа всем хорошо должна быть видна.

— Нет.

— Меня в России двадцать девять лет считали евреем.

— Это их дело, — отпарировала секретарша, с равнодушно-усталым видом отвернувшись от меня и приступив к своей основной работе — шлифованию ногтей. — Это их дело. Они могут вас считать кем угодно. А для нас вы — не еврей.

— А кто же тогда для вас еврей?

— Еврей, — с этими словами секретарша отложила пилочку, — есть тот, кто есть еврей по инструкции, по закону, а по закону евреем является тот, кто родился от еврейской матери и кто исповедует иудаизм.

«Выпендриваюсь, идиот, оригинальничая, — подумал я про себя, — и остаюсь без права на жительство, будет у меня только такой вариант — стать эмигрантом, но сие может иметь роковые последствия. Я не являюсь гражданином Америки, как, впрочем, ни одного из существующих на земле государств, а посему, в соответствии с американским законом, хотя я, конечно, могу здесь ошибаться, став гражданином Израиля, я автоматически лишаясь права въезда в Америку. И потом уж ничего не сделаешь с этим израильским паспортом, с израильским гражданством — оно прилипчивей советского, отказаться от него невозможно... Идиот! Кретин!.. Что же делать? Нужно доказать, что моя мать — еврейка, но где же взять доказательства? Бабушка моя ходила в синагогу, но попробуй докажи, что бабушка ходила в синагогу, а не в православный храм... Наверное, придется уезжать, не могу же я на нелегальном положении пребывать в государстве Израиль».

Перед тем как покинуть секретаршу, я решил предпринять последнюю отчаянную попытку:

— Я, знаете, я... — глазами, полными мольбы и унижения смотрю на секретаршу, — я, знаете... передумал... я не атеист. Я поверил. Я верю...

Нет, в *него* я не верю — в этого отступника и ренегата, причиняющего нашему народу столько всяких неприятностей уже почти две тысячи лет... Конечно, он не был и не мог быть сыном бога, а был просто шарлатаном с чрезмерным, гипертрофированно развитым тщеславием, вот и возомнил он о себе черт знает что; у евреев количество ненормальных гораздо больше, чем у других народов — конечно, в процентном отношении. Но это все — и ненормальность, и тщеславие — все это следствие галута-диаспоры, и по мере того, как все больше евреев будет приезжать в Израиль, исчезать будут и подобного рода странности. И мы превратимся в нормальную, абсолютно нормальную нацию, с нормальными, полноценными шизофрениками — ведь у каждой нации должны быть шизофреники. Они, эти шизофре-

ники, будут представлять себя гениями всех времен и народов, вождями мирового пролетариата, гениальными философами и писателями и даже завоевателями мира, но никто, поверьте мне, никто не будет считать себя сыном бога. С этим будет навсегда покончено, когда все евреи галута придут на свою историческую родину... А я верю только в одного бога, не знающего жалости бога евреев, у которого никогда не было, нет и не будет сыновей...

— Так вы верите в бога? Вы исповедуете иудаизм? — секретарша снова взяла отложенную было пилочку. — Тогда другое дело, никаких проблем нет, — мое превращение из атеиста в верующего не произвело на нее никакого, абсолютно никакого впечатления, такое превращение было для нее рутинным бюрократическим процессом. — Так вот, не морочьте никому голову, — прошипела она, — не мешайте людям работать, замените вашего *атеиста* на *еврея*, и всем все будет понятно.

Я сделал то, что посоветовала мне секретарша, и поспешил в комнату, где выдавали разрешения, получив его незамедлительно. Теперь подобного рода ошибок я не совершаю.

Вот и министерство. Приближаясь к дверям, я расстегиваю сумку для проверки. Израиль — уникальное государство, это, я думаю, единственное государство, в котором проверяют тебя не только когда ты выходишь из учреждения или магазина, но и когда ты в негоходишь. Но я напрасно обеспокоен — дверь учреждения заперта, вокруг него ходит маленький седенький страж с пистолетом на боку.

Страж — польский еврей, прошедший во время войны некоторое время в России, потому понимает по-русски. Он, насупившись, мрачно ходит вокруг закрытой двери не накормленным цербером и никак не реагирует на мое обычное бойкое приветствие: «Здравия желаем, товарищ генерал!» Около дверей министерства собралась уже небольшая толпа, и по оживленному говору я понял, что что-то неладно. Я обратился по-английски к одному из стоящих американских евреев и узнал, что Министерство внутренних дел забастовало, и никто не ведает, когда кончится забастовка.

Израиль похож на Россию гораздо больше, чем на Америку, хотя, быть может, многим израильтянам хотелось бы, чтобы все было наоборот. Как известно, средний американец не любит Америку *вообще*, абстрактно (здесь, конечно, я исключаю периоды войн и национального унижения, когда кто-нибудь больно и нагло наступит на его патриотическую мозоль: тут даже средний американец начинает вопить и упираться), но любит Америку *конкретно* — свой штат, свое графство, свой университет, своего соседа. Причем, повторяю, чем конкретней является предмет его любви, тем больше в любви его конкретных действий и тем меньше лозунгов. Часто абсолютно равнодушный к величию Америки как некоей абстрактной категории и честно говорящий всем, что он работает на военном предприятии исключительно из желания хорошо подзаработать, американец делает свое дело добросовестно, выгачивая хороший артиллерийский ствол так же, как, надо сказать, он бы изготовил качественный унитаз. Он продолжал бы старательно выгачивать этот ствол даже тогда, когда бы ему сообщили, что продаются эти стволы русским. Работа есть работа, и американец с радостью признает, что Америка есть воплощение мирового зла. Он признает, что именно потому, что Америка столь порочно жестока и сеет кругом не «доброе и вечное», а агрессию и эксплуатацию, и не любят ее в мире, потому и захватывают ее заложников. Не испытывая, повторяю, никакой любви к нации как таковой, американец весьма заботлив к конкретному, а не абстрактному американцу, к своему ближнему — к соседу, например.

С русским или израильтянином все прямо противоположно. Русский человек очень любит Россию *в целом*, очень болезненно реагируя на всякое не то что топгание, но даже непочтительное прикосновение к своему национальному чувству; повышенная чувствительность иногда, что вполне естественно, порождает самоненависть, чаадаевщину — русский народ из воплощения мирового добра превращается

в воплощение мирового зла, и нет иностранца, который унизил бы русский народ с большим садизмом и изощренностью, чем русский чаадаец. Испытывая крайнюю любовь к России в целом, русский не испытывает никаких теплых чувств к конкретной, а не абстрактной России — например, к своему станку, заводу, двору, городу... во всяком случае, его любовь никак не отражается на его конкретных действиях, на выполнении своих общественных функций, например. Сходное наблюдал я и в израильском национальном характере. Большинство израильтян страстно любили всех евреев, еще более страстно они любили *Эрец-Израель*. Но все это — и любовь ко всем евреям, и к государству Израиль — никак на их будничной жизни не отражалось. Мало того, по этому ежедневному бытию можно было как раз и предположить, что нет у израильтянина больших врагов, чем его соплеменник и родное государство. Вся жизнь среднего израильтянина построена на этой перманентной, непрекращающейся экономической борьбе с государством. Здесь, как отметил Владимир Ильич, вопрос всегда ставится ребром: «Кто кого?» — или государство обжудит гражданина, или же гражданин обжудит государство и общество, а поскольку решительной победы ни одна из сторон или не может, или не хочет одержать, то конца этой войне не видно.

Израильское общество напоминает мне известную телегу в басне Крылова, которую тащат в разные стороны представители всех этнических и социальных групп. И каждая из этих социальных групп безо всякого снисхождения выкручивает руки любимому государству. В Израиле бастуют все — водители такси, почтовые работники, врачи, бастуют электростанции, заводы и министерства. Дело идет и к тому, что начнет бастовать армия — призывники не являются на призывные пункты и отказываются служить, и часто вовсе не потому, что считают внешнюю политику захватнической и несправедливой, а по причинам экономическим. Один из таких «отказников» сообщил корреспонденту газеты, что государство не забыло призвать его на военную службу, а вот повысить жалованье ему, при почти тысячекпроцентной инфляции, забыли. И не пойдёт он в армию, пока не подымут ему зарплату...

И вот сейчас забастовало Министерство внутренних дел, но смириться с этим фактом граждане не хотят. Одна накрашенная молодая иудейка, брызгая слюной и размахивая руками, насккивает на моего стража, как будто он ей в чем-то может помочь. Американские евреи, не привыкшие к подобной ситуации, молчат. Я говорю одному из них:

— На этих чиновников нужна культурная революция и председатель Мао. А еще лучше — товарищ Сталин. Посадил он бы десять процентов работников министерства, и остальные работали бы как следует.

Услышав слово «Сталин», ко мне немедленно подбежал страж. Он поднял руку и, выразительно тряся ею перед моим лицом, произнес:

— Сталин — ло, Сталин — ло! — что в вольном переводе означало: «Сталин — нет, Сталин — очень плохо».

Граждане, поняв, что Министерство иностранных дел все равно не откроется, сколько бы около него ни стояли, стали медленно расходиться. Я остался один на один со стражем. Он приблизил ко мне свое старое, небритое, с синими и розовыми прожилочками, лицо, очень грустное еврейское лицо, грустное лицо еврея диаспоры — таких лиц я не видел среди сабров, коренных израильтян, и мне говорили, что еврейский тип в Израиле изменился, вместо согбенных и униженных создан новый тип мускулисто-сильного красавца-еврея, — и сказал мне на идише, тоже продукте галута, языке, на котором говорила моя бабушка:

— Сталин — это очень плохо. Но вот Ленин — это очень хорошо. — Что-то радостное и детско-восторженное промелькнуло в его глазах и пропало. — Здесь все бездельники. Все разложились. А русский народ — это сильный народ, настоящий народ. Я был за спиной русского народа почти пять лет, и он меня спас. А Бен

Гурион — негодяй, подлец, — страж сообщил это мне без всякой связи с предыдущей фразой, — самый последний негодяй.

— Почему же это?

— А потому, что, — в его глазах еще раз что-то блеснуло, но уже зло, — он не думал о своем народе. Хотел свои идеи политические реализовать, государство построить, а народ оставил — вот и убили немцы шесть миллионов.

Я двинулся дальше. Я был свободен, абсолютно свободен. У меня не было не только паспорта и гражданства, но и права на проживание. Виза моя была просрочена, и неизвестно, когда я получу новую. Я спустился вниз, а затем повернул налево, к высившимся стенам Старого города. Дойдя до Дамасских ворот, я снова нырнул в узкие улочки и закоулки старого, построенного, наверное, еще турками, арабского рынка и через двадцать минут оказался на довольно большой площадке. Она была перегорожена, а за перегородкой виднелась стена — не слишком низкая, но и не высокая; было ясно, что она древняя, очень древняя; ее камни, особенно те, что у основания, были основательно выщерблены временем и покрыты, словно оспинами, тысячами выбоин и трещин, со множеством скомканных бумажек в каждой. Около стены стояли люди, отличные от большинства виденных мной в центре города Иерусалима. Они были одеты не слишком модно — ни на одном из них я не заметил ни джинсов, купленных у американских гоев за дефицитные доллары, ни элегантных французских кофточек, тоже приобретенных еврейским государством у антисемитов-французов за не менее дефицитные франки, ни изящных итальянских туфелек, которые еврейскому государству тоже не так легко добыть у тех, чьи прадеды разрушили этот храм. На них была старая, давно вышедшая из моды одежда — та, что носили в занюханных местечках Украины, Польши и Литвы евреи триста лет тому назад. И говорили они тоже на языке рабства — идише, на языке, который так напоминает язык тех, кто убивал их сорок лет тому назад. И вели они себя не так, как ведут себя весело-энергичные чернокудрые широкоплечие зигфриды, при автоматах и автоматических винтовках, обветренные ветром *контролируемых территорий*. Глаза у тех, кто стоял у стены, были грустны, а в частых униженно-быстрых наклонах и жалобно-монотонном повторении одних и тех же слов было само воплощение рабства, погромов крестоносцев, Хмельницкого и газовых камер. Их рабски-жалкое видение мира и собственного места в нем было абсолютно безнадежным, без какого-либо просвета. Но самым алогичным был у них постоянно повторявшийся рефрен: «В следующем году — в Иерусалиме».

Почему они носят одежды трехсотлетней давности? Почему они упорно не желают выйти из своего рабско-египетского состояния — ведь это так легко: не нужно странствовать по пустыне и нужно только выйти из пятючка, примыкающего к стене. И уж совсем смешной кажется их молитва богу дать им возможность жить в следующем году в Иерусалиме.

Молитва эта потеряла всякий смысл даже в диаспоре галута, ибо сейчас, после образования государства Израиль, после того, как принят закон о возвращении, любой еврей может обратиться в ближайшее отделение Сохнута — и в кратчайший срок, бесплатно и даже с имуществом он будет доставлен на историческую родину. И очень возможно, что его направят прямо в Иерусалим, на постоянное место жительства. А если в Иерусалим он напрямую не попадет, то сможет когда-нибудь туда перебраться. В этом ничего сложного нет, и если поставить себе это целью жизни, то она вполне достижима. Даже если ты не еврей, то и тут преград нет для тех, кто хочет жить и умереть в Иерусалиме.

Попав же в Иерусалим, найдя там дом, жену и наплодив детей, еврей окончит историю. Это будет его личная, мелкая, малопримечательная история; если говорить честно, эту историю вообще никто не заметит. Не заметит никто и конца этой истории. Но какое ему дело до всех остальных... У него своя жизнь и своя смерть. Его муки и успокоение — только его, и он не будет делить их с остальными народами;

пусть они проживут свои жизни и умрут, ибо все, что родилось на этой земле, должно умереть. Да и земля должна сама умереть, рассыпаться в прах, а затем и сама материя должна распасться или превратиться в нечто совершенно иное. Но какое дело ему будет до всего этого... Иов найдет свое последнее пристанище и успокоится, примирится с миром, и это примирение произойдет независимо от его счастья или несчастья. Это будет успокоившийся, а посему и благочестивый Иов...

А пока я думал об этом, в Иерусалиме наступил вечер. На Ближнем Востоке все происходит быстро, без полутонов, природа не следует здесь американской вежливости; палач, перед тем как пристегнуть ремни электрического стула или захлопнуть двери газовой камеры, не раздвигает губы в улыбке и не говорит, что, мол, Христос любит тебя. Ближневосточная природа откровенна, ясна. Яркий свет солнца, полнота жизни исчезают сразу, труп неба сереет быстро, так что не остается никаких сомнений в том, что жизнь кончилась. Я страшно устал за день беготни, сел на ближайшую лавочку, глаза сами собой слиплись, и я провалился в черный колодец беспмятства...

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ГОРУ

Это было время, которое впоследствии историки назовут началом конца империи, временем упадка. Империя не хотела осознать это, хотя знамений было немало. «И возведя Его на высокую гору, дьявол показал царства вселенной во мгновение времени...»

Уже клубились молочно-белые утренние туманы в азиатских степях, и где-то там, на сибирских равнинах, медленно скрипя колесами и переваливаясь на кочках, катились кибитки народа, именуемого китайцами *сюну*, который затем назовут гуннами; уже потные, искуанные комарами лица кричали что-то, размахивая боевыми топорами, римским воинам, застывшим за частокколами рейнских лагерей, и вспыхивало то там, то здесь пламя мятежей. Но империя была еще сильна, и гранитные валы ее молча и бесстрашно встречали удары океанских волн, и они покорно откатывались назад.

Он пошел тогда на гору один, без свидетелей и учеников. Но был вечер, и пустыня медленно отдавала накопленный за день жар. И хотя песок и камень жарко дышали на него, воздух был уже прохладен и свеж, и красные, потрескавшиеся скалы отбрасывали длинные тени. Горная коза недвижно застыла над пропастью темным силуэтом, а затем, как бы нехотя сделав несколько грациозных прыжков, скрылась среди камней. Серая ящерица прижалась к нагретому солнцем валуну и при его появлении сползла с него, волоча тяжелый коричневый хвост.

Он взбирался на холм, медленно и осторожно ставил на хрустящий щебень ногу, а затем постепенно переносил на нее тяжесть всего тела. Он часто останавливался, вытирал тыльной стороной руки пот со лба и подносил к пересохшим губам кожаный мех с теплой жидкостью. Рот приоткрывался, потрескавшиеся губы с жадностью ожидали теплую струйку, большой кадык ходил под тонкой пергаментной нездоровой кожей. Напившись, он сидел несколько минут на теплом камне и смотрел вверх, на вершину холма и на постепенно темнеющее небо, с которого уже исчезли черные силуэты парящих над пустыней коршунов. Ему не хотелось подыматься с камня, такого теплого и ласкового, но он знал, что скоро, очень скоро солнце завалится за холмы, наступит ночь, поэтому, пересилив себя, он продолжал свой путь. По дороге он нашел суковатую палку, и это облегчило подъем. Когда он взобрался на вершину, на западе осталась лишь багровая узкая полоса, но вскоре и она исчезла, и тьма обступила его со всех сторон. Он сел на камень поудобнее, завернулся в плащ и стал смотреть на роскошный, вышитый звездами ночной ковер. Он проделал этот долгий путь на гору, с которой так хорошо была видна равнина, чтобы представить себе свою грядущую победу над римлянами.

Он знал, что битва должна произойти здесь, внизу, в долине, в то время как он будет наблюдать за ней отсюда, сверху. Римляне будут разбиты — это он знал, стоя у подножья холма, и сверху ему будут хорошо видны их крушащиеся боевые порядки, ломка темных линий, дробление густых черных масс резервных манипул; а затем он услышит глухой отдаленный гул. А еще через полчаса, припав на одно колено, вестник бросит перед ним спекшуюся от крови голову римского претора, сенатора, консула или даже... да, это будет именно его голова, голова римского кесаря. Он, не подняв и не рассмотрев поближе, ударит ее носком своего военного сапога, и она мячиком покатится с обрыва, а затем полетит вниз. Он засмеется злым неявным смешком, и все его окружение тоже засмеется. Осторожно поддерживаемый офицерами свиты, он спустится вниз делить добычу — оружие, золото, рабов. Он раздаст все это солдатам, народу. И народ благословит его как мессию, царя из семени Давидова.

Рим, конечно, не смирится с этим поражением, пошлет новые легионы, но и он не будет сидеть сложа руки — он немедленно пошлет послов к парфянам, и они придут ко двору царя царей не как смиренные просители, а обратятся к нему как равные к равному. Объединившись с парфянами, он еще раз разобьет римлян. Как только это станет известным, немедленно восстанет против Рима Сирия, Египет, Армения, весь восток. Они все вынуждены будут признать его выдающиеся военные способности и организаторский гений и вручат, с неизбежностью вручат ему командование над объединенной союзнической армией. А когда он разобьет их в третий раз, то вся империя, которая держится только на страхе, начнет разваливаться, дробиться, и поднимется не только восток, но и запад, даже Иберия, еще не забывшая Серготория. А затем он пойдет на Рим, и это будет последняя и самая страшная из битв, ибо римляне будут сражаться не за империю, а за свою свободу и жизнь, но они не выдержат. И не только потому, что его армия будет в десять раз больше римской — он и его офицеры знают сильные и слабые стороны римлян. Прожив под Римом, он сам стал римлянином, их повадки ему хорошо известны. Он триумфально введет в Рим так, как въезжают в него цезари. Он это тоже хорошо представил — на колеснице, влекомый специально откормленными для этого случая отборным зерном храпящими лошадьми, облаченный в роскошные тяжелые одежды, а сзади будет стоять раб, держащий золотой лавровый венец; другой раб будет махать опахалом — ему будет очень, наверное, неудобно в этих тяжелых одеждах триумвира, да и в Риме, ему говорили, бывает иногда страшно жарко, почти так, как в Иудее. А за колесницей будут идти, звеня цепями, пленные. Это будут наиболее знатные пленники — преторы, консулы, эдилы и сенаторы с согнутыми спинами, потухшими глазами и трясущимися руками. Римляне хвалятся своей стойкостью и умением умирать, умирать без надежды на жизнь по ту сторону черты. Такими вот решительными они любят изображать себя в своих статуях — челюсти сжаты, скулы сведены, глаза смотрят прямо. Все это ложь — не будут они смотреть прямо, и руки их будут трястись, когда палач в Мамертине, — а палача можно будет оставить старого, римского, палачам ведь абсолютно безразлично, кому служить, — начнет душить их близких. Он заставит приковать их самих к стене камеры, а если они закроют глаза, то уши им заткнуть никто не даст, и они должны будут слышать страшный предсмертный крик ужаса и сдавленный хрип. А затем их всех распнут: солдат, тех, которых он не продаст в рабство и не заставит биться на арене — вдоль Аппиевой дороги, а сенаторов и прочих — в центре города.

Но самой страшной, самой лютой казни он предаст Понтия Пилата — пятого прокуратора Иудеи. Почему он ненавидит его более, чем других римлян, он не знал, но чувствовал, что тот есть его самый страшный враг. Однако когда он пытался представить себе муки и казнь Пилата, у него ничего не получалось, и сознание, столь послушно рождавшее один образ за другим, вдруг становилось бессильным и бесплодным.

Так думал он у подножья холма, когда закат красным плащом бился у самой кромки гор, глядя в темную пропасть ночи, он не мог ничего увидеть — долины внизу не было видно, только темные силуэты гор окружали его и горело тысячами голубеньких искорок звездное небо. Становилось все холоднее. Он, встав с камня, расчистил почти на ощупь площадку от наиболее острых и больших камней, положил под голову мех с водой и накрылся плащом, но это мало помогло ему, и он залез под плащ с головой, стараясь согреть воздух своим дыханием. И вот здесь, лежа под плащом, спасаясь от холода, он вдруг понял, что ничего не выйдет с его предприятием. Ему стало совершенно ясно, что у него нет ничего, кроме ничтожной группы сторонников, и никогда они не превратятся не то что в сотни тысяч, но даже в двенадцать сотен солдат. Он также понял, что, хотя эти люди клянутся ему в верности и повсюду следуют за ним, на них не следует полагаться, никто из них не пойдет с ним против римлян. Мысль о римлянах и страх смерти обжег его, и он еще сильнее сжался под одеялом, подобрав ноги к подбородку и обхватив их руками.

Какой же он глупец, безумец... да и кто сможет сражаться с римлянами... Пусть случится чудо, пусть превратятся его двенадцать — да разве можно верить по-настоящему хотя бы одному из них! — в двенадцать тысяч, пусть даже ему удастся удвоить это число — что из этого?! Двадцать четыре тысячи — это меньше, чем три легиона, а что такое три легиона римлян... У римлян их не меньше тридцати, а если учесть вспомогательные войска союзников, то и того больше. Да и не нужно будет звать римские войска и переводить легионы из одной части провинции империи в другую, разве не могут они обойтись местными силами, теми же евреями...

От этой мысли нервная дрожь прошла по его телу, и он почувствовал, какой он одинокий и беспомощный в этом мире и как сильны римляне. Но это ощущение было для него гораздо более приятным, чем картины победы над римлянами, которые до этого он сам так старательно представлял. Зачем римлянам тратить жизнь даже одного из своих солдат, когда у них есть такой преданный обрезанный пес, как Агриппа. В тот же день, когда он выступит против римлян, у ближайшего поселка он встретит другую еврейскую армию с римскими офицерами. А когда их разобьют — а то, что разобьют, теперь он знал несомненно, — солдаты Агриппы скрутят ему руки, завяжут их ремнями, а затем толкнут его на колени перед римским центурионом; они будут стоять вокруг него с обнаженными клинками, внимательно следить за тем, чтобы он не причинил зла этому римлянину — не пытался ударить головой в живот или ногой в пах. Эти солдаты и римлянин прекрасно знают, что обреченные на смерть часто становятся безумно смелыми, и от них можно ожидать всяких неожиданностей.

Ему было тепло под плащом, но маленькие камни (он не мог убрать их все) резали ему спину, и он беспокойно ворочался. Но это не помогало ему, он встал и, завернувшись в плащ и пристегнув к поясу мех с водой, стал быстро, возбужденно ходить, глядя на черные, размытые ночью силуэты гор.

Солдаты Агриппы будут держать его слабую беспомощную руку, руку, которая с таким трудом подымала меч, своими сильными мускулистыми руками с просвечивающими сквозь кожу венами и силой давить коленом на грудь, так, чтобы у него сперло дыхание и рот его судорожно и беззвучно хлопал, как у выброшенной на берег рыбы. Он почувствует резкую и острую боль и поймет, что его прибивают к кресту, затем ему станет немного легче — вместе с кровью из порванной вены будут уходить силы, и тело обмякнет. С каждым новым ударом боль будет чувствоваться все слабее и слабее, а затем вдруг ему покажется, что у него выросли крылья, и ослепительное солнце понесется прямо на него — и он поймет, что крест подняли. Огненные солнечные лучи, кипя, будут литься сверху на плывущие и кружащиеся в радужном хороводе пески, на финиковые пальмы с разлапистыми листьями и красные, потрескавшиеся горы.

Он дошел до самого края, посмотрел вниз, в черную пасть обрыва, и почувствовал, что кто-то толкает его вниз. Но он пересилил себя и отошел. Теперь он знал, что

врагами его являются вовсе не римляне, а его народ. Да разве не евреи говорили ему, что они избраны, что бог будет сражаться в рядах их, что с его помощью ничего не будет им стоить разбить римлян, сколько бы легионов не выставили они? Разве не внушали они ему, что его долг — первому начать эту борьбу и заслужить вечную славу у своего народа? Да, это евреи толкают его к этому обрыву и хотят его гибели.

Все показалось ему ничтожным и жалким: его народ, вовсе не великий и не избранный, а маленький и неприметный по сравнению с другими народами (за его плечами не было ни великих империй, ни пирамид, а книги, написанные им, ничем не отличались от тысяч других книг, написанных другими народами), народ, почти всю свою историю бывший под кем-то — египтянами, ассирийцами, персами, греками и римлянами; и он сам, вечно клонящий голову перед сильными мира сего и не имеющий ничего, кроме безумного тщеславия и кучки сторонников, которые разбегутся при первой же опасности. Он посмотрел на густую черноту долины, на голубые искорки звезд — и вспомнил, что ему уже за тридцать, началась вторая половина его жизни. Ему стало смертельно жалко самого себя, самого несчастного из всех существ, живущих на этой земле, и он, протянув руку вверх, к холодному блеску, стал быстро, заглывая слова и слезы, душившие его, шептать: «Барух Адонай...» Чем быстрее и страстнее он шептал молитву, тем несчастней и беспомощней он казался самому себе, и сладкая, щемящая жалость теплым и сладким вином растекалась по его телу.

Он продолжал бессмысленной, невнятной скороговоркой повторять «Барух Адонай», сморкаться и прикладывать пахнущий потом плащ, с прилипшими к нему песчинками, к глазам; звезды смотрели на него с небес равнодушно и холодно, и показалось ему, что это смотрят на него сверху не знающие жалости глаза. Он не выдержал этих взглядов и упал на землю. Плащ свалился с его плеч, и худое тело с рыжей реденькой бородкой и растрепанными, липкими от пота свалывшимися волосами билось и елозило по земле — как в эпилептическом припадке. Посеревшая от грязи, с разводами пота на спине, туника порвалась и обнажила острые, выступающие из худого тела, ребра, грудь его часто, нервно вздымалась, и сдавленное, почти звериное рычание вырвалось из его рта.

Жалость к себе продолжала загонять его все дальше и дальше в какой-то темный туннель или колодец. Всхлипывая, он почти без сопротивления шел. А затем и жалость куда-то пропала, и он кубарем покатился, уже никем не сдерживаемый, в бездну, в черную, усеянную клыками камней, пасть пропасти. Страх подбросил его на ноги, и он, дико посмотрев на черные, размытые контуры гор, на валяющийся плащ, на звезды неба, закричал безумным от ужаса голосом: «Барух Адонай... За что?! За что ты покинул меня? Элои, Элои! Лама савахфани!»

Он испугался своего крика, как ему показалось, страшного и громкого, и прислушался — кто-то должен был ответить на этот крик, он кем-то должен был быть услышан. Но ответа не было, пустыня молчала и не отзывалась на его крик ни единым звуком, даже эхом. Обессиленный, он сел на камень, обхватив голову руками — в ней сильно стучала кровь, боль стучала по мозгу. Он сдавил виски руками — и боль прошла. Он встал, холодная капля скатилась с его уже остывшего лба и упала на щеку, это прикосновение капли обожгло его раскаленным металлом. И вдруг он понял, понял с неотвратимой ясностью — мысль эта ярким лучом света выхватила его из ночной тьмы: он — бог, неотъемлемая часть неба, еще недавно такого враждебного, и этих холодных и недвижных глаз-звезд. Бессмысленная судьба его народа и его самого раскрылась ему, он понял ее тайный замысел и смысл.

Дьявол получил всех — всех, кроме народа его. И наполнил дьявол их сердце гордыней, и ожесточил его — и показалось им, что они избраны богом. И означает это величие, славу, разум и силу. Они создавали свои царства и строили города и храмы — и империи их становились все сильнее и больше, храмы и дворцы все

прекрасней. И все у них было правильным и осмысленным, так им казалось — и они строили башни. И думали они, что стали равными богу. Но дьявол вскоре оставлял эти народы — дьявол был распутен, каждый раз ему нужны были народы с молодым телом и свежей кровью, нужны лишь ненадолго, и он скоро оставлял их, а как только это случалось — все превращалось в прах: приходили откуда-то дотоле вовсе никому не известные племена и ударяли окованным в бронзу тараном по империи, городам ее и храмам, и они падали, подымая пыль, а затем пыль эта развеивалась ветром так, что никто не мог затем сказать, где эти народы были, где свидетельство их славы и могущества.

Но лишь один народ, его народ, не был уступлен дьяволу, и бог дал ему имя *Израэль*. Но смысл и значение этого дара не были поняты народом, и дар божий был принят за дар дьявола. И решили они, что будут как все — как все народы, населяющие землю. И они стали завоевывать другие земли и народы, и мечтали быть такими же сильными и мощными, как их соседи и враги — как египтяне, ассирийцы, халдеи, греки и римляне. И хотели они, чтобы города их и постройки, храмы и дворцы были такими же, как у других народов, и они обносили Иерусалим стенами и строили храмы; и хотя они клялись, что храм этот строится для бога, был он не богов, а дьяволов.

Но бог любил народ свой и не давал им окончить начатое — никогда не была страна их великой. Храм их, построенный Соломоном, не только был в десятки раз меньше, чем пирамиды, но и прочности у него не было никакой — построенный из дерева, он сгорел весь без остатка. И даже все то, что у них было, не могло удержаться, как будто было сшито из гнилой ткани, и расплзлось сразу после примерки: Царство Давида и Соломона распалось почти сразу же после смерти царя, было оно опустошено врагами, и храм сгорел. А когда это случилось, то народ думал, что это произошло с ним не из-за замысла, а из-за грехов и отступления от бога. И думал народ, что как только он исправится, то позволит им бог снова собраться на своей земле, и будет у них царство не меньше ассирийского или персидского, а храм — раз в десять больше пирамид, да не из дерева, а из прочнейшего камня.

Но не получилось у них ничего, не создали они империй; и не только не было ничего, но становилось им хуже от года к году, от поколения к поколению, даже Давидовы и Соломоновы царства и храмы никто уже вернуть не мог — и народ сокрушался и говорил себе, что он грешен и не исполняет заповедей. Жрецы говорили то же, и народ им верил. Приходили новые народы и брали их, и были те народы свирепей, злей и сильнее прежних, и надевали на шею их народа ярмо, бывшее тяжелее прежних; и так было год от года, и становилось ярмо тяжелей год от года, век от века. И нельзя уже было не только сбросить это ярмо, но и пытаться сделать это. А затем вообще перестали враги их надзирать за ними, стали сами они надзирать друг за другом — и встал брат против брата, и каждый из них хотел быть другом и союзником необрезанных. И с каждым годом, и с каждым веком становился народ мерзостней. И земля, которую бог им дал, не была землей ни млека, ни меда — да и не было хуже, наверное, земли во всем мире: не было здесь тучных долин, как у египтян и халдеев, а только камень и песок, и нужно было вести войну с этим песком и камнем за каждую пядь плодородной земли.

А народ не понимал, почему им, избранным, с каждым годом становится все хуже и хуже, а земля их — камень и песок. Жрецы говорили им, что все это потому, что они забыли бога, и бог отвратил от них лицо свое. Люди верили жрецам и первосвященникам и несли жертвы в храм, принеся же, брали в руки свои мечи и выходили против врагов своих. А когда разбивали их, говорили они себе, что жертв было мало, недостаточно их благочестие.

И не могли они понять, что в том, что земля их хуже, чем другие земли, есть не проклятие, а благословение, и если бог не дает им строить и завоевывать, то лишь потому, что ревнует он народ свой, желая, чтобы думали они не о царствах земных,



не о делах человеческих (а все дела человеческие были делами дьявола, ибо дьявол, потешившись с народами, сиротил их и оставлял одних на земле), а о делах божьих, о царстве его. И как только поймут они, народ его, что нужно строить царство не земное, а небесное, то сразу начнется конец мира, и будет царство построено, и будет вечно, и они будут вечны.

Слабейший и худший из народов избран богом, а он, слабейший и худший из народа, был первый, кто стал богом.

Яркий, ослепительный, но ласковый свет прошел по всему его телу, он закрыл глаза, и судорога волной прошла по его телу; ноги не держали его, он почувствовал, что сейчас упадет. Он сел на камень и обхватил плечи руками; его знобило, зубы стучали, быстро остывающий на холоде пот покрывал его лоб.

Озноб и дрожь прошли так же неожиданно, как и появились, и тело его наполнилось мягкой и упругой силой. Ноги пружиной распрямились, и, вскочив с камня, он стал приплясывать вокруг него, бестолково и радостно повторяя «Барух Адонай! Бог Израиля единый, славься! Славься, Барух Адонай! Бог Израиля один!» Он приплясывал вокруг камня довольно долго, тяжело дышал, хрипел и облизывал пересохшим, распухшим от жажды языком губы (вода давно была выпита), и снова начинал плясать, безумно повторяя одни и те же слова, смысл которых был не ясен даже ему. И когда первая розовая полоса зари нежным окровавленным парным мясом показалась на востоке, ноги его подкосились, и он, упав на песок, провалился в черный колодезь сна.

А когда он проснулся, то спустился с горы к своему народу, чтобы сообщить ему такую простую и для него очевидную истину, что он бог, что с него, грязного и нечесаного безумца, началась не только новая история его народа, но, быть может, мира, космоса, бесчисленного числа миров, скрытых от постороннего глаза глянцевым щитом синего южного неба...

КОНЕЦ ИСТОРИИ

Однако вскоре после этой ночи он почти забыл обо всем. Более того, все мысли о том, что есть бог, каково отношение бога к народу, его не занимали вовсе — все это ушло куда-то в сторону, исчезло совсем. Мысли и желания его были самые прозаические и обыденные — как прокормиться. Он не знал никакого ремесла, не мог быть даже бродячим торговцем — он был слишком тщедушным, чтобы носить короб с товарами. И он понял, что у него нет иной альтернативы, кроме как нищенствовать и проповедовать: не было бродячих нищих, которые не проповедовали бы, и проповедников, которые не нищенствовали бы. Вскоре он понял, что проповедовать одному и хлопотно, и небезопасно; ученики также могли бы придать ему известный вес, потому он вскоре занялся поисками тех, кто мог бы следовать за ним. Так он нашел Петра.

Петр помнил этот день — это был удачный день. Он тогда вернулся с рынка, где продал улов и купил много еды. К полудню он насытился, и много обедков осталось на столе. Тогда-то он услышал стук и открыл; нищий, стоявший на пороге, чем-то понравился ему, он впустил его и дал поесть.

Гость ел быстро, глаза его бегали по комнате — казалось, он стыдился своего голода. Насытившись, он встал и, быстро утерев губы, посмотрел прямо в глаза Петру, будто бы проверяя в нем силу воли. Глаза на худом лице с рыжеватой бородкой и длинными жирными неопрятными волосами горели воспаленным, безумным огнем, но в них не было ни силы, ни власти. И вызывали они не страх и почтение, а жалость и усмешку.

— Петр! — сказал он хриплым, отрывистым голосом, полагая, наверное, что голос его звучит властно и повелительно. — Ты был ловцом рыб, а станешь ловцом человек.

Улыбка невольно раздвинула губы Петра, но ему не хотелось показывать ее



этому сумасшедшему нищему. Он чувствовал свое полное превосходство над ним, не приспособленным для этого мира, посему обреченным на гибель в ближайшем будущем; он подумал, что смерть его скорее всего должна будет наступить в одну из зим. Он представил себе согнутую фигурку, лежащую у омытого тающим снегом валуна, открытые жалостливые детские глаза, тонкие руки, которыми он обхватит плечи и, пожалев его, опустил взгляд, увидев ноги со сбитыми ногтями и сандалии, на одной из которых развязался потертый ремешок. «А почему бы мне не пойти с ним...» — он подумал о госте с той холодной расчетливостью, с которой он всегда размышлял о деревенских девах, с которыми он мог переспать в любой момент. Действительно, чем он рискует? Цены на рыбу в этом году были низкими. Он молод и может вернуться к своему занятию в любое время; почему бы, собственно, не побродить с этим идиотом, хотя бы лето. Тот, судя по всему, собирается ходить по всей стране, а он так мало по ней путешествовал, будучи любознательным малым и весьма образованным для своего занятия. Отец Петра был человеком состоятельным и образованным — он хорошо знал греческий, немало читал, путешествовал и слушал греческих философов в Афинах и Риме. Он и сына приучал к наукам — полагал, что тот будет или крупным торговцем, путешествующим по всей империи, или чиновником-писцом. Так что Петр получил весьма неплохое образование — он хорошо знал писание, свободно читал по-гречески и на латыни. Петр думал, что жизнь его будет интересной и веселой, но случилось непредвиденное — отец умер, и вскоре от всего семейного благосостояния не осталось и следа. На оставшиеся гроши он купил сеть и стал рыбачить. Но тяжелая однообразная жизнь тяготила его, он всегда мечтал о том, что когда-нибудь бросит сеть и пойдет бродить по Иудее... или, может быть, по всей империи.

Перед ним был странный, чем-то заинтересовавший его человек. Он еще раз посмотрел на развязанные ремешки сандалий и, подняв лицо так, чтобы глаза их встретились, сказал, стараясь казаться как можно более серьезным:

— Учитель, я пойду за тобой...

И пошел за ним, твердо зная, что ничего нового он не узнает от человека, назвавшего себя Иисусом.

Он не ошибся. Учитель не говорил ни Петру, ни другим ничего нового. О том, что нужно каяться и соблюдать заповеди, он, как и все окружающие, знал и без этого проповедника. Да и речи его были обычно простые, не всегда складные, с заезженными сравнениями и общеизвестными цитатами. А когда он пытался говорить витиевато и заумно, вкладывать в слова какой-то тайный смысл, то выходило только скучней. Кроме того, по Иудее бродили десятки подобных учителей и пророков, многие из которых были, во всяком случае, образованней, так что очень часто они, входя в деревню, узнавали, что до них там уже успели побывать другие пророки, им уже скормлены все хлебные корки и сушеная, слегка порченная и потому непригодная для продажи рыба. Но им хотелось есть, потому *учитель* вставал в центре деревенской площади, если, конечно, в этой деревне была площадь, или перед домом, казавшимся ему богатым, и начинал пророчествовать — вернее, требовать от владельцев дома, которые, как он полагал, должны были считать себя великими грешниками, покаяния и соблюдения заповедей.

— Не собирайте себе соковищ на земле, — вскрикивал он громким фальцетом и затем останавливался на полуслове, прислушиваясь к звукам собственного голоса, — не собирайте себе соковищ на земле, — он старался, чтобы голос его звучал громко и властно, но тот быстро срывался и сходил на нет. Все то, что он говорил дальше, произносилось быстро, почти безнадежной скороговоркой: — Не собирайте соковищ на земле, где моль и ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут, — тут он опускал голову и начинал говорить себе под нос, глядя на землю и ковыряя носком сандалии пыль. — Не собирайте себе соковища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокро-

вище ваше, там будет и сердце ваше. — Затем, вскинув голову, он снова начинал взвизгивать злобным, ясно различимым фальцетом: — Никто не может служить двум господам, ибо одного будет ненавидеть, а другого — любить; или одному станет усердствовать, а другому не радеть, — голос его к концу фразы начинал садиться. Но в самом конце он, набрав воздуха в легкие, кидал в выбранное окно свой крик: — Не можете служить и Богу и Мамоне! Не можете, не можете! — продолжал он взвизгивать, брызгать слюной и закатывать глаза так, что видны были только желтые, покрытые, как письмена, красными прожилками белки.

Окна отворялись редко и быстро захлопывались. Прямо в лицо ему летели несколько хлебных корок или сушеная рыба. Он выхватывал их тут же из пыли и начинал с жадностью есть, заглатывая плохо пережеванные куски и озираясь, словно боясь, что кто-то захочет отнять их. Петру перепало очень мало, и он редко бывал сытым.

Кроме того, Петр был уже не один. Когда он решил присоединиться к Иисусу, то полагал, что будет единственным, но ошибся — его учителя окружало всегда не менее десятка прихлебателей. В большинстве это были опустившиеся бродяги, отупевшие от голода и боявшиеся ходить по дорогам в одиночку, опасаясь встреч с бандами разбойников.

Они странствовали по всей Иудее, попрошайничали и проповедовали. Чаше всего их гнали, иногда были готовы побить камнями, но нечто странное происходило с Петром. Сначала, не испытывая никакого уважения и даже интереса, он решил следовать за Иешуа только потому, что ему было скучно, и он лишь искал повод, чтобы оставить опостылевшие ему занятия. Но странно — чем больше он ходил с Иешуа, тем больше тот становился интересным ему, хотя Иешуа не говорил ничего нового, все истины были самоочевидными или странными, такими странными, что ни Петр, ни те, другие, кто следовал за Иешуа, ничего не могли понять в его изречениях. Как бы там ни было, им не везло, и подаяния были не часты, а иногда бывало, что их могли просто убить. Петр надолго запомнил один из таких случаев.

Было раннее утро, солнце еще только подымалось и не жгло. На этот раз ему повезло — мальчишки не бросали камни и комки земли. Нищие, тряся лохмотьями, с трудом опираясь на палки, приковыляв, устались на Иешуа своими слезящимися глазами; чмокая губами, он соображал, можно ли у кого-нибудь попросить милостыню, и казалось, что он готов расплакаться. Подошла женщина, волоча сопливого, ковыряющего в носу ребенка. Торговцы еще только раскладывали на лотках свои товары; прошли солдаты стражи. Погонщик, спавший у привязанного к колонне мула, встал — он проснулся не от звуков голоса, а от утренней прохлады; погонщик съезжился, потянулся, а затем, чуть пошатываясь, продолжая протирать глаза и позевывая, подошел к фонтану и, фыркая, подставил лицо струе воды.

Их было немного, его слушателей, но это был первый случай, когда его слушал еще кто-то кроме тех, кого он называл своими учениками. Его знобило и немного тошнило от холода. Пахло потом, конским навозом, мочой и кожей; легкий прохладный бриз дул с Кинерета. Ученики его стояли поодаль и ждали, что он станет просить хлеба. Он немного шатался от слабости и должен был напрягать последние силы, чтобы не упасть; жемчужины пота матово блестели на лбу. Глаза его поблекли, лихорадочный блеск пропал, лишь в глубине зрачков едва теплилась жизнь. Волосы прямыми прядями прилипли ко лбу, руки безвольно висели. Те немногие, кто смотрел на него, ожидали, что он упадет от слабости, и ожидали этого с некоторым интересом, как ожидают представления фокусника или бродячего дрессировщика. Представление не должно было быть слишком интересным, зрители собрались здесь лишь потому, что ничего другого не намечалось. Если бы сейчас он попросил хлеба, то, вполне возможно, ему бы бросили несколько корок, гнилые фрукты, порченных рыб и даже, может быть, несколько медяков.

— Кто не со мною, тот против меня; и кто не собирает со мною, тот расточает, — он начал говорить это, вернее, взвизгивать тонким фальцетом, но в конце фразы голос его окреп.

Солдат рыночной стражи, ковыряющий в зубах и плюющий в пыль, хотел усмехнуться, но улыбка почему-то сошла с его лица. Толпа притихла. Ребенок перестал вопить и испуганно прижался к ногам матери. Погонщик мулов с удивленным лицом продвинулся поближе, желая рассмотреть оратора. Подошло еще несколько человек. Вокруг него была уже значительная толпа, которая оттерла учеников, испуганных и жмущихся друг к другу. Один из них начал было канючить и просить хлеба, но тут же замолк от какого-то безотчетного страха и спрятался за спины других.

— Если кто скажет слово на Сына человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем!

Отрывистый, резкий визгливый фальцет окреп, загустел и стал внятно и полно охватывать площадь, проникая в людей помимо их воли. Никто не понимал ни слова в том, что он говорит, но сила и полнота голоса никак не вязалась с убогой слабостью тела и голодной бледностью щек, и люди стояли. Толпа все увеличивалась. Несколько торговцев, уже разложивших свои товары и начавших наперебой созывать покупателей, замолкли и даже, оставив свои лотки, подошли поближе. Кочевник, закутанный в черный бурнус, с коричневым от загара лицом, медленно покачивающийся между горбами верблюда, остановился и, прищулив глаза, стал вглядываться в толпу; верблюд выпяченными надменными губами меланхолично жевал сбрую с навешанными серебряными монетками. Стали подходить и посетители рынка; толпа все увеличивалась, задние уже не видели его, но властные густые слова отчетливо доходили до них. Какая-то незримая связь устанавливалась между ним и людьми, и чем больше толпа ощущала это, тем больше испытывала безотчетный страх, после каждого нового звука его голоса отшатываясь все дальше и дальше. Он стоял в центре уже довольно большого круга, и каждое испуганное движение толпы придавало ему новые силы. Лицо и лоб его блестели от пота, но он стоял твердо, выпрямившись и будто став больше и шире, после каждой фразы резко выбрасывая руки перед собой.

Тихая покорность толпы сделала его голос еще более сильным, густым и злым.

— Порождения ехидны, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста...

Толпа охнула и попятилась еще дальше назад, волна пошла от первых до последних рядов, а затем вновь вернулась к передним. Его власть над людьми была полной, но ему этого не было достаточно, и его голос требовал какого-то иного подчинения. Незримые путы, стягивающие его с толпой, натянулись до предела и должны были лопнуть.

— Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое...

— Помилуй, помилуй нас, сын Давидов! — захлебываясь, завыл женский голос.

Струна порвалась, эпилептическая судорога прошла по толпе, она заголосила сотнями голосов от страха, надежды и сладости обретения хозяина.

— Помилуй... милуй... милуй... милуй... ва-ва... А-а-а! — эхом пронеслось по площади, и толпа стала раскачиваться, будто танцуя и причитая одновременно. Ритмичные волны проходили по площади, почти полностью заполненной народом. Римский отряд, стараясь быть как можно незаметней, стоял в стороне. Руки солдат нервно лежали на рукоятках мечей. Гонец был послан за подкреплением, чтобы оцепить площадь в случае беспорядков.

Нищие стали выползать из толпы и, стуча по камням своими костылями и деревянными колодками, протягивая руки и жалобно подвывая, как побитые псы, подползали к нему, шепелявя и причитая:

— Помилуй, помилуй нас, сын Давидов!

Они хватали его за полы одежды или старались прикоснуться к нему. Рты их приоткрывались, зрачки закатывались, по телу проходила судорога, как будто они испытывали эротическое наслаждение. Груды стоящей в первых рядах молодой женщины набухли, сквозь тонкое полотно платья были видны коричневые крупные соски. Улыбка маской лежала на ее лице, с тихим безумным шепотом она сделала несколько шагов за нищими.

Несколько вызванных центурий подошли к площади и уже стояли, вытянувшись в линию, под портиком, выставив щиты и держа руки на рукоятках мечей. Пот катился по лицу центуриона, туника под панцирем была мокрой, и он, шурясь то ли от пота, то ли от солнца, нервно всматривался в гудящую растревоженным ульем толпу. Он знал, что время сейчас неспокойное. Во всем был виноват, конечно, их иудейский царь и снисходительность Цезаря. Евреи ненавидели своего царя, а он ненавидел их, и это было хорошо для римлян. Евреи не любили римлян, но их господство не было тяжким, поэтому со времени Помпея Великого до сего дня за почти сто лет в стране не было ни одного настоящего восстания. Но сейчас они, ненавидя царя, стали ненавидеть римлян. Но этот народ, быть может, более, чем какой-либо другой — не мог жить без надежды. Чем больше они ненавидели римлян, тем больше верили в мессию.

Они верили в то, что кто-то освободит их, и всем было известно, что мятежные ветры веют по стране и мятежные мысли зреют в головах ее жителей. По доносам было обнаружено уже несколько групп заговорщиков, и все они кончили жизнь на кресте, но судьба их не охладила пылкости оставшихся. Да и можно ли предотвратить бунт примерами... Если кругом навалены сухие дрова, то кто может уберечь их от искры? Совсем не то, что нужно бы, делает прокуратор. А может быть, и сам принцепс... Вместо того чтобы ловить разбойников и распинать их, нужно стянуть войска в Иерусалим, Кесарию и другие города, и не только позволить евреям начать бунт, но даже поощрить их к этому. А когда пожар вспыхнет, то залить его кровью, поскольку нужно истребить не дюжину мятежников, а половину народа, другую же половину продать в рабство. Он ничего не имел против этих евреев — они, в принципе, ничем не хуже галлов, египтян или германцев. Не лучше и не хуже. Он даже уважает их за пылкую смелость, с которой их банды нападают на римские отряды. Дело не в ненависти, а в интересах империи, а они-то и требуют, чтобы те, кто не может жить в ней, те, кто бунтует больше, чем остальные (только не нужно требовать невозможного, ведь не бунтующих народов просто не существует), должны быть уничтожены. Раз и навсегда.

Центурион стал медленно прохаживаться вдоль ряда солдат, стоящих под портиком с откинутыми в сторону руками с копьями и четырехугольными длинными, почти в человеческий рост, щитами, обитыми буйволовой кожей, с выпуклой металлической бляхой в центре.

«Нельзя так мучить людей, это же идиотизм. Конечно, солдат нужно держать в форме, но мучить бессмысленно тоже нельзя. Сколько я должен буду их так держать?..» Пот лился ручьями со лба центуриона, и соленая, едкая жидкость жгла глаза. Туника под панцирем была мокрой. Он понимал, что людей нельзя часами держать без воды, не давая им возможности даже зайти в общественный сортир, из которого доносился кислый запах застоявшейся мочи. Они стояли под портиком, навес как-то спасал их от прямых лучей солнца, но он знал — камни скоро раскалятся, от их горячего дыхания тогда не спасет никакой портик. Он понимал также, что от людей нельзя требовать невозможного, даже если это римские солдаты. Он старался ходить перед своими людьми как можно спокойней, но, помимо своей воли, нервно пружинил шаг и сплевывал перекусанные травинки. Он не знал, что говорит этот сумасшедший, понимают ли его, но не в этом было дело — ведь очевидно, что люди возбуждены до предела, и в любой момент толпа может начать громить лавки (вся-

кий бунт всегда начинается с грабежа), потому разумнее всего было бы атаковать сейчас, пока толпа подвывает и стонет, не имея вожаков. Судя по всему, зрители так поглощены этим сумасшедшим, что не обращают внимания на солдат. Наверняка он сможет незаметно провести солдат на другую сторону площади и окружить ее. Затем, расставив лучников по углам, можно будет ударить с трех сторон. Однако окружать площадь не следует. У него нет силы перебить их всех, в этом случае не нужно делать отступление невозможным. Поняв, что она должна быть уничтожена, что у нее нет выхода, толпа может озвереть и будет биться отчаянно. Наверняка придется потерять людей, во всяком случае, будет немало раненых. Обычно перед атакой солдаты метают во врага копьей. Даже если они и не поражают противника и застревают в щите, то все равно служат нападающим хорошую службу, так как мешают противнику пользоваться щитом. Но можно ли поступать так сейчас?.. Предположим, солдаты метнут копьей в толпу и оставят на площади несколько трупов. Как это подействует на толпу? Возможно, она обезумит от страха, побежит прочь, и все будет кончено. А если это только распалит людей? Ведь тогда-то эта безоружная толпа — кроме досок и длинных ножей мясников у нее ничего нет — получит оружие, и это еще больше осложнит положение. Вернее всего пользоваться только мечами. Но что же делать с копьями?..

Но даже победа может доставить ему, центуриону, серьезные неприятности. Ведь у него, как у всякого нормального человека, есть враги, и они-то поспешат послать в Сирию наместнику рапорт, что он, Септимий Марцел по прозвищу Красавчик (он получил это прозвище из-за своей любви к прекрасному полу — «дщери иерусалимские», которых Красавчик ненавидел, несмотря на то, что пользовался их услугами, одарили его гонореей; он лечился у местного шарлатана, прописывающего ему серу, ртуть и другие отвратительные жидкости и мази), устроил бойню на вверенной ему рыночной площади, бойня эта имела самые что ни на есть негативные последствия и еще больше обострила отношения между местным населением и римской администрацией. Донос затем отправится из Сирии в Рим, а то и прямо на Капри — к принцепсу. А принцепс не желает никаких осложнений и волнений, которые отвлекали бы его от важных государственных трудов. Он знает доподлинно, что это за труды — да разве только он один... Это ведь всем известно — *божественный* развлекается с мальчиками. А поскольку наиболее важные для сих трудов части тела его не работают так, как прежде, то он, прежде чем уединиться с очередным любимцем, прогуливается по саду своего каприйского дворца. И в этом саду мальчики и девочки занимаются любовью, дабы распалить божественного.

Вспомнив о девочках, бесплатных и абсолютно безопасных, Красавчик представил, что было бы с придворным врачом, если бы хотя бы одна из них подхватила гонорею, — его тут же распяли бы в центре сада в назидание. Эта мысль вызвала у него приступ ярости. Он сравнил этих императорских девочек — отборный, высококачественный товар — с местными потаскушками с подведенными углем глазами, дешевыми украшениями, жирными складками на бедрах, отвратительно воняющих потом и дешевыми притираниями. Ему говорили, что еврейки, в отличие от сириек и бедуинок, гораздо чище, ибо их религия требует ритуальных омовений. Он, Красавчик, может после десяти лет пребывания в этой забытой богом стране засвидетельствовать, что еврейки ничем от прочих жителей не отличаются, и после любовных ласк где-нибудь на набитом соломой тюфяке всякий раз, заходя в местный сортир, ты будешь испытывать страшные муки.

Центурион также вспомнил о своих приятелях, многие из которых успешно продвигались по служебной лестнице и оказались в преторианских полках, о том, что денег у него почти нет, что он задолжал всем, кому только можно задолжать — лавочникам, прачкам, приятелям, — и почувствовал, что злоба белыми обжигающими шарами стала подыматься откуда-то из нутра, будто со дна начинающего ки-

петь котла. Он теперь знал наверняка, что не сможет долго контролировать себя, и если этот сброд не разоидется в ближайшее время, то он отдаст приказ своим людям окружить площадь со всех сторон и ударить по толпе. Это будет рукопашный бой, с мечами в руках солдат. Копья он прикажет повесить на спину — для этой цели у копий были маленькие петли, к которым можно привязать ремни и закинуть их за спину — изобретение Красавчика, которым он очень гордился.

Центурион вытащил из ножен свой старый, сточившийся с одной стороны и немного зазубренный гладиус, который слился в единое целое с его рукой. Он уже был готов отдать приказ двум когортам начать обходить площадь, как увидел, что что-то странное происходит на площади. Толпа, еще мгновение тому назад причитающая и раскаивающаяся, смолкла и стала быстро расступаться. Перемена в настроении толпы была столь стремительна и неожиданна, что Красавчик, забыв про осторожность, сделал несколько шагов и, оставив своих людей, подошел к толпе поближе, чтобы оценить обстановку. Несколько бородатых и почтенных старцев проходили сквозь толпу, и по той готовности, с которой толпа, еще недавно, казалось, не видящая ничего и не подчиняющаяся никому, кроме этого сумасшедшего, расступалась перед ними, можно было заключить, что бородатые мудрецы были еврейскими жрецами. Жрецов евреи уважают до чрезвычайности и, как всякий дикий и непросвещенный народ, почитают до крайности. Жрецы эти держались весьма властно, вышагивая по площади с гордыми, даже надменными лицами. Люди наперебой кланялись им, часто и подобострастно. Лица жрецов были серьезные, лишь один из них, довольно молодой, с рыжеватой, как и у того безумца, бородкой, улыбался.

Пока мудрецы шли к центру площади, безумец не обращал на них никакого внимания, продолжая выкрикивать бессвязно и зло:

— Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься!

В это время мудрецы пересекли площадь и встали недалеко от него, тихо переговариваясь друг с другом, медленно и основательно, дабы не терять достоинства, поглаживая свои бороды. Толпа замолкла и прекратила свои причитания. Чувствуя, что борьба идет за нее, она ожидала победителя, чтобы отдаться ему полностью, без остатка. Сумасшедший тоже перестал вопить и уставился на группу горящими от ненависти глазами.

От группы отделился тот самый молодой и веселый жрец; улыбка продолжала блуждать на его губах, в глазах светились веселые искорки. Совсем не опасаясь безумца, жрец быстрым военным шагом (Красавчик не удивился бы, если бы узнал, что мудрец где-то до этого служил) подошел к оратору. В двух шагах от него он повернулся спиной к Иешуа и лицом к толпе и сказал призывно и громко, как говорят ораторы на трибуне:

— Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение...

Голос его был сочный, сильный, откормленный — таким тучным голосом говорят лишь те, кто никогда не думал о куске хлеба. Слыша такой голос, Красавчик всегда уступал дорогу, ибо он обычно принадлежал большим начальникам или богачам. Голос был брошенным копьем, и центурион сразу понял, что это было хорошее копье, и рука, бросившая его, была сильной и умелой. Очевидно было, что сумасшедший выдает себя за спасителя евреев — его, спасителя, ждут и называют *мессией*, он должен будет освободить свой народ от власти римлян. А этот рыжебородый мудрец правильно подметил, что если он действительно что-то вроде еврейского Геракла или Энея, то пусть докажет это — эдак ведь каждый заявит, что он мессия, спаситель или, во всяком случае, какой-то особый мудрец, которого до этого и свет не видел. Почему, например, и он, Красавчик, не может себя таковым объявить? Нужны не слова, а дела, пусть он что-нибудь покажет, пусть хотя бы сделает так, чтобы общественный сортир не вонял...

Сумасшедший между тем, глядя в спину рыжебородому мудрецу, выкрикнул:

— Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не дается ему, кроме знамения Ионы-пророка! Ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи!

Он ожидал, что скажет это тем сильным и властным голосом, которым до этого говорил с толпой, но голос тот пропал — вся сила перешла к его противнику. И голос его вернулся к жалкому, визгливому, истерическому, рабскому состоянию, в котором пребывал прежде.

Мудрец повернулся вполоборота к оратору и встретил его злой и бессильный взгляд своим, насмешливым. Искорки в глазах смеялись, а глаза не были злыми.

— Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знаменье...

Безумец не отвечал, и от каждой фразы, ударявшей по нему, становился все меньше и меньше. Глаза продолжали гореть огнем бессильной ненависти, грудь судорожно поднималась, как после долгого бега.

Веселый противник снова повернулся к толпе лицом и, обедев ее, уже притихшую и с той же влюбленной жадностью ловившую каждое его слово, с какой она еще несколько мгновений тому назад ловила слова другого, улыбнулся широко, победно и благодушно. Он давал понять толпе, что знает, что она уже на его стороне и признала его противника битым, но он, как подобает сильному и честному бойцу, дает своему противнику последний шанс, подает ему меч, позволяет ему сделать еще один выпад, чтобы никто, после того, как он еще раз выбьет меч из его рук, не усомнился бы в полноте победы.

— Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знаменье... — голос снова прозвучал сильно и уверенно.

Иешуа собрался с силами и хотел что-то сказать, но голос его сорвался, только бессильное шипение вырвалось изо рта. И в этот самый момент комок влажной земли ударил ему в лицо. Он, наверное, был брошен из толпы каким-то мальчишкой. Удар не мог причинить боли, но что-то произошло с безумцем — он вздрогнул и сжался, злоба и ярость пропали из его глаз, и он посмотрел на толпу детскими, жалкими глазами. Он думал, что борьба ведется только между ним и противником, что толпа на его стороне, что она не унижится до того, чтобы бить того, кого еще недавно любила. Он ошибся, и как только понял, что предан толпой, то сразу исчезла его надменная сила и уверенность, а в глазах засветился страх. Он обнял плечи руками и стал быстро вертеть головой, ожидая комков грязи и камней, и не ошибся: кто-то из зрителей бросил в него несколько голышей, но не попал.

Он хотел уйти, убежать, ему, окруженному со всех сторон враждебной ему толпой, было страшно на площади. Солнце уже встало над головой, безжалостно посылая на землю свои раскаленные стрелы, и ему страшно хотелось пить, горло пересохло, он уже ничего не мог сказать даже тем жалким визгливым голосом, которым говорил прежде с толпой. Взгляд его испуганно бегал по площади, ища прохода в толпе, куда он мог бы проскользнуть. Сам он напоминал затравленного зверька.

Но ни толпа, ни веселый мудрец не расходились. Рыжебородый мудрец медленно, наслаждаясь полнотой власти и унижением противника, ходил вокруг него, разглядывая и оценивая, как оценивают рабов на рынке или девок в публичном доме. Взгляд его останавливался то на сандалиях с потертыми ремешками, то на исцарапанных грязных ногах, то на плетях рук, которыми безумец судорожно, по-женски, будто ожидая удара, обхватил грудь, то на бегающих звериных глазах. Сделав несколько кругов, жрец поворачивался к толпе и повторял одну и ту же фразу:

— Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знаменье...

Бородатые мудрецы стояли поодаль и, степенно улыбаясь, продолжали поглаживать свои бороды.

Толпа веселилась, смех и женское хихиканье слышались тот тут, то там, но эти отдельные всплески смеха не сливались в волну; толпа начинала медленно расходиться. Через некоторое время на площади остались лишь мальчишки, которые, бросив несколько камней и увидев, что замолчавший оратор не убегает и не гонится за ними, вовсе прекратили свои занятия, и нищие. Нищие, в отличие от толпы, не смогли сразу понять, что «мессия» так быстро превратился в презренного шарлатана, поэтому закончили свои причитания позже, чем все остальные. Один из них подошел к оскандалившемуся совсем близко и стал рассматривать его внимательно, часто моргая красными подслеповатыми глазами. Затем и нищие ушли, расположились под портиком вздремнуть и переждать дневную жару.

Иешуа стоял на площади и испуганно озирался — он по-прежнему ожидал камня или комка грязи, не решаясь сделать шаг. Когда кто-то тронул его, он отскочил в сторону и втянул голову в плечи, ожидая удара, но затем, повернув голову, понял, что опасаться ему нечего — перед ним стояла толстая усатая еврейка с большими добрыми глазами. Она жалостливо посмотрела на него и, протянув ему постную лепешку, показала рукой на другую сторону площади:

— Вот мать твою и братья твои стоят вне, желая говорить с тобой.

Он бросил взгляд туда, куда указывала рука, но, увидев только уходящий римский отряд, прошипел, вырвав хлеб и по-собачьи ослабившись:

— Кто мать моя и кто братья мои? — А затем, пытаясь расправить плечи и выпрямиться, повернулся к ученикам, по-прежнему испуганно жмушимся в стороне от толпы (толпа загораживала их от него, и только сейчас он смог увидеть их), и выкрикнул, будто по-прежнему выступая перед кем-то: — Вот мать моя и братья мои! — после чего быстро, почти бегом, направился к ним.

Ученики не слышали его слов, но радостная улыбка была на их устах. Они боялись его победы. Поведи он за собой толпу и стань ее избранником, он оставил бы их — жалких, убогих и забытых (а таковыми становились все после долгих странствий), которым так был нужен кто-то, чтобы вести и утешать.

Он всматривался в их лица внимательно, как будто только сейчас увидел их. В мутных глазах бродили какие-то мысли, и непонятная и тяжелая работа происходила в его голове. На лбу его заиграли морщины, казалось, он что-то преодолевал, от чего-то освобождался; затем лицо быстро разгладилось, и блаженная, счастливая улыбка заиграла у него на губах. Он глубоко вздохнул, будто перед тем, как вступить в холодную воду, затем стал ломать лепешку. Руки не слушались его и тряслись, крошки падали на землю и тут же подхватывались быстрыми, юркими воробьями. Наконец он разломал лепешку на несколько частей и стал предлагать ее ученикам. Он никогда не делал этого, и странные движения только напугали их — хотя все они были очень голодны, никто не брал хлеб, кроме Петра. Тот улыбался, давая понять другим, что не понимает, почему они боятся брать хлеб, и стал есть, старательно разжевывая сухой хлеб грубого помола. Другие переглянулись и тоже приступили к трапезе. Сначала движения их были робкими и неуверенными. Они отщипывали от куска сухую корочку и отправляли ее в рот, но затем аппетит их разыгрался, они стали заглатывать куски почти непрожеванными. И хотя хлеба было достаточно, чтобы утолить голод всех, Иешуа ничего не ел сам, он только смотрел, стоя в стороне. Блаженная безумная улыбка продолжала играть на его губах...

Солнце стояло над их головой, камни дороги дышали жарой, но они шли быстро. Полный сочный день обнимал Галилею. Солнечные лучи лились на черную вспаханную землю, на изумрудную зелень всходов, на темно-зеленые квадраты виноградников, на шелестящую седину старых корявых оливок, на пурпурные полосы пустыни, на топазовое море далеких гор. Черные точки коршунов были прибиты к синему небу. Облепленные репейниками мохнатые комки овец медленно сползали с

пологих холмов. Природа была в расцвете сил, на пике полудня. Но что-то грустное было в этой полноте жизни, в этом блаженном пиру. Кубок был наполнен до краев. Вершина означала, что стремиться дальше некуда, впереди не было ничего, кроме спуска. Но природа не боялась конца, и в расслабленности душного дня ждала, когда всему придет свой черед и солнце начнет заваливаться за горизонт.

И наступил вечер. Солнце нехотя наклонилось, не желая расставаться с днем. Затем оно стало спускаться вниз, все уверенней прочерчивая огненными мечами брюхи облаков, в которых тихо клубился золотисто-розовый туман. Черные точки коршунов продолжали еще висеть над землей, но небо стало меркнуть, и они стали меркнуть вместе с небом, растворяться в фиолетовой дымке горизонта. Становилось прохладней.

Они шли весь день почти без отдыха, и тело ломило от усталости, но он не давал им остановиться и переждать жару, заставляя их идти все дальше и дальше, прочь от города, будто кто-то гнался за ними. Он шел быстро, пружиня шаг, неведомо откуда черпая новые силы, пристальным взглядом оглядывая горизонт и не обращая, казалось, никакого внимания на нежную зелень всходов, аметистовые тяжкие гроздья винограда, кряжистые, покрытые дуплами, болячками и корявыми ветвями стволы олив, на черные бусины овец. Ученики его тоже стали всматриваться туда, куда вглядывался он, но не увидели ничего, кроме аметистовой дымки гор.

Они шли все дальше. Все явственнее чувствовалась власть пустыни. Все реже попадались на их пути возделанные участки земли, все реже встречались деревни. Лес уступил место колючим фиолетовым кустарникам, еще сражающимся с пустыней, но и кустарник стал отступать. Пустыня выбривала в темно-зеленой или фиолетовой зелени плечи и разбрасывала на них белые черепа камней. А затем и кустарники, даже редкие, исчезли, кроме красного песка, красных камней и слипшегося сухого красного праха не осталось ничего. А в это время солнце уже падало за горизонт, и холодные индиговые тона полностью вытеснили нежно-розовые. Жара спала, было прохладно, пот на их плечах высох, но быстрая ходьба согрела путников.

Он неожиданно свернул с дороги и, взобравшись на небольшой пологий холм, сел на плоский потрескавшийся валун. Ученики его сели рядом и, завернувшись в свои плащи, пытались согреться. Вскоре они, разомлев от усталости, заснули. Но он не мог или не хотел заснуть, и сгорбленная его фигура сидела молча и напряженно на камне.

Петр был единственным, кто не спал. Странное поведение учителя в тот день удивило его, и он решил дожидаться конца дня, чтобы понять замыслы Иешуа. Поэтому он, хотя был очень усталым, старался пересилить себя и не заснуть. Немного высунув голову из-под плаща, он внимательно следил за Иешуа, понимая, что тот не видит никого и ничего вокруг. Иешуа между тем несколько раз вставал со своего камня и начинал ходить вокруг него. Он ходил быстро, словно сил у него было еще много, они мешали ему, и он желал избавиться хотя бы от части их. Затем какое-то время он сидел неподвижно. Это продолжалось довольно долго, и Петру показалось, что Иешуа наконец избавился от этих ненужных и, наверное, злых сил, заставивших его идти вместе с учениками в пустыню и ночевать в ней, вместо того, чтобы привести их в какую-нибудь деревню, где, вполне возможно, им дали бы хлеба и пустили ночевать. Ведь ночевать в пустыне не только холодно и неудобно, но и опасно — по этим безлюдным местам бродит немало злых людей, и всего от них можно ожидать. Кроме того, сюда иногда забредают львы. Чаще всего они не нападают на человека и обходят его стороной, но среди них есть и те, кто отведал человеческого мяса и вошел во вкус. Петр представил, как на него стремительно несется из тьмы глухо рычащий ком, и мороз пробежал по его спине. Он также решил, и решил наверняка, что скоро оставит Иешуа. Бродячая жизнь, усталость и постоянный голод ему порядочно на-

доели. Он направился в это путешествие в поисках приключений, но все они свелись к колотушкам, которыми их часто встречали крестьяне, справедливо полагавшие, что эти жулики стащат все, что плохо лежит, да к знакомствам с лохматыми собаками, которых пастухи без всякого предупреждения спускали на них. Сейчас нужно было спать, чтобы быстрее пронеслась эта холодная и тревожная ночь. Но он хотел все-таки узнать, как кончит этот день Иешуа, потому продолжал следить за ним.

Иешуа встал и продолжил свою беготню по кругу, и Петр понял, что сила, заставляющая его ходить вокруг камня (он понимал — отойди учитель чуть в сторону, как тут же потерялся бы в темноте пустыни) — злая, а еще он понял, что Иешуа мучим злым духом, который вселился в него и не дает ему заснуть. Несомненно было также, что злого духа интересует не только Иешуа, но и Петр, иначе тот не возбудил бы в нем любопытства, не дающего возможности заснуть и заставляющего следить за темной фигуркой. Он помолился и попросил бога поскорее избавить Иешуа от злого духа, чтобы тот наконец заснул и дал возможность заснуть и ему, с удивлением заметив, что молитва действует: черная фигурка прекратила ходить вокруг камня и села, согнувшись, на валун. Петр ожидал, что Иешуа ляжет у камня и завернется в плащ, но этого все не происходило, и Иешуа продолжал сидеть. Вдруг какая-то судорога прошла по черной фигурке, Иешуа быстро и неестественно распрямился, а затем повернулся спиной к Петру — во всяком случае, ему так показалось. Через некоторое время он услышал голос. Голос был простым, ясным и чистым, в нем не было злобы, он не был похож ни на тот визг, которым Иешуа просил хлеба и обличал, ни на властный рокот, которым он поразил площадь. Казалось, что голос принадлежит другому человеку. Петр даже подумал, что это голос злого духа, вселившегося в Иешуа, но голос был слишком ясен и чист, чтобы принадлежать злему духу.

Ученики спали, некоторые даже храпели, завернувшись с головой в плащ, но голос Иешуа ясно и отчетливо доходил до Петра. Слова эти были странными, и Петр никогда ни от кого не слышал ничего подобного:

— Вы слышали, что сказано — любите ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего небесного; ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.

В конце фразы голос стал слабее, потерял твердость и убедительность. Иешуа встал и стал снова ходить вокруг камня и между спящими учениками; подошел он и к Петру — тот закрыл глаза и накрыл голову плащом, чтобы не выдать себя: он смутно чувствовал, что Иешуа перестанет говорить, что, подобно дикой осторожной птице, он вспорхнет, сделает охотник лишний шаг...

Пустыня спала. Петр не слышал дальнего львиного рыка, только где-то вдали ухнула птица и совсем близко жалостно пискнул зверек. Несколько учеников посапывали во сне, а один произнес что-то бессвязное, поворачиваясь с одного бока на другой.

Иешуа продолжал ходить между учениками, и Петру показалось, что он внимательно всматривался в них, будто опасаясь, что они услышат то, что он говорит, словно это было великой тайной.

«Почему он не говорил это при свете дня народу на рыночной площади?» — думал Петр, следя за черным пятном фигуры Иешуа. Если бы он сказал это на площади, то наверняка люди не кидали бы в него камни, может быть, даже не требовали бы знамений и чуда. Они слушали бы внимательно и, может быть, дали бы немного хлеба и денег. Ведь люди слушают бродячих мудрецов, особенно если те говорят что-то новое.

Почему он своим ученикам не говорил ничего подобного? Почему даже голос его другой, когда он разговаривает с ними? Что он скрывает?.. Ведь в том, что он

говорит, нет ничего позорного или преступного. Нет здесь и никакой тайны или запретного знания...

Иешуа тем временем перестал ходить и снова сел на свой камень. Петр чувствовал, что что-то мешает ему, и решил, что здесь повинен тот самый злой дух. И он снова услышал голос, но голос срывался — казалось, что слова произносятся помимо воли говорящего. Голос с кем-то спорил и кого-то убеждал.

— Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда?.. Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного вы делаете? Не так ли поступают и язычники?

Иешуа уже полностью совладал с неведомым препятствием и ясно и просто, как в самом начале, сказал кому-то:

— Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный...

Он продолжал сидеть на своем камне, а Петр облегченно растянулся на земле. Радостное чувство охватило его, и он уже не боялся, что Иешуа увидит, что он не спит и слышит все. Наконец он получил то, из-за чего начал это путешествие. Чуть не обмануло его, он действительно услышал великую истину, неведомую до него никому, о которой не знал ни один из мудрецов, живших до сего дня.

Фарисеи учили, что прощать врагам не следует, нужно относиться к ним так же, как они относятся к тебе. Стоики учили, что нужно следовать долгу и честно выполнять то, что положено исполнить на земле. Но они не требовали, чтобы палач перестал быть палачом, а цезарь цезарем. Стоики требовали не любви, а равнодушия, и полное равнодушие к миру было для них высшей целью, к которой должен стремиться философ. Киники тоже говорили не о любви, а о том, что счастье или несчастье не есть реалии, но образы, вымыслы нашего ума, что несчастье лишь суть порождение наших ненасытных желаний. Киники учили, что для того, чтобы быть счастливым, человеку нужно ограничить свои желания. В отличие от стоиков они, киники, говорили, что человеку нужно уйти из этого мира желаний и не нести бремя общественных обязанностей. Но и киники учили не о любви, но о спокойном, независимом от мира философе, и высшим благом для них, как и для стоиков, было состояние абсолютного равнодушия к внешнему миру, божественной автаркии. И киники, и стоики полагали, что боги, счастливейшие из всех существ, живут в совершеннейшем равнодушии к тому, что происходит на земле, которую по прошествии времени с неизбежностью должен будет пожрать вместе со всеми остальными мирами великий космический пожар. Пожрать, чтобы затем снова возродить землю и жизнь для нового круга бытия. Только эпикурейцы говорили о любви, но эта любовь должна быть не ко всем, а лишь к немногим — к друзьям.

«Какая это простая и великая истина, — думал Петр, глядя на звездное небо. Ему не было холодно под плащом, и ночная прохлада приятно освежала его лицо. — Надо любить всех, а значит, быть во всех и в каждом, во всем мире. И тогда не будет несчастья. И смерти не будет, потому что если ты во всех, то не можешь умереть».

Счастливый, он закрыл глаза и подумал: то, что сейчас сказал Иешуа — только начало, нужно ожидать от него других великих истин, которые наверняка превратят Петра и всех других учеников Иешуа в самых счастливых и мудрых людей на земле. А если Иешуа не говорил ничего подобного до этого, то лишь потому, что это великое открытие он сделал совсем недавно. Быть может, этой ночью Иешуа не хотел будить своих учеников, так уставших за день, и великую истину узнал только Петр, да и то лишь потому, что был самым любопытным из всех. Утром об этой истине узнают ученики. Затем они сами станут учителями и разнесут слова по всей земле, и будет кругом любовь, и не будет смерти...

От мысли, что он присутствует при таком важном событии, Петр зажмурился и, словно опасаясь своего чрезмерного возбуждения, накрыл голову плащом, тут же провалившись в черную яму сна...

(Окончание следует.)

Юрий КАЗАРИН

ЛЕДЯНАЯ ПРОСТУДА

* * *

Прикасаюсь к рябине, спящей, как смерть, в ноябре,
и она содрогается, открывает глаза в земле —
там, где у глины в каждой ноздре
по хрустальной петле.
Это червь дождевой, завязанный в узел,
живой, но уже ледяной.
— Я бы сузил, —
сказал Достоевский. — Попробуй, родной,
захлестни человека петлёй —
в стуже, в любви, в огне...
Рябина откроет глаза, подойдёт — прикоснётся ко мне.

* * *

Зеркало истончилось.
Кончился снегопад.
Что-то уже случилось
выдох тому назад,
только его не видно,
и вертикален вдох,
и пустоте не стыдно
слышать, как плачет Бог.
Он омывает сушу
и, продлевая мир,
смотрит в тебя сквозь душу,
вытертую до дыр.



* * *

Кто тебе в спину смотрит с утра,
словно в спине дыра:
вырвано сердце, дальше никак —
в теле твоём сквозняк.
Дождь косоглазый воду несёт,
скоро ведро нальёт.
Нет, не ведро — это бадья,
лёд пообгрыз края.
Как же я жив — мёртвый стою, —
дождик глазами пью...
Дождик в окошко, стынь-бирюза,
скашивает глаза...

* * *

Бог переводит время с дождя на снег,
не выходя у спящего из-под век —
красных, солёных, в трепетных бугорках, —
словно глазное яблоко держат в руках
и вращают его, раскручивают — они —
силы иные, влекущие ночи и дни
в разные стороны — до разрыва плевры
нежной Вселенной — до снежной её синевы,
до взрыва сердечного, — крепко к груди прижимаешь ладонь,
чтобы поймать, удержать, не упустить огонь.

* * *

Ночью выбрать непогоду.
Вниз лицом на глину лечь.
Осень вытянула воду
в немоту, в прямую речь.
Влагой, глиной, человеком
долюблю и домолчу...
Станет время первым снегом —
и погладит по плечу.

* * *

Мне только свет и нужен
и небо на лице.
На крыше снег надкушен,
как яблоко в руце.
И вызрели на стуже
большие снегири —
как яблоко снаружи,
как яблоко внутри.



* * *

У плачущих украли скрипку.
И птичья лапка рвёт кольцо.
У плачущих одна улыбка.
У плачущих одно лицо.
Когда бы я себя не глиной
знал, а рябиной и калиной,
меня бы утром снегири
клевали в сердце. Посмотри,
они всегда летают парой
и куст Вселенной изнутри,
как дети на картинке старой,
рассматривают... Снегири.

* * *

Осень — это когда болит
всё, кроме неба. Земля, мужая,
палой листвой прикрывая стыд,
смотрит в себя — чужая,
словно снится сама себе...
Боль — это смерть и чудо.
И у воды на губе
ледяная простуда.

* * *

Холодно. Ледяной
ветер. А вроде с юга.
Сядь. Посиди со мной.
Чтоб намолчать друг друга.
Дыма стоят столбы.
Прорубь. Луны огрызок.
Тянется из трубы
дерева сизый призрак.
Вечное волшебство:
птица обнимет воздух
весь в истолчённых звёздах —
и оттолкнёт его.
И полетит, неся
волю, порыв, объятие,
преображаясь вся,
если парит, в распяты.

* * *

Чайную ложку света
с белым кусочком льда
в белый стакан — и это,
кажется, навсегда:

холодом не расплавит,
зноем не ознобит.
Крылья вода расправит —
медленно улетит...
Круглое и простое —
зеркальце или нет?..
Донышко золотое —
всё, что оставил свет.

* * *

Пустота играет в прятки,
удлиняет Божий взгляд.
Золотые кажет пятки
уходящий листопад.
Воду белую охапкой
носит серая вода...
Замер кот с поджатой лапкой.
На крылечке. Навсегда.

* * *

Когда замерзает, вода открывает глаза,
как мёртвый, как бог.
Темнеет, глотнув глубины с угольком бирюза
и делает вдох —
на выдохе, вместе и выдох, и вдох — до свинца,
до ртути, чтоб зеркало в небе сложилось углом,
чтоб видеть и помнить мелькнувшее чудо лица,
когда ты в замёрзшую прорубь ударишь ведром.



ДОЛГАЯ ДОРОГА

Р а с с к а з

Забрали в солдаты Андрейку Ермолова аккуратно с началом германской, в августе четырнадцатого. Провожали всей деревней — деревенька Красная под Юмом маленькая, восемь дворов. Провожали до ростани во ржи, рожь стояла в голову выше головы, пьяное солнце бурлило в хмельной голове. До Юрлы добрались на телеге деда быстро, в Кукольной Андрейка еще стаканчик пропустил — монеты были, хоть дед не одобрил.

От Юрлы до Кудымкара ехали уже казенным обозом, парней сорок со всего уезда, вечер и полночи, почти все спали. А утром Андрейка не о том думал, что такое война, как оно на войне, как долго еще ехать до нее, а о том, как вернуться с войны будет. Может, не в обозе, в похмельной сутолоке, среди инвалидов, а один — верхом, с крестами на груди, не по пыльному тракту, а лесом-полями, по духмяным тропинкам, шапка заломлена, цветочек в зубах...

С Перми началась армия. Армия — она горше горькой редьки, чуть что — в зубы. Не так повернулся, не то слово вымолвил — замордуют. За длинный язык и неисполнение — убьют. Коль прежде сам не повесишься. Язык у Андрейки длинный. Ответить офицерам, может, сам и не хотел бы, но бурливое нутро хоть что, да пробурчит, а то и громко выскажет. Через это был часто бит взводным Рутневым. Это уж в Смоленске, в сентябре, когда готовились присоединиться к Варшавскому прорыву. Стояли полевым лагерем близ города. Утром — полковой смотр; взводный Рутнев громко денщику: «А где-ть моя портупея?» — а Ермолов из третьей шеренги негромко, но все слышали: «Как надену портупею, во сто разов поумнею!» Взвод хохочет... После смотра отвел взводный Андрейку за палатку да так вздул гладким топорщиком без топора — левое ухо слышать перестало.

В Польше сперва было — о-го-го! От Варшавы и Ивангорода теснили русские австрийца почти до самой Германии. Потом настало ай-яй-яй — немцы, 9-я армия, отбросили русских снова до Варшавы. Потом контратаки по флангам. Иной раз и без артподготовки. Иной раз — прям на пулеметы. Выпрыгнул как-то Андрейка из окопа в атаку, два шага сделал, а уже слева-справа все бойцы в предсмертном матерке хрипят; ему пуля в правое плечо свинцовым тумачком, как игрушку вокруг крутанула, винтовка назад в окоп улетела.

Тогда после тяжелых ранений еще списывали подчистую. Лежал Андрейка в госпитале в царском месте, оно так и называлось — Царское Село! В соседнем отде-

лени, говорили, сама царица в палаты, переодетая в сестру милосердия, хаживала. Впрочем, болтали про нее всякое... и гнусное самое — чаще.

К лету Андрейка совсем поправился. Думал пойти в Питер, поглядеть на столицу, на заводе поработать, потом и домой. Не дали. Дав послужить в Царском Селе три месяца вольнонаемным санитаром, осенью пятнадцатого снова призвали в царскую армию. Но отправили эшелон на сей раз почему-то на восток. Почти на родину, во всяком случае, на Урал — в Екатеринбург. Ой, лучше бы на фронт. А здесь, в тылах, опять маета, хуже ада — мордобой день за днем, муштра да стукачество. Об окопной водке или лазаретном спирту даже и не мечтай. Мечтай лишь о том же фронте, лучше — о дороге.

К вечеру едва стояли на ногах от муштры и нарядов — те, кому повезло, кому розог не назначили. А назначали часто. Розги в армии — те же плети. Хуже... Вот был крупный такой парень из местных — Ваньша Зайцев. Служил с таким же бугаем, родным братом Степаном. Ваньше дали отпуск на неделю, домой ему полдня на поезде. А брат ему жутко завидовал. И думал, что братец в отпуску его землю на себя запишет, был у них давний спор из-за земли. Он и наговорил на брата, что тот подготовил дезертирство перед отправкой на фронт. Командир полка проверять не стал — назначил Ивану двадцать пять розог. А ритуал был такой, что выводили наказанного перед строем, а у строя спрашивали добровольца. Вот Степан и вызвался брата пороть. Порол в смерть, едва потом Ивана откачали. А после Ваньши вывели его друга, с кем он домой ездил. Теперь желающих не было. Все понимали — не за что. Приказали правофланговому. Тому деваться некуда, но стал бить легко, манерно. Тогда его самого по-настоящему унтера выпороли. Тоже двадцать пять розог. И тоже до потери чувств. Такие порядки...

Летом шестнадцатого формировали особые полки экспедиционного корпуса для отправки в союзную Францию. Все старались попасть туда. Говорили, на чужбине будет к русским солдатам большое снисхождение от своих офицеров, а от тыловых французских служб — тройной паек с вином. Все хотели попасть туда, чтоб хотя бы просто тянуть солдатскую лямку, чтобы не издевались так. Брели самых рослых и крепких. Андрейке подсказал один дядька — становись в левый фланг, в заднюю шеренгу, да встань на цыпочки, авось проскочишь за рослого. Так и сделал. Получилось!

Опять дорога. В дороге на войне хорошо! На железной-то дороге. Теплушка, картишки, хохот с утра до ночи, ни шрапнели, ни пуль. В Архангельске ночью загнали в трюмы английского парохода. Утром отплыли. Качка, мазутная вонь, после завтрака с прогорклой кашей все — блевать. День блевали, ничего не ели, только воду пили. Хорошо, стали пускать на палубы. На какой-то день, уже после английских портов, когда обходили Францию с севера на запад — смута. Командиров мало — и все, как показалось, немцы! Как так? С немцем воевать идем, а командиры — немцы... и так же, как и русские высокобродья, суки, житья не дают, чуть что — в морду! Ну как так!

Командирами 5-го и 6-го пехотных полков третьей особой бригады, шедших на этом большом транспортном пароходе, действительно были прибалтийские немцы. Оба ненавидели солдат. Солдаты — их. Долго так продолжаться не могло. В море, в долгом походе... Где слухи, в особенности те, которые хотят услышать, разносятся мгновенно. А иногда и материализуются. Ночью капитан корабля поймал одного офицера, когда тот подавал фонариком сигналы шедшим параллельно быстроходным немецким катерам. Его уже потащили к борту выбросить к черту. Но в походе у русских ни у кого не оказалось оружия, вооружена была только английская команда. Капитан вынул из кобуры свой маузер, расправу на корабле не разрешил. Сказал, придем в ближайший порт — у вас будет час.

В Пемполе офицера, немецкого шпиона, наказали как поездного вора. Поднимали на руках, бросали вверх, но не ловили. Тот падал на бетонку: спина, затылок —



в кровавую кашу... Поплатиться не успели. Пароход заправили углем, он пошел дальше — в Брест.

Встречу в Бресте русских солдат Андрияха Ермолов запомнил на всю жизнь — как самое яркое, теплое, волнующее, сладкое. Порт Брест, мало сказать, большой — огромный! На весь горизонт с борта корабля — краны, краны, краны... Узкая полоска пристани внизу у борта парохода. На пристани — барышни, нежные, как лепестки, юноши в пиджачках, мамыши, папашы, французские офицеры в белых кителях и круглых фуражках — все урчат, как котята, улыбаются; сине-бело-красные знамена, цветы, цветы, музыка, руки гражданских в толпу солдат с шоколадками, коробками конфет, цветными открытками, коньяком в пузатых бутылках; за спиной — спокойное стальное море, впереди — что-то неизвестное, но манящее; голова кружилась, как во сне, минуту, две, час, до вечера...

На фронт через месяц. Пока... В Шампани, в лагере Майи, к юго-востоку от Парижа, 3-ю бригаду русской экспедиции догнала расплата за бунт на корабле — приказом местного коменданта, согласованным с объединенным командованием, одиннадцать человек рядового состава третьей бригады за самоуправную казнь командира 5-го полка расстреляли. Буднично и просто, после утреннего развода. Зачитали фамилии и отвели к бетонным стенам гаражей. Те шли без ремней и ремешков на поясах, придерживая штаны, потупя взор, думая лишь об одном... а чего уж было вспоминать...

Станции с красными крышами. Поля, виноградники, роши, деревни. Красиво, ухоженно. Даже лес — как на открытках.

Полгода на французской передовой. Странный фронт. Почти все полгода — возле города Мурмелон-ле-Гран, поселка Мурмелон-де-Пти да села Ливри-сюр-Вель. Мурлыкающий слог названий не вяжется ни с чем. День за днем — гнилая земля окопов; дерьмом несет из каждой хлюпающей щели — от соседа по окопу, от тебя самого. Месяц за месяцем — чаще всего ползаешь на карачках, под обстрелом, днем и ночью ухают орудия, гавкают пулеметы, устало хрипят офицеры. Из окопов под Ливри-сюр-Вель — на окраину Мурмелон-де-Пти. С нее — на высоту под Мурмелон-ле-Гран. И обратно. Жрешь без хлеба из ржавой банки тушенку из жил, не чувствуя вкуса, спишь, обоссанный вечным дождем. В атаку никто здесь не ходит. Европа — она маленькая. А шестьдесят верст на восток от Мурмелона до Люксембурга здесь никто никогда не пройдет. Даже когда б не стреляли. Здесь вообще далеко не ходят. Столетиями на месте сидят. А сейчас... Грязный окопный дурдом. Полгода. День за днем. А под Рождество — снег. А на следующий день — газы. Немцы пустили газ в ихний сочельник. Кто не успел быстро надеть маску, кто хватанул газ, уже через минуту вырыгивал все свои внутренности и зеленым бревном валился в черную жижу. На дне окопов, на брустверах, в окопных щелях — сотни тел. 3-ю русскую бригаду — во вторую линию. Санитарам-трупоносам не позавидуешь. Сбирать телеги этой гнили, бывших людей... Через пару недель не позавидуешь трупоносам-немцам: газы пускают французы. Теперь навозные кучи бывших человеческих тел — там.

В феврале семнадцатого 3-ю особую пехотную бригаду наконец сняли с передовой. Опять — лагерь Майи-Шампань. Чистые брезентовые палатки, в них — кровати с бельем, тротуары, столовые для солдат, кафе для офицеров. В городке дневальные с ведрами — мусорные урны опорожнять и дорожки с ранними лужами песком засыпать.

Вышел однажды Андрейка утром из палатки, присел на скамейку, закурил. Посмотрел на небо. Оно — все в облаках, какие-то — барашками. Белое небо, чуть-чуть голубого. Даже солнце над облаками большим белым пятном. Птица высоко пролетела. Батюшки-светы, как хорошо!

Бывало, между обедом и ужином — чай с печеньем, однажды даже русские газеты! Больше меньшевистских. Но большевистские тоже есть. А в них... как бы



короче и ясней сказать... Андрюха Ермолов почувствовал главное. Там про то, что люди — это не два сорта людей, где белая кость, офицеры, купцы и начальники — одна порода, хоть их и мало, а вот все остальные, пусть много их, но порода другая, дрова и тяглый скот для первых. В тех газетах, сквозь ерепень и непонятность слога, вот эта мысль: люди есть люди, и все!

Когда в армии затишье, не стреляют, не воеет шрапнель, в армии всюду гуляют слухи. В марте семнадцатого — что царь свергнут. Потом — что не свергнут, а отказался от трона в пользу брата. Потом — что идет революция. Потом — что ее нету.

Так или иначе, русское командование над своими теряло власть. На сей раз не так, как два спесивых офицера на пароходе, на время. Уже совсем. Так что на любое приказание — ответ сквозь зубы, с плевком и матерком. А то и вовсе: «Да пошел ты!»

У французов другое, у них за стенами Майи-Шампань, полевая жандармерия; взбрыкнешь — мало не покажется. А у русских на десяток офицеров — две сотни солдат, а Петербург-Петроград, в котором, кстати, черти что, за тыщи километров.

Но воевать в апреле семнадцатого командование русской бригады своих все же заставило. Не кнутом, так обещанием пряника. Обещали после взятия двух укреп-районов по тысяче франков и ящику виноградной французской водки на брата, сколько хочешь бельгийских девок на взвод и отвести после боев месяца на три в глубокий тыл, куда-нибудь в Бордо.

Готовилось большое наступление на севере Франции. Генерал Марушевский обещал французам отбить у немцев несколько важных пунктов у бельгийской границы. Наступали по-русски лихо — без разведки и артподготовки. По 250 граммов рома, в два раза забористой водки, — и вперед. Мясом наружу. После первой же атаки в Андрюхиной 4-й роте из ста бойцов осталось семнадцать. Андрейке опять повезло — его быстро ранило. Сразу двумя пулями в ногу. В этот же момент дружка Сереге снесло свистящим осколком полголовы.

Сатль. Госпиталь... Вспоминался агитатор-большевик, в марте все ходил по палаткам, отговаривал наступать. Тогда казался сумасшедшим, а ведь правильно говорил: кроме как на пушечное мясо — мы никому здесь не нужны... Доктор-француз: «*Jambe doit ktre amputie...*» — «Я те дам *ампюте!*» Одному русскому ампутировали ногу — не выжил; Андрюха отрезать ногу не дал. Два месяца мучился дикими болями. Но выжил...

Сен-Серван, команды для выздоравливающих. Здесь по ночам в палатах нет врачей, даже дежурных фельдшеров. Здесь продолжают умирать русские солдаты. Но это уже не то. Это уже не тот кромешный ад, что был. Французам, даже рядовым, дают вино, котлеты и салат, русским — квас и кашу с желтым салом. Но это уже не важно! И солдатский комитет в русской роте появился. Комитетчики пытаются устраивать свои порядки, агитируют разговорами всякими, думают — елей на душу льют. Но это совсем не важно... Потому что в воздухе носится такая усталость от войны, от нелепицы, что тем, кто выжил, сам бог скоро велит идти домой...

В июне давали войсковое жалованье за два месяца и боевые за полгода. Здесь так: война войной, а с жалованьем чинно. Андрейка с новым дружком — сколько их перебивало у него за войну! — пошли в город. Посидели в солдатском доме. Дружок сговорился с проституткой. Здесь это можно без проблем, быстро, чистенько, внятно, по таксе. На обратном пути еще и в ресторанчик заглянули. Гражданский. На выходе дали по мордам швейцару, за то что часом назад пускать не хотел. А в части, уже совсем под хмельком, скинули с лестничной площадки дежурного и помощника коменданта. Погуляли...

Расстрелять не расстреляли, но отправили дружка в тюрьму, а Андрюху на ка-торгу. Не за дебош. Всю русскую роту госпиталя для выздоравливающих отправили на франко-швейцарскую границу добывать камень. Куда-то русских надо было от-

править. Воевать они уже не хотели. Домой на пароходах — дорого, хлопотно, да и не за что. Война ведь все идет...

Жили в заброшенном доме на окраине пограничного городка. Как скот. Работали. Безмолвно. Как скот. Потом ломали камень в Деманше. Потом в Эльзас-Лотарингии... В России шла гражданская война. Вступить за брошенных другим временем в другой стране было некому. В Эльзасе видели колонну молодых французов в кандалах. Местные сказали: эти парни пытались скрыться от мобилизации, тоже пойдут на каменоломни. Андрюха вздохнул: «Молодцы».

Три года назад пришел транспорт с русскими в Брест. Наконец в августе девятнадцатого в Марселе снова грузился русскими корабль. Около тысячи человек, собранные из остатков всех четырех воевавших во Франции, Сербии, Греции, Северной Африке русских бригад, всходили на борт «Петра Великого». Андрей Ермолов шел по трапу одним из последних; ноги плохо слушались, саднила и жгла кожа спины, вчера, измученные долгой дорогой, зашли в окраины Марселя, хотели пить, бросились к фонтанам на бульваре — французские жандармы и конвоиры на конях вовсю походили по спинам нагайками, поблагодарили за помощь на войне.

А родина встретила крайне враждебно. На пристани Новороссийска столпились офицеры в погонах с золотым шитьем, дамы в большущих пышных шляпках, пузатые в мешковатых костюмах штатские. Смотрели на заграничных русских солдат с любопытством. И... брезгливостью. В Новороссийск белый комендант корабль так и не пустил. Андрюха понял: здесь вот те, кто делит всех на две породы — белую и серую. Здесь — все прежнее.

Первого сентября остатки русского экспедиционного корпуса встречал Севастополь. Белогвардейским конвоем. Штыками провожала Франция, штыками встретила Россия... Снова — плац, муштра, зуботычины. Снова — армия... та, что была. Только офицеров больше. Намного. Каждый пулеметчик — капитан, а то и полковник. Туапсе, Армавир. В Армавире пьяный полковник среди бела дня схватил за груди барышню, стал платье рвать, хотел насиловать прям на скамейке; солдат из «французов» кованым прикладом винтовки без патронов — по фуражке... Сквозь белый верх — кровь и мозги. Солдата быстро расстреляли. Колонну «французов» — в Ставрополь. В бои с красными их не пускали, продолжали муштровать до изнеможения и агитировать до одури.

Андрюху схватил тиф. Болел свирепо. Даже в морге был. Спасибо санитару — как догадался, что живой... Оклемался.

Уходил из города ночью. Полгода по ночам шел по стране. Ночью — от патрулей. Белых, красных — любых. Бывал в хатах, где зайдешь, а на полу в луже крови кто-то лежит. Жена. Иль муж. А за пустым столом второй плачет. Жена иль муж. Каратели в хате побывали. Белые, красные — не важно.

Пришел на росстань возле своей деревеньки в августе двадцатого. Рожь высока. Немного июльскими ливнями побита. Отошел поглубже в рожь. Лег на землю. Цветочек-василек в зубы. Где был, сквозь что прошел — не думал. Лежал, спокойно улыбался...

По небу плыло облако. Большое, одно.



Юрий ЗАФЕСОВ

«А СТРЕЛА ВСЕ ЛЕТИТ И ЛЕТИТ...»

* * *

В спелом яблоке червоточина,
на округлости — след зубов...
Заплутавши во снах, пощечина
осыпает кору с дубов.

Звон в ушах, на оси — вращение.
«Дед Пихто да цирк Шапито!»
Тишь, зардевшая от смущения...
«Ослепительная, за что?»

Понапрасну ножи наточены:
быть капустнице за сверчком...

Где-то рощах шумят пощечины,
я их в поле ловлю сачком.

ЕВРАЗИЙСКИЙ УЗЕЛ

Принимай, городьба,
своего бунтаря и пострела!
Не скули под окном,
колоброда — кудлатый щенок!
Был вселенский пожар,
и на небе дыра прогорела,



раздышалась крапива,
и буйно разросся чеснок.

Я допил молоко,
и, отпав от младенческой капли,
от глухого оврага
до гулкого края добрел.
С неба падали птицы:
болотные серые цапли,
белохвосты-орланы,
Имперский Двуглавый Орел.

Был Он порван повдоль.
Были сталью иззубрены шпоры.
Я шепнул, устрась:
«Перед смертью мы разве равны?»
Он ответил тревожно:
«Разломаны реки и горы».
Я расслышал его:
«*Не летается в две стороны*».

Я услышал: «*Добей!*
Не могу отвечать за безмолвье,
за мигающий омут,
Медведица где на плаву»...
Я ответил: «Прости
за терпенье, любовь и беззлобие».
И лопатой срубил,
что на Запад глядела, главу.

Отразилась дыра,
плесканулась в запекшейся луже,
и пригрезилось мне,
что я знаю свою колею:
над Россией круги
были, помнится, уже и туже,
и шаги Звонаря
восходили к забытым в раю.

Я Орла накормил,
обескровил ядро и дробину,
сбрызнув мертвой водой,
и живой, что мерцала на дне.
И Орел воспарил.
Белый свет завязал в пуповину.
Очень прочным узлом.

Этот узел сошелся на мне.

ЕХАЛ ГРЕКА

В сборнике «Жертвы Колымы» первая фамилия в перечне жертв — греческая...

К полемичному сюжету приложу идею-фикс: ехал грека через Лету, ехал грека через Стикс.

«Карту кинем — не погибнем!» — снеговойный буридан, ехал грека в храм богини прямиком на Магадан. Ковырял палеолиты — перед тем как в храм войти. Тектонические плиты передвинул по пути. Православие обидел, прыснув пресным языком: «Если эллина не видел, значит, с Лениным знаком».

Есть в Египте пирамиды. У ковбоя есть лассо... Храм богини Артемиды. Хром товарища Лазо. Я к безносому брелочку приложу идею-фарс: сплошь колючку-проволоку. И скажу собакам «фас!» Как свербело, как нудело!... Нигилизм-алкоголизм. Отсидели, знать, за дело. Это дело — катаклизм. На суку не кукареку, на суку — ума сума. Сунул грека руку в реку — оказалась — Колыма. К дыбе — льдистое монисто. Колыма не комильфо. Контрацепт котрабандиста от Алкея и Сафо.

Подстрекатели и скряги, Вещный Шут и Вечный Жид — в путь, назад — через варяги, через варвары в Аид. Сквозь отвалы золотые, где на горюшко — брюшко. Скопом канули святые сквозь угольное ушко.

Отчеканились вопросы у порога тишины. Пусть погаснут папиросы! Вы грешны. И мы грешны. Обратимся в слух и зренье, закатив ГУЛаг на склон... Живо ль древо Со-творенья? Был ли эком Аполлон? В чем вина, война и мера? Чья эпоха? Чей обман? Но не спросишь у Гомера, не отправишь в Сусуман.

И тогда сойдутся двое спесью волчьих, песьих орд: красноярскому конвою кутаисский Гесиод скажет так: «Покрой куколя суть Святая Простота. Вне земли — покой и воля. Подле Южного Креста»...

* * *

Еще не рожденную душу щемит
еще не зажженное пламя.
В мерцающем зернышке роща шумит,
в стенающем семени племя.

Еще ничего не дано понимать.
Глуха голубиная почта...
Но вот разверзается мачеха-мать,
из праха рожденная почва.

И вот простираются зло и добро.
Таежник грохочет: «Медведь я!
Пусть корни сжимают земное ядро,
а крона цепляет созвездья!
И пусть за спиной у мужчины — Семья
над слюванной знатью и голью!»

...В неистойвой Кроне немислимый я
глаголю, глаголю, глаголю...





ЖУК

Сё чекушка.
Суть четвертинка.
Откровенье для чистых вен.
Жук-хитиновая скотинка,
как ты,
право,
поползновен!
Я доверье тебе внушаю,
Верещагину-щипачу.
Я лежу,
тебе не мешаю,
небо веточкой щекочу.
Кыш, одышный!
Сойдешь на клейстер!
Дай мне слышать поверх оград,
как вершины колышет ветер,
Вертер,
вешатель,
ретроград...

ЗАНАВЕС

Не Козьма, так точно — Казимир.
Музыка, немая от рожденья.
Красота, спасающая мир,
своего страшится отраженья.

Вглубь себя уйду от духоты,
но содвину занавес неплотно.
Догорают поздние холсты.
Проступают ранние полотна.

* * *

Разумейте,
но плакать не смейте!
Пусть плетется веков тетивьё.
Ничего мы не знаем о смерти,
потому и страшимся ее.
Понимаю,
никто не спасется
глупым сердцем, усталым умом.
Ведь стрела,
устремленная в солнце,
растворится в солнце самом.
Ну, а вера немногих спасает,
но вот многих земля поглотит.

Долог день, да и тот угасает.
А стрела всё летит и летит...

* * *

Спешит,
спешит,
спешит улитка
сквозь мезозой в палеолит.
Сибирь моя!
Космополитка!
Какой огонь тебя палит?
Какую чуешь амнезию
(здесь мизгири как снегири)?
Вдохни,
вбери в себя Россию,
но все ненужное сотри.
Весь мир вбери!
Не только тесто
ты можешь в целости хранить...
В ларцах Сибири хватит места,
где всех и вся похоронить.
Поскольку быстро дрябнет лето
и заболочены киты.
Как откровенье того света
свеченье вечной мерзлоты.
Вот эта вечность не обманет,
она шаманит и манит.
И ждет,
когда дремучий мамонт
Луну приблизит,
как магнит.

СИНОМИНУТНОЕ

Гложет червяк непонятого голода. Смертная скука огромного города. Дар, чуть привставший с карачек и корточек. Шепот из всех подворотен и форточек: «Станешь ученым — печеным картофелем, черного пса назовешь Мефистофелем, чад отмахнешь, к постаментам придвинешься, всех повторишь и со всеми предвидишься. Мысль затаишь под завьюженным ежиком: в детстве мечтал быть суровым таежником». Чур! Усыплен обнаженными махами и разорен, как лабаз росомахами!

...Гложет червяк непонятого голода. Пышет дыханье нездешнего холода.

Жму на курок. Пшик! В орбите и около след горноста в созвездии Сокола.

МАНЬЧЖУР

Памяти моего предка-тунгуса...

Стрела полетела,
и я у стрелы — острій.
Отчетливо слышу,
как ветры шумят в оперенье.



Мишень-паутина,
плетенье во имя твоё,
владычица леса!
Саднящий полет — не паренье.
Молочные крылья
под гнетом незримых струбцин.
Лечу, вспоминая,
как жил многожилем Китая
во внутреннем городе
в пору династии Цин,
маньчжурской косицей
земные пределы сметая.

СЛЕПАЯ ПУЛЯ

Откуда знать пунцовой пуле, кто гастарбайтер, кто пират — и ей откажет в вестибюле вестибюлярный аппарат. Она в зеркальное вопьется, жужнёт ожегшимся шмелем... Мироустройству остаётся сверкать убитым хрусталем.

В нём, в зазеркальном, в мутной грани шумнут химеры разных стран: при толерантном Талейране нетолерантный Тамерлан, при Нобеле — Макиавелли, при Песталоцци — Сципион. Но не Израиль, а Дизраели, и не Сион, но Альбион сомнутся в мерзости деталей, дыхнут на пухлые нули — и наслоятся фунт на талер и тетрадрахмы на рубли.

С утра на брата брат возропщет, кисту прищучит кислотой. Подробно раздробится Ротшильд как звенья у цепи златой. Осклизлый Кант меркантилизма воскурит ветреный фонарь — ночную призму гуманизма. Тогда, преодолевши хмарь, вдруг несуразна, как зараза, возникнет фраза о любви, чтоб от Христа до христопраза осоловело — «се ля ви». Чтоб робинзоны, как изгои, стекались в лапы барыша, давясь севрюгой и лузгою, чтоб «курв шевель»! А что душа? Болит, как воют мандрагоры, вопит, не видя ни рожна: «Когда б имел я златые горы и реки полные вина...» Когда б мы шли повсюду сами, сцепив кулак во весь ГУЛаг: «Светла торговля воздусями, где рынки ценные бумаг».

Чужак, как можно без страданий?.. Давай умрем по счету «три» — с чужих застолий доедаем, живем, пускаем пузыри.

Не ты, Христос, меж нами гредишь, скорбишь, когда ударят чем, лишь оттого, что «хлеба!», «зрелищ!», лишь оттого, что — знать и чернь срывают в схватках лоск и голос, бегут-текут из берегов. А в каждой жизни — с тонкий волос. Но в синих жилах — пульс богов. Всё непреложно и нервозно: ржавеет жесьть в стеклянной мгле...

Но ихний Яхве гложет воздух, дыша отверстием в земле.

Елена КРЮКОВА

ДЕВОЧКА И СМЕРТЬ

Главы из романа

УТРО ЛЕНЫ В РАЮ

Меня мама сегодня разбудила в семь утра. Очень не люблю вставать в семь. Сегодня понедельник, вчера воскресенье. Смерть не люблю, когда в школу. Все шесть дней школьной недели, когда я утром обреченно складываю в портфель учебники, мама говорит: «Как на каторгу». Я знаю, что такое каторга. Это вроде тюрьмы, только на открытом воздухе. Там всех каторжан бьют плетками и мало дают есть. Почти не дают. Все худые, голодные. И глаза у них горят, как у зверей.

— Лена, быстро умываться! Хватит разлеживаться!

— Мама, ты кричишь... как мачеха, — бормочу я.

Сажу на краю кровати и натягиваю теплые чулочки. Зима, все окна затянуты красивыми серебряными узорами. Надела чулки, рейтузы, фланелевую рубашечку. Подошла к окну и колупаю пальцем ледяное стекло. Соскребаю лед. *Продышиваю* ртом круглое теплое озерцо. Гляжу в него, щурясь, как в микроскоп.

— Лена! Долго я буду ждать?.. Мне еще тебе косы заплетать!

Даже ужас холодной воды в ванной не сравнится с ужасом заплетания кос.

По длинному коридору бегу в кухню, оттуда — отсырелая, забухшая дверь в ванную. По обе стороны коридора хлопают двери — жители нашей коммуналки вылезают из нор. Кто лиса, кто волк, а старый грек Сократ — бывший офицер, после войны, рука на перевязи, картежник, все играет с друзьями в преферанс — похож на барсука. Чистый барсук. И нос такой же вытянутый, воздух нюхает. В кармане старого длинного халата — по пяткам бьет полосатый атлас — всегда толстая колода карт. На лице — длинная, хитрая усмешка, а на губах — отчаяние.

Вот она, старая чугунная ванна на львиных лапах. На лапах можно разглядеть чугунную шерсть и выпирающие наружу чугунные когти. Это скульптор сделал для страха. Чтобы дети ванны этой боялись.

Льдистая, слоистая вода в кувшине на кафельном полу. Кувшин фаянсовый, огромный. Приподнимаю с трудом. Спина болит держать. Воды с утра нет. Воду будут опять давать вечером. Загодя хозяйки, и мама в том числе, набирают воду в свои кувшины и кастрюли и ставят их в ванной на пол.

Лью воду на руку. Рука немеет от холода. Тру лицо холодной жесткой ладонью, как кошка лапой. Чищу зубы «Особым» порошком. Из чего делают этот порошок? Из школьного мела? Ножами мел натирают и в круглые коробочки складывают.



В кухне, возле керогазов, керосинок и примусов, толкуются соседки. Вот Паня-истопница. Вот старуха Киселиха — чешет, корябает ногтями под кофтенкой тощую деревянную грудь; у нее там, Варварка Гончарова шептала, вытатуирован дьявол. «Не дьявол, а Сталин», — горячим шепотом поправляла ее дочка Милка.

Вот длинной деревянной ложкой помешивает в кастрюле овсянку Санька. Все в коммуналке зовут ее Санькой-итальянкой. Санька — портниха. Втихаря берет на дом работу — и шьет, шьет. За полночь швейная машинка стучит, пулеметом из-за двери строчит. А Тамарка бьет ей в стену каблуком снятой туфли: «Прекрати долдонить! Уши лопнут!» Легкая, непрочная тишина. И через раз, запинаясь-заикаясь, робко, несмело, нежно, дико, все сильнее и сильней, все безумней и безумней — опять строчит бессонная машинка. Шить-то надо. Жить-то — надо.

Керогазы пыхают синими цветками вонючего пламени. Примусы жужжат. Киселиха держит в согнутой кочерге руки ложку, немymi, высохшими губами втягивает внутрь себя горячее, обжигающее — вкуснятину, жизнь.

Что у нас, жизнь, на первое? А на второе?..

Это не я спрашиваю. Это кто-то во мне спрашивает.

— Здравсте! — киваю я соседкам.

Они меня не слышат. Переругиваются.

— Санька, ты фря! Кто ито к тебе так позднеько вчерась приходил? А? Новай хахель?

— Да иди ты, Паня! Какой новай! Ето вить Степка! Лабух етот ресторанный! У йо их многа было... и етот — не последний!

Санька молча стоит перед керосинкой. Темные волосы гладко зачесаны, будто маслом намазаны. Огромные, как розетки для варенья, глаза прикрыты тяжелыми полукружьями век. Пухлые губы густо намазаны сиреневой помадой. Она слушает и не слышит. Она не хочет слышать. Уши слышат сами. Слезы сами льются. По широком скулам. По голодной тарелке лица. По торчащей из белого кружевного воротничка журавлиной шее.

Что ж молча-то стоит? Терпит... Отбрехалась бы...

Санька не собака. Да и соседки — не суки.

Топ-топ — обратно по коридору. Чуть не сбиваю с ног соседку Тамарку. Из-за ее приоткрытой двери — резкий, надрывный крик младенца.

— Заполoshная! — шипит мне в спину Тамарка. И тут же ангельский голосок в полутьму льет: — Щас, щас, моя прекрасная детонька... щас мама примус выключит и покормит свою крошечку...

Я уже перед мамой. Задираю лицо. Я само послушание. Мама уже успела одеться. Как на парад, как на демонстрацию. Платье темно-бирюзового атласа, по ткани рассыпаны блески-салюты. Как на Красной площади в День Победы. Между грудей тугая атласная роза. На смуглой шее нитка черных кораллов. Я знаю, в ящике под зеркалом есть еще и связка красных кораллов. Черных я боюсь. Они похожи на козы катышки.

— Садись.

Венский стул. Тонкий выгнутый лук спинки. Дерево намазано морилкой. Черный круг сиденья — такой репродуктор у тети Дуси в Куйбышеве. Раньше Куйбышев звали Самарой. Он раньше был женщиной.

Сажусь. Зажмуриваюсь. Сжимаю зубы и губы. Сейчас начнется пытка.

Мама берет острозубую расческу и вонзает зубья мне в тонкие, спутанные после сна волосы. Слишком легкие у меня волосья, пух-перо. Мама ругается: «Вся в Крюковых! Была бы в меня — щетками бы причесывалась, гляди, какая гущина!» Я всегда дивлюсь на мамины волосы. Черные, тяжелые, густые. Как у шемаханской царицы.

Может, она и есть царица? По ошибке в наш день забрела. А вот я — даже не царевна. Я служанка царицы. Смирненно голову склоняю. А мне ее дерут, дерут...



— Ай! Ай!

— Что дергаешься! Не устраивай мне тут пляску святого Витта!

— А кто такой... святой Витт?... Ай-яй! Больно же!

Расческа жестоко прореживает волосы, выдирает их с корнем. Мать смотрит на часы — опаздывает. А ведь еще завтрак. Из кухни вкусно пахнет кофе и жареной колбаской. Ага, понятно: сварен в кофейнике кофе с молоком, как папа любит, и зажарена яичница с колбасой. На скорую руку. Мама не любит варить на завтрак каши. Не успевает — их варить очень долго, надо встать на час, на полтора раньше.

— Сиди тихо! Несчастье с этой девчонкой!

Капроновая лента ползет из рук стеклянной елочной змеей. Мать крепко вплетает в волосы ленту, и я слышу, как она беззвучным шепотом ругается, а потом громко возгласает:

— Вот возьму и подстригу завтра эти колтуны! Устала! Мука какая!

Две тощих коски сиротливо торчат по обе стороны красного, готового плакать лица. Я вижу себя в зеркале. Зеркало огромное — от потолка до пола. Окно в мир наоборот, где отражаемся, ходим и живем все мы — мама, папа, я, мои рыбки и моя черепаха, ряд выдвигаемых ящичков — внутри бусы и календари, пустые картонные пудреницы и колоды карт, пустой пузырек из-под таинственного лекарства *пантокрин* и странные стекляшки с проволочками; папа говорит, если в телевизоре что-то сломается внутри, эти лампы можно вставить, и он снова заработает. Лампы. Эти козявки мало похожи на лампы. Но, значит, бывают и такие.

— Все!

Мама легонько бьет меня ладонью по затылку. Коски взлетают и опадают. Уши торчат. По лицу рассыпались, как клубника из решета, красные пятна.

— Ну что? Что губенки распухли? Плакать хочешь? — Голос у мамы уже веселый, ласкающий мою гладко причесанную голову и изошедшую болью душу. — Живо за стол! Я сейчас!

Слышу, как каблучки мамы стучат по коммунальному коридору. Схватила поднос — и на кухню. Дома она никогда не ходит в тапках. Только в туфельках. И в халатах тоже не ходит. Только в платьях. Смеется: «Не люблю обхалачиваться! Я не старуха!»

О нет, она не старуха. Она очень, очень, очень красивая молодая женщина! Красивая, как царица.

Несет из кухни царица на вытянутых руках алюминиевый поднос, а на нем — зеленый железный кофейник, сковорода с яичницей и хлеб, он уже порезан.

Дверь ногой открывает.

— Коля! Вставай!

Папа нежится на диване. Глядит на маму, как кот на сметану.

— Валяется!.. Помог бы...

Отец вскакивает, выхватывает из рук у мамы поднос, осторожно ставит на стол.

И я вижу, как над едой этой, над нашим завтраком на скорую руку, целуются, забыв обо всем на свете, весело целуются они.

И вот мы сидим вокруг стола.

Стол круглый. Как Солнце. Как Луна. Как круглая салфетка бабы Наташи, которой покрыт телевизор «Рекорд». Как велосипедное колесо — оно висит в коридоре на гвозде, и, по слухам, это у грека Сократа раньше был мировой трофейный велосипед, а он его по частям в преферанс проиграл.

И мы едим нашу еду.

Мама разрезает яичницу прямо в сковороде большим кухонным тесаком, мясным ножом. Папа разливает в чашки кофе. Он сварен по-венски — сразу с молоком, поэтому цвет у него розовый.

— Мама, я не буду кофе! Тут молока больше, чем кофе! Пенка на нем!



— Ах, пенка...

Угрожающе высверкивает в руке матери громадный нож.

Отец примиряюще говорит:

— А я ложечкой размешаю — и вся пенка сразу пропадет! Гляди!

Он размешивает в моей чашке сахар золоченой ложкой с витой, по спирали закрученной ручкой. Ложка — подарок бабы Наташи. У нас в доме много чего — подарки. Почти все. Возьмешь вещь в руки — а ее уже кто-нибудь подарил.

Быстрее сжевать подкаленный лапоть колбасного круга. Живей! Торопись!

И хлеб с маслом не доесть невежливо. И сиротку-яйцо оставить в подъяичнике, рядом с серебряной солонкой. И выкатиться из-за стола, как ошпаренной.

— Мама, я все! Мама, где моя шубка?

— Ты сама должна знать, где висят твои вещи! Ты уже взрослая девочка!

Я уже взрослая девочка. Это надо запомнить.

Каждый вечер я это помню. Каждое утро об этом забываю.

Ноги сунуть в валенки. На валенках — лаково-блестящие, сажево-черные, с красной бархатной внутренностью, калошки. Черные рыбки. Плывут по зиме. Шуба цигейковая, серая; шапка тоже, с пришитыми мамой нелепыми меховыми ушами из кусков заячьего меха, выпрошенного у Саньки-итальянки. У Саньки от шитья много лоскутьев остается. Она нам даже для кукол дает, чтобы их модно одеть.

Цап портфель и яблоко из маминых рук.

В школьном буфете будут кормить тоскливым завтраком: перловка, чай... но яблоко в портфеле — это святое.

— Спасибо! Бегу!

— Беги! — кричит отец и машет мне над головой двумя руками, будто в кулаках у него два флажка, и он на палубе корабля, военного эсминца, а может, линкора, а может, сторожевика. И он передает сигналы.

Как мне разгадать сигналы? Я не знаю флажкового морского языка.

Я читаю в папиных глазах: «Дочка, беги, люблю тебя».

Зимняя улица кладется под ноги колочим ворсистым белым ковром, по нему, наверное, больно ступать босыми ногами, снег обжигает — а так хочется! Хочется по снегу босиком — всегда мечтала! Но этого нельзя. Как нельзя и многого другого. Маленькая жизнь, а такая огромная связка запретов. Как связка баранок на локте у булочницы Светы из краснокирпичной, как казарма, булочной на углу улиц Гоголя и Карла Маркса. Эту баранку нельзя и эту сушку тоже нельзя. А вот эту — можно.

Понемножку. По кусочку.

Бегу. Минуты бегут со мной. И валенки бегут, помогая упругостью, веселым теплом. За мной увязываются окрестные собаки. Так всегда, когда бегу в школу. Они выбегают из дворов, из проулков, из подворотен, из подъездов навстречу мне. Мне, кому же еще!..

«Так они любят тебя. Полюби их в ответ!»

Наклоняюсь. Треплю за уши. Приседаю перед собаками на корточках. Катаюсь, валяюсь вместе с ними на снегу. Они, баляясь, нарочно кусают меня за калошки, за локоточки шубы.

— Шубку мне погрызете, дурачки!

Беру огромного лохматого пса за длинные рыжие висячие уши и целую в нос — так вкусно он блестит. Вот увидела бы мама, закричала бы на всю улицу: «Зараза! Брось! Отойди! Фу!»

Пес в ответ лижет мне лицо длинным теплым розовым языком — наждак, а мягкий.

Как прекрасно, как тепло и горячо живое. Жизнь. Мохнатая, лобастая, шерстяная, широколапая, грубо лающая прямо мне в лицо жизнь. Как же я люблю тебя. Как же...



Полижи еще мне щеки. Поцелуй. Дай и я тебя прямо в морду поцелую!

Бежать сломя голову! Без двух минут восемь!

И вот они, высокие потолки огромного длинного класса, похожего на пенал. В пенале — ручки и карандаши, а в классе — дети: худые карандаши, толстые ручки, мягкие ластик. И учительница ходит и диктует, и все пишут, но не слышат. А она говорит, говорит... Говорит в пустоту, в белое бельмо зимнего окна. И вдруг солнце в окне! И алмазные морозные искры сыплются от ледяных хвощей и папоротников к седым волосам говорящей, добавляя в пряди серебра.

Чистописание требует осторожного обращения с чернилами. Не ляпни! Не посади кляксу! Не нажимай слишком сильно — процарапаешь пером бумагу! Веди линию ровно, не сбейся на сторону! Скопируй букву точно — видишь, она сияет, белая, на черной доске? Не можешь?! Ну какая же ты тогда ученица!

Учительница склоняется надо мной. Поправляет ручку в моей зажатой руке. Холодно. Я ежусь под коричневой формой. Свободной рукой поправляю на груди оборки черного фартука. Перо тоже замерзло. Перо выводит закорючки и палочки помимо меня. Само по себе. Я с изумлением наблюдаю его ход по снегу бумаги.

И теплые сдобные булочки в столовой: ура, перловки сегодня не будет! Булочка, золотой брусочек масла и чай. Чай горячий и сладкий, а булочка пахнет печкой бабы Наташи. У нас дома нет печки. У нас — батареи. Зимой часто они холодные. Тогда мама звонит в котельную и повышает голос — пугает гневным голосом истопников.

И уроки бегут, свиваются в венок событий, чисел, знаков, их надо сначала разгадать, потом запомнить. Свобода наступает неожиданно и счастливо. Собак на обратном моем пути из школы нет — спят где-нибудь под крыльцом... Или едят.

Собаки ведь едят, как и люди. Обедают. На обед у них косточка с мясом.

А у нас на обед просто чудеса какие-то: папа достает из холодильника миску с холодцом, ставит на стол кастрюлю с горячей ухой — я чую запах рыбы не хуже кошки, а на второе — ура, беляши! Правда, холодные, но на это наплевать — прекрасные кругляши из теста с сочным мясом внутри; а в центре стола ваза с вареньем, и в нем столовая ложка торчит!

— Папочка, это же просто пир горой!

— Да, лапонька, да! — И руки потирает. — Обедаем без мамы. Мама в больнице. Вернется только завтра утром.

— Почему?

— Дежурит. В ночь.

— А рыбка откуда?

— Пока ты в школе занималась, я на рыбалку ходил! На Оку, на Слуду. На ушицу надергал...

Мы с папой, значит, хозяйничаем сегодня. Мамы нет. Когда дома нет мамы, словно огонь гаснет под потолком, все лампы в люстре перегорают. Без мамы я слышу внутри себя тихую печаль, как музыку. Меня учат музыке — вон оно, мое пианино светлого дерева, польское, фирмы Legnica, в углу гостиной. Мы богатые внутри бедной дымно-табачной коммуналки. У нас две комнаты, а у всех — только по одной. И нам завидуют. Говорят: «Вон, вон там художник живет с семьей. Барин». И в голосе презренье, будто бы папа не художник, а мусорщик.

Беляши вчерашние. Варенье прошлогоднее. Папа ест варенье столовой ложкой, зачерпывая сразу много, щедро, и ему никто под руку не скажет: «Коля, ты зачем варенье ешь, как крокодил?» Время течет по капле, время льется крепким чаем, время распахивает папины объятия, я вхожу в них и залезаю ему на колени. Так сидим, после обеда, под присмотром времени: большой теплый мужчина, с лицом светлым и румяным, с волосами светлыми и пушистыми, на сильных мощных руках нежный золотой пушок, и маленькая девочка — одна коска расплелась, капроновый бант развязался, прозрачная хрусткая лента свисает до полу, как гирька ходиков.

Я — часы. Я сама — время. Только я еще не знаю об этом.

И правильно. Нечего знать то, чего знать не положено.

— Лапунчик мой, — отец качает меня на коленях, как в рыбацкой лодке, — понежились — и хватит! Ухожу в мастерскую. Ты тут не забоишься без меня? Посидишь вечерок? Уроки поделаешь? Почитаешь? С медведем поиграешь?

Я гляжу на плюшевого медведя. На голову медведю надет мамин фетровый берет. Для красоты. Медведь разевает красную тряпичную пасть и смеется мне.

— Поиграю.

— Ну и славно. Проводи меня!

И я собираю отца, провожаю его как взрослая — так, как провожала бы жена мужа на войну, как провожают в дальний тяжелый поход: кладу в сумку бутылку кефира, пачку печенья, нарезаю ломтями хлеб и колбасу, заворачиваю бутерброды в промасленную бумагу. Помогаю ему влезть руками в рукава фланелевой клетчатой рубахи. Я вижу — он солдат, а я санитарка. У него ранена на войне рука, и я перевязываю ему руку белым воздушным, пропитанным слезами бинтом.

— Папа... Папочка... Я очень люблю тебя.

— Я тоже очень люблю тебя, доченька моя.

Он целует меня в подбородок, заботливо завязывает на косе бант.

— Ты вернешься, — я задаю взрослый вопрос, — трезвый?

Отец мрачнеет. В моем голосе, я знаю, он слышит голос мамы.

— Я же сказал тебе — я иду ра-бо-тать! Ни с кем не встречаюсь. Не выпиваю. Сегодня праздника никакого нет. Ну и...

— Прости меня, — говорю я, поднимаюсь на цыпочки и целую его в выпирающую из-под ворота рубахи ключицу. — Я больше не буду. Я просто не люблю, когда от тебя пахнет водкой.

— Я сам не люблю.

Надевает берет перед зеркалом. На затылке у берета шерстяной пороссячий хвостик. Зеркало отражает родное лицо: усы пушатся, улыбка плывет и вспыхивает, веселые зубы скалятся и гаснут, морщины взбегают на высокий лоб; глядя папин огромный лоб, мама почему-то всегда нежно говорит по-французски: «Сюрмонтэ э волонтер», — на щеках играют желваки, внутри тела перекачиваются мышцы; он еще молодой, он еще сильный, все еще впереди. И сто грамм не помешают. И двести. И даже пол-литра.

Сумка на плече. Он целует меня в щеку и удивленно восклицает:

— Дочь, да от тебя пахнет псинкой!

— Я с собаками играла!

— Лучше на пианино поиграй...

Стук двери, как стук молотка: гвоздь забит.

А отец вздрагивает, когда громко стукнет дверь. Ему кажется — это выстрел.

Он ушел, и я одна.

Отец ушел, и я одна, и надо делать дела, а когда остаешься одна, их делать не хочется. Думаешь: лучше ничего не делать, пять минут, десять, полчаса! Такое наслаждение — не делать ничего! Падаю животом на диван, в руках — мамина шкатулка с драгоценностями. Перебираю: вот клипсы с разноцветными камнями, вот клипсы-жемчужины, вот низка красных кораллов, они жгут мне кончики пальцев, когда я их трогаю. Вот золотое колечко с крупным рубином — это папа подарил маме, я знаю.

Но я не знаю, что мои родители не женаты. Они живут вместе, но не женаты. Хотя, конечно, они муж и жена, кто ж спорит...

Слишком много у людей правил, которые я еще не выучила в школе.

Долго, долго перебирать украшения матери. Спихватиться: а время?! Оно идет, его не остановишь! На улице темно. Чернь, сажа за морозно посверкивающими окнами. Черный телефон молчит. Мама из больницы не звонит. Надо включить еще



настольную лампу, чтобы было не так страшно. Мне кажется, как всегда вечером, что из-под дивана вылезет красный треугольник, завернется в трубочку, высунет хищный язык и обовьет мягким жаром мне руку. Яркая люстра, гони чертовщину!

Свет включен везде и всюду. В гостиной и в спальне. Все горит и пылает, и я одна... Нет. Со мной музыка!

Сажусь заниматься. Завтра на урок в музыкальную школу. Этюды Черни, этюды Мошковского. Инвенции Баха. Сонатина Клемента. Легкая соната Моцарта. Какие красивые имена у этих композиторов... А вот еще сладкое, сиропное имя: Мендельсон-Бартольди, «Песня без слов». Как это — песня без слов? А я придумаю слова!

Играю и пою, что в голову взбредет:

— Плыву я в легкой лодке —

Ты солнце лови!

Плыву я в легкой лодке

Навстречу любви...

Пальцы поднимаются и опускаются. Пальцы грызут и прогрызают клавиши. Внутри пальцев натягиваются и загораются тонкие длинные волокна, по ним горячо и опасно течет музыка; чем дольше я играю, тем свободнее она течет. И вот я достигаю момента, когда свободно дышу, руки летают над клавишами, ноты обдувает нездешний ветер, и я слышу и вижу все то, что невозможно услышать и увидеть в обычной жизни. Волосы будто вздувает вихрь. Спину царапают когти мороза. Зеркала передо мной нет, но я знаю — глаза горят. Может, я уже огонь? Кто меня потушит?

А пианино деревянное, оно того и гляди загорится под руками.

Бетховен, это Бетховен, «Лунная соната». Первая часть. Ночь за окном. Ночь над городом Горьким. Горький город, а раньше был город Нижний. Горький, Нижний... Горечь и низы. До-диез-минор, под пальцами поет сердце человека, что оглох, не слышал музыки и умер давно. Очень давно. Когда меня еще не было на свете.

А когда я стала *быть*?..

Запястья занемели, устали. Я выдохлась. Семь потов сошло. Играть на фортепьяно только с виду легко. Клавиши такие тугие, не прожмешь. И на педали ногами надо нажимать. У меня ноги не достают до педалей, и под ноги я подставляю скамеечку. Ее папа сколотил из распиленных подрамников.

Все, надоело, хватит. Музыка обрывается. Будто порвали леску ожерелья — и рассыпались бусины. Теперь их найдут мыши. Или крысы. Мы живем на втором этаже двухэтажного деревянного дома; к жителям первого этажа крысы приходят — к тем, у кого нет кошки. Моя черепаха лучше кошки — она молчит и смотрит добрыми печальными глазами. Она говорит: «Я все равно усну, а когда усну, не будите меня».

Я вылезая из-за пианино. Осторожно закрываю крышку. Прокрадываюсь в кладовку. Нюхаю рыболовецкие снасти отца. Пахнет рыбой, песком, солью, табаком. Потом лезу в шкаф. Там папины краски, кисти, эскизы, этюды на квадратных картонках. И запах тут другой — смесь скипидара, льняного масла, растворителя по кличке «пинен», засыхающей, умирающей плоти плотных, упругих, толстых мазков. Этюдов много, они лежат штабелями и стоят стоймя. Я беру их в руки и раскладываю на столе, как игральные карты. Царапаю ногтем засохшую масляную краску. Синее, алое, белое, болотное, ржаное, медовое, золотое, грязное, чистое мешается, переливается, вливается одно в другое, рябит и пестрит, и бьет по глазам, и полосует цветными плетьюми лицо. Мир — цвет. Мир — боль. Мир надо запечатлеть, оставить. Отец оставляет его. Для кого?

Пронзает дикая мысль: если отец умрет, все этюды выбросят на помойку. Как выбросили на помойку картины Льва Францевича Литвинского, когда его мастерская сгорела. Я видела: они лежали около мусорных ящиков, и никто их не подбирал.

Нет! Мама спасет! Мама все сохранит!

Пляска красок перед глазами — не остановить. Я закрыла глаза. Вскочила со стула. Накрыла все этюды шелковым китайским покрывалом — сдернула с родительской постели. Покрывало зеленое, атласное, изумрудное, по нему плывут вышитые серебряные лилии и снежные хризантемы, летят золотые птички, раскрывают клювики. Мне оно кажется царской роскошью.

Музыка музыкой, а голод не тетка! На подоконнике сковорода; приподняв чугунную крышку, лезу в нее за холодным беляшом. Съела — и нахально вытерла жирные пальцы о байковый халатик. Лень полотенце взять? Это не лень, а легкий, как мятный морозец, страх. Натянула на ноги толстые вязаные носки. Дрожу. И стекла в пазах дрожат — по мостовой протарахтел грузовик. Он везет в кузове души умерших, души ушедших. Куда? В лес под елку? Под лед на реку? На вершину горы, под черные облака?.. Колеса трясутся на булыжниках. Это земля, а не рай. И никого не спасут. Хоть я сейчас в раю и живу. Только я не знаю об этом.

Шуршание. Я вздрагиваю. Пот течет по спине.

Это моя черепашка медленно, важно идет у меня под столом, под ногами. Тыкается головой мне в щиколотку.

Я беру ее в руки, глажу, дышу ей на панцирь.

— Ты моя милая... ты моя хорошая... живая...

Все живое. Папины этюды живые. Они шевелятся и горят. Часы живые. Морозные узоры живые. Свет мигает. Ноты ползут со страниц, с сумасшедших нотоносцев. Мне страшно. Мне больно!

Раскутала этюды, как младенца распеленала, пупса резинового, сыночка. Вернула покрывало на кровать. Взмахнула им, и вспыхнуло оно лучом зеленым, морским.

Подхожу к зеркалу, ступая медленно и важно, как царевна. Мне не страшно. Мне не больно. Я царевна, дочь царицы. У меня в сундуках сокровища. Я живу в раю, и райские деревья надо мной качаются в окне, ссыпают на меня серебряную пыльцу; золотые и синие райские бабочки садятся мне на плечи, и я не отгоняю их. Вокруг меня музыка, вокруг меня все звучит, поет, дышит и хорошо пахнет. В раю я всегда сыта и любима. У меня всегда есть в раю на завтрак кофе со сливками, на обед — куриная котлетка, а на ужин, по праздникам, бутерброд: белый хлеб и паюсная черная икра. Икру мама покупает на хитром рынке по десять рублей за килограмм. В раю обязательно должна быть икра, как же без икры... Это ведь любимая пища ангелов.

Из зеркала на меня глядит царевна. У нее расплелись косы, расстегнулся халатик, и из-под халатика смешно, враспопырку, торчат худые ножки в шерстяных зимних чулках и отороченных мехом тапочках. Царевна приседает на корточки — я тоже приседаю. Царевна берет с зеркала связку маминых поддельных жемчугов — и я беру. Царевна вывинчивает пробку из пузырька духов «Красная Москва». И я, неотрывно глядя царевне в глаза, прикасаюсь хрустальной пробочкой к мочке уха, к тощей шейке, к подбородку, к яремной ямке над расстегнутой перламутровой пуговицей халата.

Царевна надевает на шею жемчужные ледяные бусы — и я надеваю.

Царевна любит меня, а я — ею. Мы довольны друг другом. Мы улыбаемся друг другу.

И потом я перестаю улыбаться — губы устают, и опять дрожь и страх щекотят сердце, а она продолжает улыбаться мне из зеркала, продолжает, продолжает...

И я отворачиваюсь, зажимая ладонями сначала глаза, потом — почему-то уши. Чтобы не слышать, что царевна мне сейчас скажет.

Но она молчит. Молчу и я. Мы обе молчим.

Мама в больнице. Папа в мастерской. Они работают. Трудятся. А я лентяйничая, я ребенок, мне можно.



А я — ребенок... или кто? Кто я?

Страшно и весело от вопроса, заданного самой себе. Волосенки шевелятся, коски приподнимаются с плеч. Кто-то невидимый, больше и сильнее меня, их тянет вверх.

— Чепа, — говорю я черепахе, — ты там не молчи под столом! Ты скажи мне что-нибудь!

Черепаха молчит. И я молчу. Нам нечего сказать друг другу. Все уже давно сказано за нас тем большим и сильным, кто висит под потолком, под люстрой, и тихо трогает меня за тонкие нити спутанных нежных волос.

Что бы придумать, чтобы не было страшно?..

Руки, отдельно от мыслей, уже открывают дверцы шифоньера. Там покойно и мирно висит мамина и папина одежда: костюмы, пальто, шубы, рубахи на деревянных плечиках, твидовые пиджаки, вязаные юбки и кофты, мамины летние платья из шифона и креп-жоржета, неприлично прозрачные, под них мама сшила нижние юбки из чистого белого льна, чтобы не просвечивали ноги. Ноги у мамы красивые, очень красивые. Как у лежащей и спящей нагой женщины в альбоме отца «Диего Родригес да-Сильва-и-Веласкес. Живопись». Под спящей красавицей надпись: «Венера перед зеркалом». Ангелочек, лукаво склонив головку набок, держит перед женщиной туманное зеркало в деревянной раме. Осеннее, дождливое озеро зеркала. Ветер и рябь. Стекло запотеваает от вечного дыхания. В зеркале отражается лицо. Это лицо матери. Мама, кого же еще... Мама жила всегда, и Веласкес ее писал с натуры.

А потом на ней женился папа. Через триста лет.

Мамина шуба из золотистой китайской земляной выдры, совсем новенькая, пахнет зверем. Мамины парадные костюмы пахнут духами «Серебристый ландыш». На полочке лежит мыло — от моли.

И еще коробочки, коробочки, деревянные ящички, кожаные крохотные, как жуки-навозники, сумочки; и похвальные грамоты, закрученные в трубочку и перевязанные цветными лентами; и огромная страшная книжка с обгрызенными мышами краями — «Офтальмологический справочник». Если ее открыть, то со страниц в тебя ударят дикие, жуткие глаза — уродливые ячмени, зернистые веки, будто красным рисом обсыпанные, и подпись: «Трахома». И россыпь гравюр по желтой, как церковный воск, бумаге: колющие и режущие инструменты — ими выковыривают из-под лба больные, нежные глаза — ножи, скальпели, ножницы, расширители, зажимы (мама зовет их кукурузным словом «корнцанги»), пинцеты, иглы, лезвия. Я слышу в ушах крик точильщика, он приходит к нам во двор по воскресеньям с громоздким наждаком на плече: «Точу ножи-ножницы!.. Точу ножи-ножницы!..» — и зажимаю руками уши.

Оглядываюсь. Кто смотрит на меня?! Хватаю себя руками за локти. Локти трясутся. Я смеюсь над собой, нарочно смеюсь, и, чтобы увидеть свой многозубый, страшный смех, оборачиваюсь к зеркалу. На деревянной зеркальной полочке лежат красной змеей, свернувшейся в злую спираль, мамины коралловые бусы. Я сама их сюда положила. И забыла. Они отражаются в зеркале. Отражается пузырек «Красной Москвы». Отражается мой понарошечный смех. Шифоньер такой серьезный. Он огромный, как дом, в нем можно жить. Если буду продолжать хохотать, мне от него попадет.

Умолкаю. Встать на цыпочки, вот так. Вытянуться еще сильнее. Дотянуться. До чего? Нет, правда, только тянуться вверх; вверху страха нет. Там — полка. Верхняя. И там лежат большие толстые книги. Вон они, торчат корешки.

Книги... Разве это книги?

Вытянись сильнее! Выгни спину!.. Все равно не достать.

Я беру стул. Взираюсь на него. Я стою не на деревянной плашке — на спине коня. Четыре ноги, конь скачет подо мной, и я артистка цирка. Но-о! Покачулась,



взмахнула руками — чуть не упала. Скользкий паркет. Мама натирает паркет мастикой. А папа потом надевает на башмак мохнатую большую щетку на ремне и трет, трет, трет... До блеска.

Тяну руки к книгам-великанам. Ох, какие толстенные, не ухватишь! Беру ту, что лежит сверху. Под ней — еще две. Я никогда не видела таких громадных книг. Про что же в них написано? Может, это сказки? А может, это церковные книги, и буквы в них древние и изогнутые, смазанные золотом, и пахнут воском и мышами?

Тящу книжищу на себя. Тяжела! Не удержу! Спускайся тихо, спокойно, Лена, спускайся. Сердце бьется слишком сильно. Так оно бьется только ночью, когда внезапно проснешься, а кровь, толчками в ушах, звенит оглушительно, и одна только мысль: умру, умру, я тоже умру! И этот молот в голове — предвестник смерти, далекое предчувствие ее.

Ноги согнулись и опустили меня на пол вместе с книгой. Я бережно положила ее на мамину кровать. Ласково погладила — мол, не бойся, успокойся. Я боюсь больше, чем ты.

Опять залезла на стул. Стащила с полки вторую. Кажется, она была еще толще и массивнее. И застегивалась на золоченые крючки и странные ремешки.

Лежат сестренки рядом — одна и другая. Одна — кокетка: кожаный переплет, золотые уголки. Другая — старуха в синем панбархате, да бархат истлел, повьтерся.

Третья осталась там, наверху. Я ее тоже сниму. Сейчас.

Уже ловко, по-обезьяньи, я забралась на стул, схватила третью книгу. Она была празднично одета, укутана в ярко-алый, цвета знамени, плюш.

И тут ножка стула тихо, чуть слышно хрустнула и поплыла, скользко и коварно поехала на сторону, и вместе со стулом, превратившимся в лодку, поплыла и я.

Мы падали все вместе — стул, я, книга, шифоньер.

Когда мы все упали, я обнаружила: шифоньер на месте, зато книга раскрылась, и из нее в разные стороны, вокруг меня, мимо меня, сквозь меня, высыпались, рассыпались призрачными веерами серые, белые, коричневые, черные, глянцевого, зернистые, тусклые, рваные квадраты бумаги. На квадратах двигались и плясали, и замирали, и горбились, и плакали фигуры — это были люди, только совсем крошечные, как муравьи.

Лежа на полу, в обнимку с раскрытым альбомом, облаченным в краснознаменный плюш, я вспомнила, я догадалась — это фотографии. Я и фотографии — мы лежали на полу, как на пляже летом, и рядом с нами лежал сломанный безногий стул, калека, сам себе костыль.

Я выползла из-под деревянных обломков и, отряхиваясь как собака, встала с пола. Подобрала альбом. Сгребла в кучу все выбежавшие на свободу фотоснимки. Затолкала в раззявленную пасть плюшевой книги. Положила рядом с теми двумя. Теперь они лежали на кровати все три: кожаная, сине-бархатная и плюшевая, красная.

Я встала перед кроватью на колени. Я знала — на колени старые бабушки в церкви встают, когда молятся. Но так было удобней всего. Я опять погладила кожаный переплет альбома, что вытащила из шкафа первым. Он будто ждал этой ласки — я ощутила теплоту старинной телячьей кожи и странную, тихую и нежную дрожь внутри себя. Сейчас я открою это. Что — это? Книгу? Альбом? Чужую жизнь?.. Там лица? Там старые одежды и старые дома? Старые корабли и старые повозки? А может, я открою сейчас то, чему я пока имени не знаю, а пройдет время — и слишком, слишком хорошо узнаю его?

Руки потянулись сами. Может, это черепаховая кожа? Чеп, ты умрешь, и тебя освежат, и твоей кожей обтянут мою... чужую... давно мертвую жизнь... Обтянут — мою смерть?..

О смерти запрещено думать. Никогда не думай о ней. О времени — можно, а о смерти — нет.



Почему? Я уже видела, как умирают звери. И я видела, как люди хоронят людей. В гробах люди лежат спокойно и радостно, они спят. Только не проснутся никогда.

Я открывала альбом — как шкатулку с сокровищами. Как гробницу, раку. Как гроб. Гроб, в котором спал ребенок-время в хрустальной колыбельке, и мне надо было оживить его, вытащить наружу, вывести за руку из темницы на свет, я это понимала.

Еле-еле, с натугой, отогнулась тяжелая обложка. Еле-еле перевернулась плотная, как жест, картонная страница.

Из-под картона вылетела большая жирная моль, с нее посыпалась золотая и серая пыльца мне на руки, на мамино постельное атласное покрывало, китайское зеленое покрывало, вышитое огромными хризантемами и золотыми птицами.

Я ударила ладонью о ладонь. Раздался громкий хлопок. Моль я не убила. Улетела она.

Стоя на коленях перед супружеским ложем моих родителей, я глядела на первую страницу первого альбома, открытого мной, и на ней было тщательно выведено чернилами, тонким пером, крупными, как жужелицы, буквами:

«Николай Иванович Крюков.

Родился в 1918 году.

Но это неверно.

Подделал себе в паспорте дату рождения.

Старше на три года.

Чтобы взяли на фронт.

А на руке татуировка — 1919».

И мне в глаза ударила эта фотография.

Зажмурилась. Слишком яркий свет.

Свет сквозь размытую, текучую воду, коричневую, грязную, чуть болотную, чуть шоколадную; гнется бумага, выгибается, рвется надвое и тут же склеивается, шва не видать. Свет по краям, по зубчатым краешкам: фигуры карие, а рамка белая, и не испачкали ее годы, не окровавили взрывы. Не залили бедную тонкую бумагу с призрачным отпечатком потоки крови из раны пулевой, осколочной. Свет — лохматятся края, ломаются, как белое сухое печенье; бумага тает, истлевает, изображение на ней теряется и гаснет. Свет лампы гаснет. А свет моря?

Не порвешь. Не погнешь. Не состаришь.

Море, светлую воду, не вычерпаешь, не выпьешь никогда.

Свет брызжет в лицо. Квадратный кусок бумаги — уже металл. Уже ржавый бок подводной лодки, черная тяжесть якоря, спрятанного под носом корабля. Эсминец? Линкор? Он вдали. Он вблизи.

Здесь. За скалами.

Свет заливаает скалы. Свет бьет прибором в лица двоих.

Их сфотографировали тайком — они оба не знали о том, что их снимают, а их взяли и сняли, без спросу. Кто подарил им снимок потом, когда проявил?

Сначала подарили ей. Той, что стоит, прижавшись спиной к скале. И брызги прибора летят ей в лицо. И смеется она.

А она передарила ему. Когда поняла, что он уезжает. От нее. Навсегда.

Как я могла об этом обо всем знать?..

Колени заболели. Пальцы гладили молчаливые лица на глянцевой коричневой дрожащей бумаге.

Лицо женщины. Брови — крылья чайки.

Лицо мужчины. Бритый лоб. Бескозырка в руках.

Парень, матрос, смущенно стоит перед смуглой женщиной, вдвое старше его. Она меньше его ростом. Она сонными, совиными, с поволокой, огромными глазами глядит на ярко сверкающую под солнцем медную пряжку его ремня.

Обвести пальцем ее лицо. Потом — его лицо.

Я сама рисовала их обоих; я видела их глазами и руками. Как слепая. Мама

рассказывала: слепые читают книжки по системе Брайля. Вместо букв — выпуклые шарики и точки, линии и узоры. Слепой щупает узоры и улыбается — так он видит. Слепому не нужен свет снаружи, он носит свет внутри себя.

Свет бил мне в слепое лицо. Я перевернула снимок. На обороте фотографии было написано беглым, нежно-бисерным, сходным с арабской вязью почерком:

«С. Н. А. Помни обо мне».

Опять перевернула фото. Свет усиливался. Он заливал мне лицо соленой морской водой. Черно-белой водой; чернь и белизна колыхались и дрожали, и коричнево-зеленые глаза, щеки и волосы женщины словно просвечивали сквозь толщу воды.

Я приблизила лицо к свету. Я хотела окунуть в свет глаза, щеки, волосы. Я уже слишком близко поднесла свет к лицу, и мои косички с капроновыми ленточками в них легко могли загореться, но я не боялась. Пространство вокруг меня раздвинулось, и я, вздохнув коротко и судорожно, как после долгого плача, окунула в дрожащий, как вода, свет сначала лоб, потом горячее лицо, потом руки, потом осторожно переступила ногами, и голые руки мои, торчащие из рукавов старого байкового халатика, покрылись гусиной кожей. Это было совсем не страшно. Я не поняла, как я шагнула туда, но мгновенное перемещение отчетливо запомнилось влажным биением крови, ударами звонкого бубна меж ребер.

Я вошла в фотографию легко и просто — так нож входит в ножны, так лекарство пьется больным и жадно запивается ледяной водой из жестяной кружки.

Глаза пообвыкли. Я увидела: матрос сделал к женщине шаг. И еще шаг. И еще.

Женщина сильнее вжалась спиной в скалу. Раскинула руки. Отвернула голову. Она не хотела, чтобы матрос ее целовал.

Матрос стоял уже очень близко к женщине. Дрожал и плыл коричневый, ржавый, мертвый воздух. Живые волны накатывались из синей туманной дали. Парень взял женщину за руки. Нежно, робко. Будто руки у нее были фарфоровые. Или неживые протезы.

— Софья, — тихо сказал матрос. — Нас завтра вечером уже отправляют. Софья! Если меня убьют...

Прибой разбивался о скалы, как бутылка шампанского. И пена стекала. И воздух пьянел.

Софья не отрывала взгляда от лица молодого матроса, будто запоминая его.

— Если тебя убьют, — тихо сказала она, — я буду молиться за тебя, как за сына. За упокой.

— Бога нет, — кусая губы, бросил матрос. Ветер трепал черные траурные ленты бескозырки.

— Побойся бога, Коля. Бог есть. Он был и есть всегда.

Софья подняла руки и сняла с шеи крестик на черном гайтане. Надела матросу на грудь. Заправила под тельняшку.

— Носи. Он спасет тебя.

— Да с меня, — он сплюнул на соленые мокрые камни, — его завтра же кавторанг сдерет! И за борт выкинет!

— Не выкинет. — Глаза Софьи замерцали, так светится под водой ночной фосфорный планктон. — Он заговоренный.

— И я, что ли, заговоренный?! — Он уже нагло, страшно, отчаянно смеялся, показывая все зубы. — И меня не убьют?! Да там бойня! Там всем конец! Там... месиво!

Скрипнул зубами. Женщина провела ладонью по его щеке.

— Коленька... Гладко как побрился. Это ты... для меня?..

— Для тебя. — Он схватил ее руку. Прижался губами к ладони. — Сонечка! Ты меня...



— Я тебя не забуду, — просто и печально вымолвила она.

Губы дрогнули, задрожали губы в ответ. Губы налегли на губы, и маленькая девочка впервые видела, как по-взрослому, неотрывно и долго, бесконечно целуются взрослые люди. Нет, она видела, как радостно, вкусно и ласково чмокают друг дружку ее отец и мать, но то были поцелуи обеденные, утренние, вечерние, семейные, приветственные, прощальные, привычные — так целовались все, и она сама тоже так умела всех целовать. Но тут двое таяли, текли и перетекали друг в друга, и жалко и стыдно было подсматривать за ними, и жадно глядели глаза, не отрываясь, не закрываясь.

Девочка видела их, а они не видели девочку. Какая девочка? Зачем? Откуда? Она стояла перед ними на сыром песке, на омытой солью круглой серой, синей и черной гальке, незримая, прозрачная; сквозь нее, ее ребра и личико, видны были скалы и волны. Женщина что-то почувствовала. Оторвала губы от губ матроса. Оглянулась.

— Коля, — отвела ото лба прядь, ею ветер играл, — мне кажется, тут кто-то...

— Мы здесь одни. — Он снова притянул ее к себе. — Никого. Море!

Софья оглянулась.

— Да. Море...

И у самой кромки бешеного белозубого прибоя, в брызгах йодистой горечи и слезной соли, в виду безмерной и пугающей шири бессмертного гигантского, светящегося и вспыхивающего опала океана они крепко обнялись и уже не целовались медленно и нежно — безумно, задыхаясь, покрывали напоследок поцелуями щеки, лица, скулы, веки, лбы, брови, руки и плечи друг друга, и матрос встал перед женщиной на колени, прямо на сырую шуршащую гальку, и впились в колени древние камни, и обвили крепкие руки, каменные мускулы тонкую талию, ощутив под бугристыми мышцами вянущую сухошавую плоть, и легло жаркое молодое лицо на нежный, поживший, бьющийся под многими животами живот, так и не зачавший, не зародивший жизнь, а он так хотел ребенка от нее...

— Я так хотел ребенка от тебя! Если меня убьют, у меня на этой земле даже сына не будет!

Женщина стояла над ним, положив пальцы на его коротко стриженные волосы. Она улыбалась.

— Я стара родить. Тебе молодая родит. После войны.

— Откуда ты знаешь, что я останусь жив?!

Вскочил на ноги. Схватил Софью в охапку. Тут же выпустил. Побежал. Побежал все размашистее, все быстрее, и галька осыпалась под подошвами башмаков. Развелся за плечами воротник. Напаялил на бегу бескозырку, и рвал ветер черные, с золотыми буквами, ленты.

Девочка все стояла у скалы. Прибой заливал ее ноги в домашних тапочках с меховой оторочкой. Она не могла оторвать глаз от бегущего, убегающего навсегда. Он бежал от нее, и он не знал, что он бежит — к ней.

Свет густо и плотно, заливая золотым молоком одинокое побережье, вливаясь в пустую черную тоску зрачка, обнял Софью, девочку, далекую фигуру бегущего матроса; свет властно поднялся из морской глубины, чтобы сразу раствориться, вспыхнуть и исчезнуть, провалиться в нахлынувшую тьму — будто распахнули старый кованный сундук и смяли и затолкали туда, как грязные тряпки, океан, людей, камни, небо, мир...

— Папа, — я услышала, как чужой, свой хриплый голос, — я тебя узнала.



НЕРАВНЫЙ БОЙ

Палуба СКР-19.

— Ты куда бежишь, парень?

— Посыльный из штаба морских операций!

— Проводить тебя к помощнику командира?

— Так точно!

Крюков хотел, не по уставу, хлопнуть паренька по плечу. Юный совсем.

Шел впереди; юнга сзади, вытягивая шею, чтобы стать выше, но все равно семенил шавочкой рядом с высоченным Крюковым.

Ночь. Холодное море перекатывает серые валы. Светлая северная ночь обволакивает лица призрачным светом: свечение сердца, свет мелких, далеких и льдистых, звезд в зените. «Посмертные звезды у нас у всех будут красные...»

Николай шел, широко расставляя ноги. Брючины хлопали на ветру.

Холод, и льды, и жизнь. Пока еще жизнь. Разве кто поверит в смерть, пока молодой?..

Постучал в каюту. Вошли оба.

Командир, Александр Гидулянов, на катере портовом ушел на мыс Кретчатик — разузнать, где на берег удобнее всего орудия выгрузить. Старший лейтенант Кротов остался за него на корабле.

Кротов сидел за столом, одетый в бушлат. Воротник бушлата поднят до ушей — греется, дышит в воротник, мерзнет. Быстро, бисерно писал. «Письмо», — догадался Крюков. Кротов стыдливо, сердито прикрыл письмо раскрытой книгой, бросил ручку, и со стального пера стекла чернильная капля.

— Разрешите доложить! — Крюков выпятил грудь.

— Донесение! — протянул бумагу юнга.

Кротов не прочитал донесение — проглотил. Мгновенно побелел. Николай все понял сразу.

«Это бой, и немец опасен».

— Донесение принято, юнга! Можете идти.

Махнул рукой.

Юнга убежал, его ждал береговой катер.

— Матрос-рулевой, со мной!

Оба быстро поднялись на мостик. Кротов задыхался. На мостике нес вахту лейтенант Степин. Помощник командира тоскливо поглядел на холодные, тусклые звезды.

Николай впервые в жизни слышал эти слова. Мокрой плетью, больно и яростно, они хлестнули по груди, по спине. По обветренному ледяными ветрами лицу.

— Боевая тревога!

Стальной голос. Стальные борта. Стальные орудия.

А ты, Крюков, не из стали разве сделан?

«Слишком я живой. И не хочу умирать».

Прищур Кротова вонзился в глаза рулевого матроса.

— Что, сдрейфил?!

— Да я, Сергей Александрыч... никак нет!

— Какой я тебе...

Хотел обругать матроса — что, мол, себе позволяет, имена-отчества...

На весь ледокол — громкий бой колоколов. Бьют, орут, вопят рынды.

Колокола тревоги. Колокола смерти.

Крюков сглотнул. Охрип внезапно, как при дифтерите.

Кротов руку протянул. Плеча матроса коснулся.

— Сынок...

Некогда размышлять. Нekoгда думать и чувствовать.



Время закончилось. Оборвалось быстро и разом.

Люди черными тараканами высыпали на палубы, черными кошками шныряли, ползли, тащили — надо было проверить орудия, притащить ящики со снарядами, выверить расстояние до вражеского крейсера.

В синей, сизой дымке, казалось, очень далеко, а на самом деле — близко, в легчайшей взвеси полярной ночи шел, стоял, висел корабль. Даже издалека он устрашал: огромный железный зверь, мачта торчит, достигая верхушкой звезд, сквозь туман смутно различимы орудия, скошенная труба.

«Мы с ним будем бороться. Все просто. Он будет в нас стрелять. И мы в него. И — кто кого».

Николай оглядел палубу. Маленький ледокол, могучий крейсер. Битва бегемота и божьей коровки.

«Давайте уйдем!» — рвался крик из груди.

Да ведь и не ушли бы далеко... Сколько узлов делает СКР-19? А сколько — эта громадина?

— Корабль к походу!

— Стрелы завалить! Трюмы закрыть!

— «Шеер», — негромко говорит лейтенант Степин, всматриваясь в сизую, голубиную даль.

Люди носились, метались, расчехляли орудия; мелькали руки, глаза, лица, бушлаты. Люди готовились. Люди боялись. Люди делали вид, что не боятся ничуть: кто пел песенку, кто закурил на ходу; и руки работали, а папироса в углу рта торчала, и ветер пепел в море с палубы сдувал. Люди старались двигаться спокойно, расчетливо и уверенно, но сбивались на взмах, на резкий крик. Многие примут бой впервые. Крюков глядел на лица молодых матросов — белые как снег. Улыбки вымученные. Смерть чуют.

«А я — разве старик?..»

— Крюков!

— Так точно!

— Дублируешь старшину-рулевого Транкова!

— Есть!

— Отдать швартовы!

Лейтенант Степин отнимает от глаз бинокль. Хороший призмальный бинокль, пейсовский. Немецкий... Фрицевский, в бога-душу-мать!

И за борт не выбросишь фашистскую поделку. Техника у гадов мировая.

Тишина. Белесое, молочное небо. Звезды вспыхивают и гаснут.

«Боже, я верю в тебя. Боже, не погаси мою звезду!»

И торкнулось под сердце: «Марэся...» Девочка-ромашка. Девочка-незабудка. Я не забуду тебя. Я... вернусь к тебе. Мертвым, в гробу, а вернусь.

— Направление на цель... Дистанция...

Пока артиллеристы не открывают огня.

Крюков шагнул к Кротову.

— Разрешите...

— Разрешаю. Все, — полоснул узким прищуром, — разрешаю.

— К орудию меня поставьте!

— Крюков, ты матрос-рулевой, ты заменишь Сашу Транкова, если...

Николай сжал кулаки. Будто ударить кого готовился.

— Хорошо! Будь по-твоему.

Перестали клацать замки орудий. Тишина. Она обваливалась с небес, она сама была небом.

На земле, в мире, во всей Арктике есть только небо. Белый, высокий ночной храм неба. Белые, медленные, как тюлени, льды. Серые, жесткие, железные скалы. Бога нет — медведю белому молись. Когда встанет солнце и пойдет широкое, вольно



и безбрежно по небу, очерчивая мощный земной круг, холодный синий оком, Север улыбнется, оскалится льдами, скалами, снегами. Плеснет из-за борта ледяными слезами в лицо. А когда солнце царственно завершит небесный путь, начнет валиться за горизонт, но не сможет упасть, полетит на скалы из-под черных плотных слоистых туч алая угрюмая кровь — так восстанет закат, пугая до полусмерти нежные души суровых людей и отражаясь в красных бесстрастных глазах белых медведей.

Тишина. Сейчас — тишина. Она слишком тяжелая, тишина. Ее невозможно вынести. Но все они ее выносят. На своих плечах. На спинах. На загорбках. На руках.

«Пока еще не пролилась кровь. Еще не наступил закат».

Да ведь и рассвет еще не наступил.

— Прицел... Поставить трубку на удар... Орудия — зарядить!

«Дежнев» шел и шел прочь от причала. Порт таял в тумане, в разводах белого молока. Волны хлопали о черные борта. Ручки машинного телеграфа переведены с малого хода на полный. Саша Транков, полный вперед! Курс на выход из гавани. Навстречу бою. Навстречу огню.

Крюков положил руки на рукоятки крупнокалиберного пулемета. Мостик качается под ногами, дрожит.

Полный ход. Полный ход времени — минут, секунд, жизни.

Он облизнул губы, крепче вцепился в рукоятки и подумал: «Так ярко, так ясно и красиво я еще никогда не видел ничего. Я мир не видел! Так полно, так... рьяно, страстно... я никогда еще не жил... Значит, жизнь в виду смерти — самая яркая?»

Не додумал. Вражеский корабль приближался. Что будет делать «Дежнев», ведь его расстреляют в пух! Кротов сказал, он слышал: «Ляжем на дно, перегородим пролив, аккуратно между Пирожком и Вегой, фарватер перекроем, в бухту не войдут, на Диксон все равно не попадут!» Родной корабль должен стать железным трупом. Железной костью поперек немецкой глотки. Что ж, командирам виднее...

«Жаль. Как жаль. Так мало я по морям походил. Море, мое море!.. Прощай!»

И себя оборвал: что ты с морем прощаешься, дурак, оно ж тебя, если убьют, первое примет.

Порт позади. Катера позади. Корабли позади. На них тоже готовы к бою все орудия.

Крюков глядит во все глаза. Кулаки крепче сжимают рукоятки.

«Убью гадов, собак, фашистов. Сдохну, но хоть одного — убью!»

Ему еще ни разу не доводилось убивать человека. Ни в мирной жизни, ни на войне. Вот оно, время, пришло.

Холодало. Ветер крепчал. Ветер бил в лицо, трепал полы бушлата, как два черных флага. Крюков отер тылом ладони мокрые щеки. Это брызги. Соленые ледяные брызги. Ветер донес их ему... как письмо. Как слезы. Ее.

Скоро ли огонь?!

«Они думают — рано. А я бы открыл!»

Они умнее тебя, дурень. Они врага чувят. Ближе подпускают.

Тишина, и в тишине — гул машин, громкий шорох полного хода, плеск волны, завыванье ветра. Ветер уже воеет, белый голодный медведь, подняв мохнатую башку к жестоким звездам.

И в этой ветреной, соленой морской тишине Николай видит — на борту крейсера взрывается пучок света. Бьет по глазам. Проходят секунды или года... По носу «Дежнева» встают фонтаны. Снаряды врезались в воду.

Не попали!

И слышит матрос-рулевой Крюков голос старшего лейтенанта Кротова, помощника командира, взлетевший до яростного, открытого, как вой, крика — когда горло становится рупором, раструбом, ущельем в горах, где вопит, вынимая душу, хриплый черный ветер, с запахом машинного масла, океанских муссонов, полярных си-



них льдов, соленой воды, где гибнет тонущий человек за десять, за пять коротких и вечных минут; ветер, идущий в накат, в полный рост, все на свете человеческое, жалкое и нищее бесстрастной, дикой мощью заслоняя:

— Ого-о-онь!

Уши заложило враз. Корабельные пушки дали залп.

«Погоди. Повремени со своим пулеметом. Ты будешь стрелять. Будешь. Но только когда “Дежнев” ближе к черной махине подойдет. Обожди!»

Руки, держащие рукояти пулемета, побелели. Посинели. Крюков видел, как борт крейсера прорезали мелкие, как звезды, вспышки.

«Есть! Попали! Молодцы ребята!»

Ему внезапно, до боли, до ужаса захотелось закусить пластину зеленого льда. Чтобы холод обжег губы. Пусть соленый. Дико хочется пить. И питья нет. Никто тебе тут не приготовил водички, Колька.

«Это вот и есть бой? И ничего страшного! Весело даже!»

И правда, стало безумно весело, хоть в пляс пускайся. Будто вина полбутылки глотнул. Или отцовской бешеной горилки. Там, в Марьевке.

Гром и гул. Сплошняком идут выстрелы. Он глохнет от выстрелов, и он счастлив глухотой. Все идет отлично!

«А может, мы победим!»

Не обольщайся. Нет чудес на земле. И на море — тоже.

А если нет чудес, тогда работай!

Стреляй! Стреляй! Стреляй!

«Марэся, Марэся, Марэся. За тебя! За тебя!»

И он стреляет, стреляет, стреляет. . . Бьется пулемет в руках, как железная птица, и лента ползет, и огонь рвется из черной дыры, белый мир намертво, наполовину, на куски, на лоскутья, на хлопья праха разрывая.

А потом перестает стрелять, и слушает себя, тишину, и в тишине громкие удары — хлопки, перестуки. Он думает, в черном аду машинного отделения кочегары молотят железяками в котлы, а это стучит, проламывая костяную клетку ребер, его сердце, выталкивая юную кровь в жилы, в руки, ноги, в голову, туманя кровью глаза и рот, что шепчет, не помня себя, страшную, подзаборную, святую ругань.

И наступает то, чего ждет сердце, в это ни мгновенья не веря.

Один мощный удар.

Второй.

Тяжко, до последней железной заклепки, до малого ювелирного болта содрогаются корабль. Всем стальным телом. Всем корпусом, устремленным вперед. Носом, разрезающим темную ледяную пучину. Кормой, где грохочут пулеметы в руках ребят. Трюмом, где молчат ящики со снарядами. Машинным отделением, где беззвучно, задыхаясь, натужно работают двигатели и чуть не разрываются от давления паровые котлы.

Николай на миг превратился в тело корабля. Кожа стала жестью. Кости — поршнями машин, стенами мрачного трюма. Потроха — угольными бункерами. Мышцы обратились в сталь, теперь ничем их не погнешь. Лишь взорвать можно. На mine.

Минное дело, он так любил в училище минное дело...

Оглянулся. Дым расплзался над палубой. Качало. Усиливался ветер. Так хотелось грызть зубами синий, зеленый лед, впиваться, вгрызаться в лютый холод, а льда не было.

Пить. Пить. . .

Жить.

Огонь бежал по палубе бешеной рыжей кошкой.

Артиллерист Сеня Петров лежал возле орудия, раскинув руки.



Крюков ощущал себя: здесь и еще здесь. Не убили. Не убили!.. Звон в ушах. Постепенно ожил, очухался, голова просветлела, глаза видели яснее, и ночь нежно, осторожно перетекала над раненым кораблем в утро.

В утро? А сколько времени прошло?..

Лед. Зеленый лед. Грызть. Сосать. Глотать. Пить.

— Пить, — выхрипнул он.

Еще взрыв. Еще!

Прямое попадание. Хорошо пристрелялись. Циркачи!

«Адмирал Шеер» вел по «Дежневу» ураганный огонь.

Тяжелый крейсер — по малютке-ледоколу.

Николай глядел на мертвого артиллериста Петрова, утирал лицо рукавом бушлата. Размазал кровь по лицу.

«Дежнев» наклонился на правый борт. Сильный крен.

«В трюм снаряд попал. Теперь хана. Сколько нам осталось на плаву? Час? Пол-часа? Десять минут?»

Надо оттащить Петрова от орудия. Теперь у него, у Крюкова, два орудия. Пушка и пулемет. Вот как он разбогател.

Крюков, шатаясь, будто пьяный, подошел по накренившейся скользкой палубе к мертвому Петрову.

— Сень, — шепнул хрипло, и ледяной ветер мокрой веревкой хлестнул по губам, — Сень, а может, ты не убитый еще... а раненый только?..

Подхватил Петрова под мышки. Поволок прочь от пушки.

И вдруг на кривой пляшущей палубе возле молчащего расчехленного для боя орудия появилась девочка.

Странная девочка. В белом, выше колен, полупрозрачном платьице — такие, из марли, шили на елку у них в Марьевке, в школе, для девочек-Снегурочек. Снегурочка с Диксона. Из моря вышла? Из каких льдов появилась?.. Переступает медленно. Будто в балетках, в пуантах. Озирается. Улыбается. Беспомощная, безумная, светлая улыбка. Губы сумасшедшие, а глаза всезнающие. Горят, как лампочки на елке. К поясу привязана ошипанная курица. Зачем она убила и ошипала птицу? Накормить моряков?

Марлевое платье можно содрать с нее и разорвать на бинты. Перевязать морякам раны. Но девочка голой замерзнет на ветру. Этого делать нельзя.

Николай следил, как она идет по палубе.

Она шла к нему. Переступала с пятки на носок. На носочки вставала, будто танцевала. И все оглядывалась.

Что у нее на поясе? Сверток? Веер? Какой дурацкий сон налетел...

Под ее балетками разливались потоки крови. Второе попадание убило еще двух артиллеристов. Крюков слышал крики. Девочка молчала и шла к нему. Он видел голую куриную тушку, привязанную к поясу, птичью грудку девочки. Талия такая тонкая... прикоснешься — переломится; марля реет на ветру белым флагом.

Девочка подошла ближе. Он мог разглядеть ее лицо. Глаза-вишни, темные пряди, смуглые щеки. Ветер все яростнее рвал марлевку. Ей негде спрятаться. Он защитит ее от ветра. Он снарядов. От огня. Он согреет...

Не думая ничего, протянул руки. Распахнул бушлат. Девочка будто ждала приглашенья, щедрого жеста. Метнулась, нырнула ему под мышку. Затихла там. Он чувял тепло плеч и непокрытой темной головки. Девочка горячо дышала ему в бок, под ребра, прожигая дыханьем тельняшку. Он крепко прижал ее к себе.

«Брежу. Вот я и контужен навек».

Все сильнее прижимал приبلудного, диковинного ребенка.

— Ты мне снишься? — тихо спросил, наклонив голову; под его губами шевельнулись, рассыпались горячей соломой ее мягкие, слишком нежные волосенки.

Девочка молчала. А что ей было говорить?

И тут он понял.

И соленый пот морем, слезами, таяньем всех заполярных снегов потек у него по спине под тельняшкой, по лопаткам, по хребту, по вискам, где вспыхнула мгновенная, смертная седина, по шее, где первая кровь запеклась.

— Ты меня спасешь? Ты... мой ангел?

И внутри него, не снаружи, глубоко в нем, в недрах темных и тихих, где снарядами в стволах, в железных гнездах лежали рядком, не ссорясь, прошлое и будущее, детский голос твердо, по-взрослому, сказал:

— Я спасу тебя.

Он еще чувствовал под рукой, под бушлатом, теплую, живую, не снящуюся плоть. Он еще обнимал, притискивал к себе живое дитя, невесть откуда взявшееся. Кровь стекала в море по наклонной палубе. Корабль шел и шел вперед, шел прямо на крейсер, и Крюков знал — они идут в самую узкую часть пролива. Еще одно прямое попадание — и «Дежнев» затонет. Именно там, где хочет лейтенант Крюков. Где хотя бы все они. Девочка чуть шевельнулась под бушлатом. Крюков опустил руку чуть ниже и нашарил у нее на поясе холодную ошипанную курицу.

— А курица-то тебе зачем?..

Выпросталась из-под бушлата. Подняла личико. Крюков склонился. Присел на корточки. Крепче ее обнял. Девочка дрожала. Нежной лапкой быстро вытерла кровь, что текла у него по шее. Потом крепко прижала к ране руку, марлевый рукав. Так и держала, останавливала кровь. Время останавливала.

— Тебя накормить... Ты зажаришь ее... и съешь.

— Нам на всех не хватит... Бойцы тоже голодные.

— Хватит. Вам на всех хватит...

Что они лепетали друг другу? Что бормотали?.. Никто не узнает никогда.

Обнимая ее, страшась навек потерять ее тепло и нежность, он вылепил заолодевшими губами последний вопрос, понимая, что вот-вот исчезнет все — ночь, бой, вражеский крейсер, серая сталь бесконечного моря, мертвые и раненые, пушки и снаряды, и надо успеть задать его, успеть, не опоздать:

— Кто ты?

Девочка молчала. Улыбка разрезала ветер. Волосы тучей закрыли лицо. Крюков услышал лишь призрачное, плывущее — удар крови, удар сердца:

— Я твоя...



Амарсана УЛЗЫТУЕВ

ИЗ ЦИКЛА «УТРО НАВСЕГДА»

БРОДЯГА

Человека, влюбленного в землю, в планету Земля,
Бредущего по ней босиком в сентябре, 10 сентября,
Я догнал у метро и узнал, что его зовут Эрик,
И что он французский поэт, когда он немного ко мне привык.
Я немедленно сфотографировался с ним на сотовый телефон,
Босы ноги в пыли, обликом Иешуа Га-Ноцри был он,
Так вот, оказывается, как гуляли боги по земле планеты Земля,
Отказавшись поесть, сказал, что заночует в кустах возле Кремля.

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ

Памяти Иосифа Бродского

До слез трогает обряд скандинавский —
Одаривать деньгами мысли циолковские,
Помню, в детстве, обычай бурятский —
За то, что я ребенок, совали целковые.
Стоит король шведский с хадаком шелковым
Благодарности человечества и улыбается,
И с ним вся родня его, языками цокая,
Тебе, вечному ребенку, радуются не нарадуются...

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО БОРХЕСУ

Как ты хороша,
Катишь свои желтые волны по мне,
Ли Тай-бо мог бы мною гордиться —
Лирикой переполнен десяти золотых веков...
Женщины бывают:

1. Принадлежащие Императору;
2. Набальзамированные;
3. Захваченные в плен за Великой стеной;
4. Девочкой;
5. Русалкой;
6. Цветочной феей;
7. Старухой с сумой;
8. Включенной в эту классификацию;

9. Вопящей как сумасшедшая;
10. Нарисованной тончайшей кистью из верблюжьей шерсти;
11. Прочей;
12. Разбившей цветочную вазу;
13. Похожей издали на муху;
14. Китайкой до самого утра...

АСТЕРОИД

Космоса где-то
Космы и косы откинув,
Лебеда на подносе, ледниковый период, аккуратно неся,
Лето и лепет умолкнут на тысячи лет,
Лап и ладоней Земля
Ласково так уже не попросит крутиться...
Словно чиновник какой, причинно-следственных связей закон всемогущий —
Слово, которое было в самом начале и тварей,
Пером огненным, заратустроликим, и что-то там еще на планете
Перечеркнул,
Как документ равнодушно и в ультрамарин бесконечного космоса смотрит земля,
Карму дурную сжигая последний вулкан догорает,
Как это так — никому не дано из живущих стать Богом,
Стать Его Сыном,
Стать Его Другом,
Стать Его Богом.
Поэтому, как черновик с динозаврами эта планета...
Поэту работать еще и работать.

БОГ

Болят в груди, когда кто-то умирает из близких,
Балуется ребенком на песочке у реченьки,
Бачит голосом грозным из-за туч,
Баиньки горлит матушкой-голубкой над младенцем.
Может накормить люд честной пятью хлебами,
Мочь Он может вселенную из ничего, но...
Былинкой, ставшей ничем, жизнью и смертью, сгинувшими ни во что, пустотой,
Бывшим космосом, короче
Б.у.
Быть Он не может...

УТРО НАВСЕГДА

Влюбленный в Землю,
Велю себе восходы и закаты,
Люблю себе могучие рассветы велеть оленьим ревом
Любо мне, любо губы лютневой музыки цикад целовать,
Лепо, мне лепо песни старинные славян моих листьев петь,
Сладких-пресладких утренних рос хороводы водить,
Славу оратаям своим шмелям сердцестана рокогать,
Вечности нежной когда-то с утра
Весь я тобою, одною тобою рекою нежен,
Утро неутолимой красоты это ты —
Мудро...

Алесь ПАШКЕВИЧ

СИМ ПОБЕДИШИ

Р о м а н - п а р а б о л а

Все исчезает — ничего не меняется.

0.

Август 2010 года.

«Если б страх спасал от смерти — зайцы жили б вечно», — подумал он и вызвал лифт.

Серебристые двери раскрылись беззвучно. «Цивилизация», — помотал головой Николай Заяц и нажал на нижнюю кнопку. Спустился в долгий тоннель подземного перехода, скатился, держась одной рукой за перила, по пандусу к стеклянным дверям, перед которыми «цивилизация» и закончилась: как их открыть? Наклонился, оттолкнул, но инвалидная коляска отъехала назад. Это заметила моложавая брюнетка в коротком черном платье с вертикальными волнами стразов на спине, придерживав пружинистые двери. Но проем был мал, и колесо несколько раз цеплялось за металлический стояк. Наконец он выкатился и улыбнулся девушке:

— Спасибо, красавица. Дай бог тебе здоровья.

Та улыбнулась, углубив на щеках симпатичные ямочки:

— Вам тоже...

И зацокала блестящими каблучками к турникетам. А он только теперь понял, что не знает, как и где платить за жетон или карточку. Все, казалось, продумал, а вот это...

— Пожалуйста, проезжайте, — контролер отбросила цепочку. — Не бойтесь, в другой раз купите... Молодые люди! — остановила она долговязых парней. — Помогите дедуле на эскалаторе... Додумались же наверху льготы отменить...

Заяц остановился у края платформы, поближе к громадному зеркалу — чтобы попасть в первый вагон. Дохнуло прохладой и железнодорожной смазкой, после чего из тьмы настороженно блеснули фары электрички.

Между бетоном с желтой полосой и поездом — с полпяди пространства, одолеть которое помог усатый человек с затемненными очками в форме машиниста метрополитена.

— Осторожно, двери закрываются! Следующая остановка — станция «Ноябрьская», переход на Заречную линию, — прозвучало дикторское сообщение.

Поезд тронулся и начал набирать разгон. Усач подошел к дверям — не тем, на которых белела надпись «Не прислоняться!», а почти невидимым, в кабину машиниста, закрытым изнутри, вынул из кармана фиолетового пиджака специальный накид-



ной ключ, крутанул несколько раз и, взглянув на инвалидную коляску, незаметно нажал на никелированную ручку. Дверь тихо закрылась за ним.

— Служба безопасности метрополитена! — выкрикнул усач оторопелому машинисту. — Поступила информация, что на линии — пьяный. Проверка. Пожалуйста, дышите вот сюда, — вытянул из внутреннего кармана баллончик, наклонился над машинистом и неожиданно пшикнул в лицо. Машинист было вскочил, но мгновенно ополз, а усач открыл форточку, отодвинул безжизненное тело и толкнул рычаг скорости от себя — поезд замедлил движение.

В это же время Заяц достал из кожаного дипломата, привязанного к инвалидной коляске, включенный ноутбук, по электронной почте отослал небольшой текст и спрятал назад.

Поезд скрипнул колесами и остановился. Потухли лампы освещения и экономно вспыхнули запасные, по две на вагон. За стеклами окон затихла шероховатая стена тоннеля.

— Уважаемые пассажиры, просим не беспокоиться... — прозвучал в динамиках мягкий голос усача. — На линии сбой электронапряжения. Через несколько минут продолжим движение. Руководство метрополитена приносит свои извинения. — А затем тот же голос зазвучал в радиии главного диспетчерского пульта: — Внимание! Состав № 8 первой линии захвачен террористами и, заминированный, находится между станциями «Вокзальная» и «Ноябрьская». Все требования нашей группы — на электронной почте администрации президента. Предупреждаем: с двух сторон электросостава выставлены сенсорные видеокамеры. При первом выявлении каких-либо движений спецслужб поезд с пассажирами будет взорван! Это не шутка! Конец связи...

I.

Июнь 1429 года от Рождества Христова.

Когда монах оставил пещеру, взошло солнце.

Всю ночь он молился, а над миром грохотала гроза. Молнии вспарывали небесные хляби и падали в морскую бездну. И тогда ревел гром, стонали земля и горы, страшное эхо катилось с высот — словно разом взрывались тысячи иерихонских труб или насмерть бились за пространство дохристианские Зевс и Ярило.

И опрокидывалось небо, и растекалось водой по горным кручам, и нельзя было понять, где низ и где верх, где тропа человеческая, а где богова, где воображение и где жизнь.

Затем все утихло. И было слышно, как слова сливались с шуршанием ручейков, по которым небо стекало в недалекое море.

А когда взошло солнце, монах-отшельник оставил пещеру.

Тут, на Афоне, он жил с солнцем и ветром, сытился земными дарами, крепился святым духом. И просил бога навсегда оставить его тут — однако недавний сон заставил прервать скит и спуститься в земные хлопоты...

Дорога отобрала все старческие силы, но он не чувствовал этого. Не ощущал ни сбитых ног, ни задубелой от грязи тоги, ни обжигающей жажды. Шел и шел, шаркая посохом, плелся и полз, когда открывался горный склон. Радовался дневному свету, а краткие ночи проводил в сонном мороке. И брел дальше — пока не увидел перед собой монастырские ворота.

Сил поднять железное кольцо и постучать уже не осталось. «Спасибо тебе, боже», — выговорил или подумал монах — и упал на жухлую траву.

Первыми его заметили рыбаки, которые привезли из Салоников муку и воск. Они занесли старика за монастырские стены, положили в тень кипариса и сообщили игумену Нилу. Когда тот пришел, монах уже очнулся и радостно смотрел на церковный крест.



— Брат Филофей?.. Приветствую тебя, боголюбивый друг! После нелегкой дороги окажи любезность — будь гостем в моей келье. — Игумен оглянулся на молодого келейника, чтобы тот помог, но старый монах неожиданно упал к их ногам.

— Евлогите!¹ — прошептал он традиционное афонское приветствие, перекрестился и стал просить прощения, но слова утопали в пересохшей глотке.

— О Кириос², — смутился игумен.

Он послал келейника за водой и попробовал поднять старца Филофея, но тот опять лег на землю и одержимо зашептал:

— Жгут тело мое грехи непогасные, камнями их руки и ноги мои отягощены, и нет мне прощения за то, что выпросил я у Бога скит высокий — и оставил его...

Слезы текли по худым щекам, по старческим морщинам и кровавым царапинам. В седую бороду вплелось несколько сухих листьев айвы и оливы: пещера Филофея была в Каруле, наисуровейшем афонском месте.

Игумен Нил присел к старцу и провел ладонью по его хитону, точнее — по тому, что осталось от него после долгого отшельничества. Филофей, предшественник Нила на игуменстве, двенадцать лет тому подался в скит — и явился словно из воспоминаний.

Прибежал келейник. Хоть Филофей и не пил уже трое суток, но воде не обрадовался — сделал три небольших глотка и отдал корец. И, став на колени, заговорил звучнее:

— Как учил отец Иоанн, Синайский игумен — оставив людской мир, не прикасайся более к нему, ибо страстям удобно сызнова возвращаться. Молитесь, братья мои во Христе, дабы те страсти меня опять не полонили...

Игумену и келейнику удалось поднять монаха и отвести в трапезную. Но и от скромной монастырской еды тот отказался:

— Не могу я сытить тело, не утолив сперва душу молитвою, а глаза — созерцанием святых икон. Оставьте, братья любые, меня в молитве, а потом я поведаю вам о причине прихода.

Филофей так и не вошел в церковь — встал на колени перед каменными ступенями и сам окаменел на весь день. Уста трепетно шептали слова к Всевышнему, а глаза, по-прежнему глубокие и молодые, искрились слезным очарованием и смотрели куда-то вперед — через церковные стены, через время и пространство...

Стук деревянной колотуши пробудил его. Была середина ночи, и монахов звали на службу. Афон начинал молитву за благостояние мира, и Филофей вместе со всеми, но последним, вошел в храм. Все окутывал сумрак, только мерцали под иконами несколько тусклых лампадок.

Отслужили утреннюю с полиелеем, и когда запели Херувимскую — настал рассвет.

— Кирие элейсон! — прозвучало справа от алтаря.

— Господи, помилуй! — повторил-подхватил низкий голос.

Ничто не способно передать ощущение вечности и возвышенности так, как греческие церковные песнопения.

После литургии монахи перешли в трапезную, где по поводу воскресного утра к чаю с хлебом добавили мед, халву и тахину. Неспешно расселись; игумен пригласил в голову стола старца Филофея, но тот опять отказался от еды и направился к возвышению читать: в монастыре во время трапезы звучали жития святых. А когда позавтракали и еще раз общей молитвой поблагодарили Создателя, Филофей попрощался.

— Братья мои во Христе, — молвил он тихо, — хотел я окончить путь свой в пещере отшельника и там отдать дух свой милостивому Богу. Но сподобил Он меня, грешного, на другое: послал недостойным глазам моим сон неожиданный. Разбуди-

¹ Благословите! (греч.)

² Господь благословит (греч.).



ла в нем меня доброславная афонская опекунша и Всевятейшая рода нашего покровительница Матерь Божья и сказала: «Не спи, человек! Глянь, не рассвет на востоке разгорается, а пламя душегубное». И посмотрел я на восток, и сердце мое онемело. Увидел я стены Царьграда в огне дымном, а над храмом соборным — двух голубей. В клюве у белого — пшеничный колос. Черный же бьет его яростно, а из колоса не зерна выпадают, а слова Божии. И упала первая стена константинопольская... И опять сошлись голуби, и вторая стена обвалилась. И в третий раз ударились — и исчезла стена Верхнего города. И гром трубный зазвучал надо мной. И увидел я, как водой улицы заполняются, как рушится купол соборный, а на алтарь белый голубь падает. «Иди и расскажи», — говорила Опекунша Небесная, и увиделось мне, как в пламени слова Божии горят — книги Святого Писания... — По трапезной пробежал тревожный вздох, и старец возвысил голос: — «Иди и расскажи», — повторила Повелительница Целомудрия, и увидел я, как вошла Она в огонь и вышла неповрежденной, и положила на воду книгу, и сказала: «Вот тело Сына моего». И развернула книгу, и перст свой к строкам приложила, и сказала: «А это кровь Его»... — Старец помолчал и окончил: — После того сна и спустился я со скита своего. И не устану просить вас, братья мои, о молитвах к Богу милостивому, чтобы простил исход мой.

Он перекрестился и вознамерился было выходить из трапезной, но монахи бросились, перебивая друг друга, спрашивать, что означают те небесные знаки.

— А то, что ожидают народ христианский новые испытания, — Филофей приблизился к игумену, положил ему на плечо свою тонкую руку, проникновенно посмотрел в глаза и подытожил: — Пройдет два раза по столько, как я оставил наш монастырь, и Царьград Константинополь захватят иноверцы. И ты, брат Нил, должен поехать к патриарху и предупредить его об опасности. Не воскреснуть тому, что не умерло. Но тело Божье от крови Его отделять нельзя. В Константинополе хранится наибогатейший скрипторий. Защитите слово Спасителя!

— Брат Филофей... — голос игумена задрожал. — Вместе и в молитвах, и в делах заботиться о том будем.

— Не суждено тому сбыться, — прочувствованно улыбнулся афонский старец. — Через семь дней Всевышний позовет меня на суд Свой строгий...

* * *

Сентябрь 1429 года.

Горело солнце над святой горой; чтобы не щуриться, игумен Нил надвинул на седые брови остроконечный куколь потертого схимнического хитона.

Берег отплывал дальше и дальше, а Нил не мог оторвать от него проясненного взора. Что было в его глазах, исполненных воды и неба, печали и надежды? Что, помимо молитвы, было в душе его?

Когда отошел к Богу старец Филофей, в монастырской церкви заплакала икона Божьей Матери «Троеручица», а наутро после похорон старца в келью игумена влетел белый голубь, сел на подоконник и не шевелился всю молитву.

И тогда игумен решил отправиться в Константинополь, к патриарху — поведать о Филофеевом сне да попросить святого совета.

Афон с корабля уже казался небольшой ладонью — только обручальный перстень тучки зависал над горой. Там, подумалось игумену, и сливалось небо с землей.

Еще в языческие времена на полуострове возвышалась позолоченная статуя Аполлона, а на горе стоял его храм. И само место называлось Аполлониадой. Позже там возвели храм Зевса, которого по-гречески называли Афос (Афон). Ныне же и до скончания мира тот край с небесным связывает имя Божьей Матери. Когда она плыла к Лазарю на Кипр, на море разразилась буря — и корабль прибило к скалистому афонскому берегу. Говорят, когда святая Мария ступила на него, статуя Аполлона упала...



— Будет ли у нас, отче, хороший улов? — спросил игумена старший рыбак (в конце пути собирались забрасывать невод, чтобы продать рыбу на константинопольском рынке).

Игумен Нил улыбнулся, провел ладонью по мягкой бороде и молвил:

— Я же не гадалщик, человек. Никому из смертных не дано знать о жизненной ловле. На то есть вечный ловец душ — Бог наш небесный. Попросите милости Его — и будет вам улов...

Еще три раза выныривало из морских глубин и гасло в порозовевшей воде сентябрьское солнце, пока их корабль сбросил якорь на дно бухты Золотой Рог.

Говорят, остров — ворота Босфора — напоминает голову орла. Орел о двух головах — герб Вселенской Константинопольской Патриархии и нынешней императорской династии Палеологов.

В давние времена греки-колонисты основали на острове город Византий в честь своего вождя Византа. Затем он стал новой столицей Римской империи и назвался Константинополем — в память о первом христианском императоре Константине Великом. Из Рима, Афин, Эфеса и других городов сюда свозили лучшие скульптуры, ценные рукописи и талантливых архитекторов.

С тех пор канула тысяча лет, а просоленный Мраморным морем и усушенный близким солнцем город выглядел молодым и бодрым. Как и раньше, стекались на форум, рыночную площадь, торговцы и купцы; возвышался над сонной зеленью Буколеон — императорский дворец, за ним вползали желтые каменные стены цирка, театра; пониже, вдоль пыльных улочек, теснились двух-трехэтажные домки с аркадами, общественные бани, которые едва ли не встык лепились к старой городской стене.

Теперь же город перелился и через ту, и через новую стену, его защищали уже три ряда каменной тверди с глубокими гнилыми рвами перед каждой и девяносто шесть сторожевых башен. И семь обшитых толстыми металлическими листами ворот.

Когда утомленный дорогой игумен с помощью келейника спустился в лодку, что-то блеснуло в его глазах.

— Хвала Тебе неизмеримая, Небесный Создатель, — прошептал Нил и перекрестился.

На опаленном горизонте вынырнул золоченый купол Святой Софии...

Только к концу третьей варты афонский игумен попал в Верхний город.

— Его Величество Божественное Всесвятейшество Архиепископ Константинопольский, Нового Рима и Вселенский Патриарх, — сообщил патриарший распорядитель, — сможет принять вас после вечерни. — И пригласил в гостевую комнату, где монахи, Нил и его келейник, смогли умыться и отдохнуть с дороги.

Службу в Святой Софии они никак не могли пропустить, даже если бы раскрылись небеса над Вечным городом и зазвучали трубы иерихонские. Келейник был в храме впервые, а игумен Нил, хотя в свои молодые лета служил тут дьяконом, тоже почувствовал неопишемую окрыленность при созерцании величественных стен. Внутри они, как и пол, до самой мозаичной возвышенности покрыты природными росписями мрамора с белыми, бирюзовыми и огненно-коричневыми вертикальными разводами. Вот и харалагин, двери, через которые можно выйти на каменный пандус и добраться на верхнюю галерею, к золотым архангелам, и сверху вбирать в дрожащую душу храмное пространство.

Громадный купол, который, казалось снаружи, втискивал святыню в грешную землю, внутри на ладонях двух нефов выглядел легким и возвышенным. Быть может, из-за солнечного венца врезанных в него овальных окон или благодаря высоким позолоченным фрескам, или из-за стройных колонн, а может, от молитвенных слов, звучащих под тем куполом.

— Евлогитэ! — игумен упал на колени, когда патриарх вошел в свою тронную комнату — переодетый, в простом подряснике. На голове вместо сферического клобука была белая скуфия.



— Бог благословит, мой дорогой брат! — ответил патриарх и тоже стал на колени перед гостем. — Думал, уже и не повидаю твою мудрую седину.

Они обнялись и присели на скамью, стоящую вдоль стены с высоким арочным окном. Слева от них на покрытом дорогим ковром возвышении стоял золоченый патриарший трон с бархатной подушкой. Он никогда не пустовал: на нем находилась книга древнего рукописного Евангелия в золотом переплете. По обе стороны трона — глиняные вазы-горшки с длинными пальмовыми ветвями. Простой же деревянный столец патриарха был под возвышением, но владыка сел рядом с гостем.

— Хорошей ли была дорога? И как течет жизнь на Афоне?

— Слава богу, и дороги, и жизнь наша достойны суть... — начал Нил — и остановился, не зная, как подступиться в разговоре со своей заботой.

Но патриарх словно отгадал его мысли:

— Однако вижу тревогу в глазах твоих, сказывай.

— На двенадцатом году черного скита открылось нашему старшему брату Филофею видение небесное: Матерь Божья показала ему бой двух голубей, черного с белым. И увидел брат наш... смерть Константинополя и разрушение Святой Софии... — игумен испуганно перекрестился и отвел от патриарха глаза.

Через окно в зал заползали первые вечерние тени. Блеснула под низкими лучами остывшего светила золотая оправка Евангелия на патриаршем троне и отобразилась в светлых зрачках игумена.

— Глаголь дальше, — приказал-попросил патриарх.

Игумен вздохнул, нервно сжал зубы и продолжил:

— Опекунша Небесная спустилась в огонь высокий, в котором горели слова Божьи — книги Святого Писания... «Иди и расскажи», — приказала Повелительница Целомудрия старцу Филофею, и увидел он в том сне, как вышла Безгрешная из огня и положила на воду книгу, и сказала: «Вот тело Сына моего». И развернула книгу, и перст свой к строкам поднесла, и сказала: «А это кровь Его»...

Патриарх встал, прошел к трону, встал на колени перед Евангелием:

— Господь Бог наш! Ты поставил землю на твердых основах, не покажется она вечно! — прошептал слова псалма и, не поворачиваясь к игумену, спросил: — И как брат Филофей объяснял видения свои?

— Велел отправляться к Вашему Всевытейшеству и предупредить об опасности. «В Константинополе хранится самый богатый скрипторий, — молвил. — Спасайте и расширяйте слово Христово. Тело Божье от крови Его отделять нельзя»...

— И коим образом спастись Святому граду? Мне, может, игумен, пойти к императору и попросить его новую столицу основать, когда этой вы смерть пророчествуете?! — в патриаршие слова влетались нотки возмущения. — Константинополь теперь как никогда силен. Готовится Флорентийский собор и подписание церковной унии с Римом... И турки сейчас ослабли — Тимур-монгол на Анкаре из них надолго спесь выбил. Вспомни, как восемь лет назад Мурат Второй осмелился напасть на Константинополь — и что из того случилось?! — Патриарх напряженно помолчал, подошел и опять присел к игумену: — Ступай с Богом, брат Нил. Спасибо за рассказ. Отдохни, сколько надобно, да возвращайся крепить веру Христову в душах монашеских...

Они расцеловались и распрощались.

А ночью в патриарший сон вошла печальная Небесная Опекунша. В деснице она держала раскрытую огненную книгу, а левой рукой гладила константинопольского владыку и шептала: «Вот тело Сына моего». И книгу поближе подносила. «А это кровь Его», — и переставала гладить, и проводила перстом по строкам. И отошла в огненную сферу, откуда еще долго слышались Ее слова: «Делай, Иосиф, что надобно... Поутру явится тебе третий знак...»

Патриарх упал перед иконою Божьей Матери и долго молился, а когда поднялся на колени, солнечный свет уже заполнил храм. Там его и отыскал распорядитель —



хотел сообщить о какой-то надобности, но потрясенно застыл, прикрыв рукою рот. Патриарх встал и недоуменно нахмурился, но слуга не шевелился — как прикипел глазами к иконостасу. Оглянулся патриарх — и его как пламенем окатило: впервые на его глазах мироточила древняя икона Божьей Матери.

Он снова пал перед ней на колени и умоляюще зашептал:

— Опекунша Небесная! Сжался и помоги нам, грешным... Спаси и сохрани!.. — по его дрожащим щекам побежали слезы. Затем обратился к распорядителю и попросил как не своим голосом: — Позови афонского игумена.

Но тот, проведя ночь в молитве, как только прозвучала первая варта, направился со своим келейником к корабельной пристани. Там его и отыскал испуганный патриарший слуга. И вот игумен снова в тронном зале.

— Садись, брат, на мое место, — указал ему патриарх на трон, — а я, грешный и слепой, буду у ног твоих милости просить. — И встал на колени перед игуменом. Тот все понял и ополз, сваял возле патриарха.

Они обнялись и плакали, не имея сил на слова. И слезы были их словами.

Так и сидели — друг напротив друга.

— Что еще поведал брат Филофей? Что сам о том мыслишь?

— Думаю, что храм — внутри каждого из нас, и когда есть вера — никакой враг его не разрушит. А в каждой душе должно быть слово Божье. Думаю, — игумен вдохновенно взглянул патриарху в глаза, — святую Константинопольскую библиотеку не в одном месте хранить надобно.

— Предлагаешь перевезти скрипторий?

— Да, частично. Разделить, скажем, на три трети — и в спокойные места, под опеку братьев праведных... «Почему солнце освещает всю землю? — сказывал брат Филофей. — Потому что странствует по всему миру. Так и святые книги должны освещать все земли Господние. Особенно те, где мало света».

Опять долго молчали.

— И еще... — очнулся игумен. — Надобно ширить Евангелие и слова апостолов, святых отцов Церкви Христовой. Некогда при патриархе Фотии процветала большая школа переписчиков. Деятельность его ученика, просветителя Константина-Кирилла, от болгар до русов воплотилась в буквах и словах. И уже близок час, когда святую книгу будет иметь каждая овца Христова.

Патриарх недоуменно опустил брови, а игумен пояснил:

— Свет веры Христовой ширится по всему миру, и переписчики уже не могут, не успевают удовлетворить книгами даже священников нововозведенных церквей. Не хватает пергамента, не говоря уже о тонком велене... — И глаза Нила вдруг засияли: — Мы должны дать книжному слову новую жизнь!

Брови патриарха опустились еще ниже.

— Да, новую! — Игумен Нил оглянулся вокруг, поднялся (за ним — и патриарх) и подошел к глиняной вазе, осторожно повернул ее, прищурился: — Да, вот... — он постучал пальцем по гончарной метке. — Вот знак оттиснутый, а не написанный. Это — новое рождение и знака, и слова.

Патриарх стоял около игумена, слушал, но, было видно, мало что понимал.

— Или еще... Ваше Святейшество, сколько раз вы прилагали на буллы и послания свою патриаршую печать?

— Так разве ж то сосчитаешь?

— Вот! — обрадовался игумен. — А теперь вообразите, что печать имеет размер книги — это же сколько страниц за одну варту сотворить можно! Тысяча писцов с тем не справится!

Патриарх сжал уста, пригладил аккуратно подрезанную бороду, а игумен продолжал:

— На то мне недавно молодой монах указал, брат Максим. Он пришел на Афон откуда-то из приморской Сербии и послушником выжимал оливковое масло. Од-

нажды подложил под винт оливы глиняную доску и содеял на ней кресты Господние. Принес ко мне и сказал: «А на их месте могут буквы быть. А вместо глины — пергамен или бумага!»

После службы еще долгий вечер и бессонную ночь проговорили патриарх с игуменом. Решено было увеличить школу переписчиков скриптория и разделить древнюю библиотеку на три части. А вот куда отправлять... И кто будет охранять...

— Сколько в твоём монастыре монахов? — вдруг о чём-то вспомнил патриарх.

— Кроме тех, кто в скитах, тридцать два...

— С тобой, значит, тридцать три?

— Да... — Игумен ещё не понимал причины вопросов.

— Даже и в этом — символ... — патриарх встал и положил на плечо игумена руку. На перстнях завеселились отблески свечей. Игумен тоже вознамерился встать, но патриаршая рука остановила его, и взоры обоих встретились. — С небесной помощью Господа нашего Иисуса Христа, со святым заступничеством Матери Его Вечнодевы Марии возвещаю о создании патриаршего монашеского братства, заботами коего отныне и навеки станут сохранение да умножение слова Евангельского и книг церковных. В них наше начало и конец, и возрождение. «Исконне бо слово, — учил святой апостол Иоанн, — и Слово было у Бога, и Слово было Бог»... — На мгновение воцарилось звенящее молчание. Патриарх перекрестился и окончил: — Верую в промысел Божий, сподобивший тебя, брат Нил. Быть тебе магистром братства, и называться ему отсель и навеки в честь любимого ученика Христова апостола Иоанна...

* * *

1453 год.

Гонец из Константинополя добрался к афонскому монастырю росной июньской ночью. Монах-привратник провел его к игумену, а когда услышал новость — выпустил из рук факел.

— У меня послание от патриарха, — прохрипел измученный гонец. Его лицо было покрыто грязью и потом, и в тусклых всполохах свечей казалось восковым. Длинные волосы, стянутые на лбу бечевкой, сбились в пряди. Глаза после долгой конной дороги — морской путь был перекрыт — потухли. — Город городов Византий умер... «И затмились солнце и воздух от дыма... И с дыма вышла саранча на землю, и дана ей была власть...»

Гонец не договорил — голова наклонилась, и он тяжело рухнул на каменный пол. Пока послушник и монах-привратник приводили его в чувство, игумен, щурясь, прочел послание патриарха Афанасия, три года назад взошедшего на святой престол.

«Брат мой во Христе, благословенный Ниле! Да будет вечно с тобою Божья благодать!.. В эти страшные дни, когда рушатся святые стены Константинополя, когда иноверцы захватывают наши храмы и забирают христианские животы, пишу тебе эти последние слова свои... Будем молить Спасителя укрепить веру нашу... Ведь у Бога не останется бессильным ни одно слово...

Дорогой брат, делай то, на что благословил тебя светлой памяти патриарх Иосиф! Можно уничтожить храм на земле, но слово Божье в душах наших останется! Напоминаю откровение апостола Петра: “Словно только что рожденные младенцы, полюбите чистое молоко слова, дабы от него возросли вы ради спасения”. Верую Христовой спасемся!

Почти всю либерию вывезли мы до осады города и укрыли там, где умолвились с тобой. Византийская София рушится, но остаются еще три сестры ея, возведенные в честь и во славу Господа нашего Иисуса Христа в Киеве, Полоцке и

Новгороде. Да поможет тебе и братьям-иоаннитам Небесная Опекунша свершить задуманное.

А я молю Божьего покровительства на паству нашу и остаюсь с ней и базилиевсом...»

Очнулся гонец и стал алчно есть принесенный хлеб. Запивал квасом и виновато прятал голодные глаза. А затем заговорил:

— Татары обложили город в начале весны. Войско султана Мехмеда в сто раз превышало императорское. Султан потребовал сдать город — и взамен пообещал всем жизнь. Император отвечал его посольным: «Отдать тебе город невозможно ни мне, ни кому другому. Духом единым все умрем по воле своей и не пожалеем живота своего...» Первую осаду мы отбили, но турецкий флот вошел в Золотой Рог. Был ужасный обстрел из бомбард... И вторую волну выдержал Константинополь, но враг пробил стену перед воротами Святого Романа. Ночью началась последняя атака, бесконечная, в несколько накатов. Фанатиков разжигали дервиши. Мехмед бросил в бой янычаров... Они захватили Ксилопорт — подземный ход замка. И как призраки Апокалипсиса набросились на нас сзади... Когда утром в столицу въехал султан и отдал приказ переделать собор Софии в мечеть, около ее стен еще добивали раненых и пленных...

Игумен и монахи перекрестились.

— Как звать тебя и кто родители твои? — спросил игумен.

— Максим из Спарты.

— Что ж, Господь испытывает веру нашу... — как о чем-то другом вслух подумал игумен и вздохнул: — Отдыхай с тяжелой дороги. А мы с братьями помолимся. Иди...

Через полмесяца до Афона доплыл корабль под флагом двуглавого орла Палеологов. Несколько защитников Константинополя, генуэзцев, добрались на лодке к берегу и поведали монахам о последних минутах императора, встретившего смерть с мечом на городской стене. Около сотни христиан с остатком императорской семьи — малолетняя племянница Зоя с тетками — смогли пробиться к пристани и выйти в море.

Генуэзцы повторили игумену Нилу последние слова патриарха: идите в народы византийской веры. Попросили продовольствия, воды — и возвратились на корабль. Их ожидал путь во Фракию.

Осенью тридцать монахов афонского братства иоаннитов после трехдневной молитвы отправились под предводительством отца-магистра Нила в свой первый миссионерский поход. Их охраняли генуэзцы, успевшие возвратиться на том же отбитом у янычар корабле к Святой горе. Преодолев морские волны и извилистые балканские дороги, они объединились со своими братьями-иоаннитами в гористом болгарском монастыре Белый, где размещался святой схрон, Константинопольская либерия-книжница, и уплыли к Крыму. Перезимовали в Судакской крепости и, когда с рек сошел лед, с помощью тамошнего десятника-проводника подались по Днепру к киевской Софии. Оттуда, оставив часть святых книг и несколько переписчиков, к следующей зиме добрались в Полоцк, где и окончились земные дни семидесятилетнего отца-магистра Нила. Перед походом, названным книжным путем из греков в варяги, Нил сложил с себя игуменские одеяния, но монахи отказались избирать на его место другого и молитвенно призвали стать монастырской опекуншей Матерь Божью.

Нил распрощался с братьями-иоаннитами на высоком берегу Двины, наложил на каждого крест Христов, поднял в небо свои светлые очи и прошептал:

— Крепите да умножайте наше дело, Богом данное.

А затем низко поклонился.

— Слышу колокола Божьи... — были его последние слова.



1.

1963, 1969 гг.

Николай Заяц видел такое лицо уже второй раз — словно его покрутили в стиральной машине, а затем, пересушенное, поутюжили. Ни одного мимического движения! Даже глаза — словно затянуты олифой, как маслины в вкусном рассоле.

И разговор начинался с одних и тех же слов. Вначале это было у заведующего кафедрой, через несколько дней после защиты кандидатской.

— Поручение, Николай Семенович, имеется... по теме вашей научной работы. — И зрочки-маслины вздрогнули. — Лекционную нагрузку перенесем на зиму, а тут надо постараться: сами понимаете — запрос сверху. Инструкции — на месте.

И вот он — впервые за стеной, в самом что ни на есть «сердце Родины». Вдоль Дворца съездов вся их группа, семь человек, идет молча и настороженно. Справа — Успенский собор, усыпальница митрополитов и патриархов, слева — звонница Ивана Великого с двумя луковичами-куполами. Самое высокое строение Кремля. Говорят, там колокол — в шестьдесят пять тонн.

Наконец и их цель, Архангельский собор. Встречает своей некогда белой симметрией. А воздух солено-терпкий... Может, от недалекой реки за стеной? И в голове — все, что можно было наскрести в исторических источниках.

Еще при брате Александра Невского Михаиле Ярославовиче на этом месте соорудили деревянную церковь в честь архангела Михаила. При Иване Калите вырос каменный храм, как свидетельствуют летописи — в знак благодарности за спасение Московии от голода. Калиту первым и похоронили под сводами еще не завершенной святыни, ставшей княжеской усыпальницей. А в начале XVI века храм перестроили. Начались реставрации, последняя из которых затевалась на их глазах.

Строительные леса обхватывали собор, который показался Зайцу развернутой книгой. Все вместе теперь выглядело как зарешеченный манускрипт. И прочесть его — непростая работа, порученная министерствами культуры и образования их сводному археологическому коллективу под руководством профессора Федорова.

Узкие щели окон, тяжелый, вытянутый с востока на запад прямоугольник стены. Какое-то необычное торжественно-траурное настроение (считалось, что опекун собора архангел Михаил был проводником душ в царство вечности). Ну а храм, подумалось Зайцу, контрольно-пропускной пункт на тот свет, из-за чего и доставалось его стенам во все времена. Как упоминается в летописях, в 1450 году во время грозы в храм попала молния, а через четверть столетия внутри града произошел пожар. В 1505-м князь Иван Васильевич приказал разобрать старую церковь и заложить новую. И умер. И стены собора, которые достояли до этих дней, воздвигали уже при его сыне Василии Третьем. Курировал стройку миланский архитектор Алевиз Фразин, следивший за сооружением всего каменного Кремля. В войну с Наполеоном французы приспособили храм под кухню и казарму. Разворовали золотые оклады, а из иконостасов сделали скамейки и кровати. Наново приходилось воссоздавать внутреннее убранство. А в 1917-м собор повредили при обстреле Кремля и через год закрыли. Теперь же, после открытия тут музея, началась очередная реставрация — уже внешнего вида памятника. Их же «наделом» был нижний ярус с похоронными криптами...

Необычайное ощущение возвышенности заполонило Зайца — чувство, пережить которое в последний раз сподобился в детстве, когда бабушка привела его в местную церквушку. Как все давно — и относительно близко...

Голодное детство в оккупированном городке — и он, длинноухий малец по фамилии Заяц, подался учиться в прусскую школу и записался в Союз свободной молодежи: хоть кормили два раза на день да одевали. А через семь лет приехал в столицу, сдал на отлично вступительные экзамены в университет — и та конопляная одежда чуть боком не вылезла: вызвали к особисту на «чистец», и спасло только то,

что в автобиографии о Союзе сам искренне признался и... не отказался от сотрудничества.

Словом, поджал уши — и голову в траву. И был зачислен на исторический факультет, отучился, избегая неприятностей, пробился в аспирантуру. И вот он, уже кандидат исторических наук, вновь отрывался от реальности.

Только сумрачно, пусто — и хриплое эхо под ногами да за исцарапанными колоннами. Только ни единого всполоха восковой свечи, и пахнет застарелой плесенью, как в заброшенном подвале.

Главная святыня собора — икона архангела Михаила. Слева от Царских Ворот — икона Божьей Матери «Благодатное небо», во весь рост, в ярких огненных лучах, как иллюстрация к Откровению Иоанна: «И явилось на небе великое знамение: жена, облаченная в солнце; под ногами Ея луна... И родила Она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным...»

Жезлом железным — повторилось в нем, когда гуськом, один за другим, дошли к ранним фрескам с сюжетами притчи о богате и Лазаре на стенах в дьяконнике нижнего яруса, где устроена усыпальница Ивана IV Васильевича, прозванного Грозным. Усыпальница первого московского царя, расширившего государственную территорию. Его похоронили тут, под стертыми плитами пола, и останки его — среди сорока шести белокаменных плит в бронзовых футлярах с растительным орнаментом и надписями вязью.

Эксгумация останков Ивана Грозного и есть цель их необычной «экспедиции».

— Значит, так... Повторяю еще раз: особое внимание — на посторонние предметы. Отмечаем все, что похоже на книгу или не является фрагментом трупа... — напоминает «ученый в штатском», заместитель начальника управления КГБ.

Бронзовую крышку вскрыли легко, а вот плита поддаваться не хотела. Сломался один из домкратов, и на пол начала вытекать желтовато-ржавая жижа. Пришлось подымать поочередно края и подставлять деревянные клинья.

Шершавый скрип, словно кто-то идет по сухому мху или песку... Ощущение не из приятных в этом накачанном электрическим светом мертво-каменном пространстве. Как чьи-то шаги... Рассказывали, что к крипте Ивана Грозного приходил Сталин: постоит с незажженной трубкой, молчком покивает головой — и медленно назад. Одна рука за спиной, другая, с трубкой, спереди...

Наконец и сам гроб — как церковная рака, покрытая серебряными пластинами.

— Осторожно. Не выпустите джина... — игриво шепчет «ученый в штатском», когда опытные археологи мягко поднимают крышку.

Сероватые кости отделены от хребта... Возносятся-крепятся только шесть верхних ребер, почти пять столетий тому прикрывавшие властную грудь. Правая рука, вернее, то, что от нее осталось, словно надломлена и подсунута под спину. На ней, а также по вертикали скелета — фрагменты посеревшей ткани. Кости ступней обращены в одну сторону и упираются в стенку гроба.

Профессор Федоров монотонно диктует протокол-стенограмму эксгумационного осмотра. На очках суетятся электрические блики.

«Ученый в штатском» нежно постукивает ногтем по черепу (ассистент-археолог тупо смотрит на свою кисть) и резюмирует:

— А еще сильный...

Затем его лоб морщится:

— Что это?! — указывает пальцем на ржавую цепь с большим крестом.

— Перед смертью в марте 1584 года царь Иван IV принял схимонашеский постриг с именем Иона... — словно читая, выговорил Заяц и неожиданно почувствовал, как ноги начали становиться ватными. Спина похолодела. Закрыл глаза — а перед ним опять лампочки. Одна, две, три... — насчитал пятнадцать. Через мгновение они помутнели и перестали резать зрачки. Под тонким стеклом колб — почему-то не спирали, а... кости. Потолок задрожал, и лампочки начали падать-биться. Только по-

чему-то не на стеклянные осколки, а в белую пыль. Как мука. Мука от смолотых костей...

— Ясно! — прерывает наваждение «ученый в штатском». — Кроме цепи и железного креста прочих предметов в гробу нет. Работайте дальше! — и уверенно подался к выходу.

Во время тех раскопок в Архангельском соборе под солеей и западной частью были выявлены фрагменты кладки еще XIII века. Новые же стены храма воздвигались из белокаменных блоков, пол — из кирпича и керамических плит с желтой и зеленой поливой.

В эксгумированных царских костях химическим анализом было выявлено аномальное содержание ртути — в двадцать четыре раза превышающее норму.

— В те времена она была лекарством. Ртутью от сифилиса лечились... — поговорили в лаборатории и сделали соответствующее заключение, оставшееся, как и все материалы работы эксгумационной комиссии, засекреченным.

То было в 1963-м. И вот через шесть лет перед ним, уже доктором наук, автором нашумевшей работы «Идея власти и народа в развитии русской государственности в XVI веке», опять то же выражение лица — перекрученного в стиральной машине, пересушенного и отутюженного, без какого-либо мимического движения. Только лицо уже не заведующего кафедрой, а проректора по науке. И зрочки-маслины словно выцвели.

— Имеем, Николай Семенович, приглашение на международную научную конференцию. Тема — близкая вашим штудиям. Решили вот командировать за границу. Только есть одно обстоятельство... — проректор повернул голову в сторону мужчины, молча сидевшего с краю стола. — Познакомьтесь — Субочев Виктор Александрович. Впрочем, вы с ним уже знакомы... Он поможет с некоторыми нюансами. Ну а я, простите, должен идти. Зачеты... принимаю. Желаю успехов.

В ту же минуту Заяц узнал человека за столом, «ученого в штатском».

— Николай Семенович, вы давно были на море? — интригуяще начал Субочев.

— Давно. Еще студентом в стройотряде. На Черном...

— А теперь вот Адриатику повидаете! — радостно продолжил неожиданный собеседник. — Полетите в Югославию. В город Подгорица. Есть такой в Черногории... — Субочев положил руки на стол и осмотрел пальцы. — Помимо доклада и знакомства с мировой гуманитарной наукой просим вас... как бы это попроще сказать... — Он отклонился к спинке стула и внимательно посмотрел на Зайца. — Словом, такое дело. По информации наших архивистов, некогда в Москву из Константинополя от византийского императора была привезена часть древней библиотеки. Среди прочего — инкунабула... рукописная книга Евангелия от Иоанна. Уникальная историческая ценность. Имею в виду — не духовная там... церковная... Символическая ценность. Поговаривали, что она какую-то там чудодейственную силу имела... Дошла информация, что ее Ивану Грозному в гроб положили. Однако — сами видели... Оказывается, ту книгу еще при живом царе похитили и переправили из Москвы на остров Патмос, где якобы апостол Иоанн и писал то Евангелие. Но не довели. Караван захватили турки, а книга... — Субочев мягко постучал ногтями по лакированной столешнице. — Книгу ту спасли монахи и спрятали в одном из черногорских монастырей. Отыскать ее след — ваша основная задача.

Пожалуй, лицо Зайца выявило редчайшее и неопишемое удивление, поскольку высокопоставленный представитель КГБ неловко кашлянул и улыбнулся:

— Понимаю, что неожиданно... Но причина всего нашего мероприятия на поверхности: Византия канула в Лету, а Москва стала вторым Константинополем. — В его голосе начали проявляться металлические нотки: — Это на другом уровне высвечивает нашу миссию в деле единения некогда христианских народов. Дает, так сказать, полномочия на первенство в славянском мире. Идеологический, так сказать, императив. А древняя книга, если хотите, своеобразная грамота на то.



В кабинете пафосно забили часы. Субочев востепенулся и подытожил:

— Вот, в основном, и все. — Поднял с пола на стол чемодан-дипломат, с возвышенным настроением щелкнул замочками и выложил тонкую коленкоровую папку. — Тут кое-что из собранной информации. Однако, — он мягко улыбнулся, — убежден, что вы и так о многом знаете. Как о том схимонашеском постриге царя... — И после небольшой паузы завершил уже спешно и казенно: — Проявите всю надлежащую ответственность. А что о том ни одна посторонняя душа не должна знать — напоминать, думаю, не стоит. И еще... Когда понадобятся какие-либо консультации со стороны богословской, теологической — вот телефон помощника патриарха. Помогут в любое время...

Театральные движения стюардессы. С тигриным ревом турбины пожирают керосин. Нервные стыки плит на бетонной взлетке. Затяжной надрывный разбег. Хорошо, что не пожалел в аэропорте коньяка...

Непонятная далекая сила отрывает от земли — как некогда сделанные дедом качели, и все тревоги: что там? как там? — остаются позади, не успевают за самолетом. И вот — традиционная сосулька «Взлетная», неожиданная морозность в салоне, взбитые плантации хлопка в иллюминаторе. И по-детски сладкое пробуждение от незапланированного сна, когда под тобой — мутная оправка ржаво-бирюзовых гор, как через малый окуляр бинокля увиденные змейка-дорога, подосиновики домиков, разноцветные латки полей, укроп деревьев. Все вдруг суетливо начало увеличиваться и разбегаться. Надутая резина охает о разогретый бетон — и можно отстегнуть ремень.

Аэропорт «Белград». Паспортный контроль, дорога к железнодорожному вокзалу. Все же хорошо, что в Москве его устроили на самолет, а не бросили прорывать государственные границы в поезде — с пересадкой в Праге.

Однако на узком перроне в Подгорице его никто не встречал. Хотя и было оговорено. Суетились люди — кто с чемоданами, кто с цветами. Возвратился назад, к вагону, мешая пробираться к выходу другим пассажирам, тревожно встал сбоку и снова начал разглядывать прохожих. «Господар Зец — СССР», — прочитал на белом листке... Стоп, Зец... По-сербски — «Заяц»...

— Добар дан! Конференция в Подгорице?

— Да, добро дошли! Профессор Богдан Янкович, — знакомится рослый здоровяк в джинсовых шортах, апельсиновой майке и переходит на русский, изредка путая ударения: — Рад вас видеть. Пожалуйста, прошу к машине...

Белая отечественная «Застава», в багажник которой еле поместилась сумка, горделиво фыркает синим облаком, но бежит бодро. Через опущенные окна врывается солено-присушенный ветер и мягко гладит лицо.

— А я уже думал сам добираться, не сразу понял, что Зец — это я, Заяц...

— Ох... — чуть не притормозил чернявый великан Янкович, рукам и ногам которого явно не помешали бы лишние дециметры салона. — Прошу простить... Да, фамилии не переводятся! Эту бумажку мне дали в секретариате деканата. Не обижайтесь, пожалуйста.

— Ну что вы?! Напротив — чувствую себя своим! — Заяц улыбнулся и вдруг засмотрелся на сказочный пейзаж справа: гора (или скала?), привязанная-приштопанная к земле (или к небу?) деревьями, срывалась к фиолетово-бирюзовому озеру и озорно кружила вместе с дорогой. А в воде похотливо купалось солнце (или вода — в солнце?)...

— Красиво... — прошептал гость, на что шофер (на вид ему около сорока) радостно кивнул головой и поддал газа.

Его доклад был на пленарном заседании. Заяц и подготовился, и старался как никогда: неожиданный оборот в приветствии, чтобы захватить внимание зала, «анти-теза — тезис», и так далее. Он говорил о роли книги в развитии человечества, о славянских первопечатниках Скорине и Федорове.



— Вот основные чудеса света... — Заяц уверенно поднял к аудитории ладонь и начал загибать пальцы. — Монотеизм, колесо, открытие атома, полет человека в космос и... книга! — Когда он задумывался, на открытом лбу с ранними залысинами проявлялась глубокая вертикальная борозда-морщина, а длинные брови возносились римской пятеркой — как у совы. Заяц положил руки на края трибуны и после небольшой паузы закончил: — А книга может стать и международным символом. Символом единения, братства, общественной визиткой. Такой, как скипетр, флаг... Вот, например, инкунабулы Византийской библиотеки. Некоторые из них после падения Константинополя были переданы Палеологами в Москву. Например — Евангелие от Иоанна. Как свидетельствовали представители черногорской княжеской династии Негошей, она затем хранилась в сербских монастырях. Так вот, вообразите себе, — Заяц отошел от трибуны и приблизился к первым рядам зала, — если бы историки и архивисты отыскиали ее — она бы стала символом-флагом всего славянства от этих югославских гор до гор Урала!

Вопрос ему был задан только один: «Почему среди основных чудес духовно-интеллектуального развития человечества вы не назвали открытие Солнечной системы?»

— Гелиоцентризм, по моему мнению, не оказал существенного влияния на культуру. Ну, крутится Земля вокруг Солнца... или нет. Человек видел, как вечером солнце прячется, умирает, а утром снова рождается. Это оставило отпечаток в его психологии, отобразилось в мифологии и фольклоре.

В перерыве многие подходили к нему, хвалили за доклад, но не было ни единого, даже косвенного намека на книгу Евангелия. Пусть иностранцы, немцы или французы, понятия о том не имеющие... Но здешние — сербы, черногорцы...

Вечером было застолье. Море традиционной ракии, коньяка, ликера «Горький лист». Любил Заяц это дело, но сдерживался — кто его знает, как там обернется... Все же — зарубежье.

Назавтра работали отдельные секции, и он пошел на «Культуру и историю Балкан». Послушал добротный доклад профессора Янковича о роли национальной поэзии в становлении сербской государственности, еще с десяток выступлений — и после кофе-паузы отправился в гостиницу отдохнуть. Спозаранку были запланированы экскурсии: теплоходом в Бока-Которский залив, на Скадарское озеро и в Цетиньский монастырь. На выбор. Разумеется, он предпочел последнее — в монастыре хранилась древняя библиотека.

И вот полупустой «Икарус» быстро отмерил полусотню километров от Подгорицы и закричал по узким улицам Цетини.

Городок был залит солнцем и перезрелым запахом смоковниц. Старательно склеенные из камней сонные стены монастыря. До лоска натертые подошвами ступеньки. Прохлада и медовый блеск иконных окладов церкви.

— Не хотите, gospodar профессор, побыть около мощей святого Петра? — прервал задумчивость тихий голос Янковича.

— Да, конечно.

В небольшой комнате под белыми сводами стен перед овальным окном стояла рака. Над ней — три скромные иконы. Монах в черной рясе и две старушки в длинных платках стояли на коленях перед мраморным возвышением. Янкович перекрестился, за ним машинально и Заяц.

«Ну вот, — подумал, — советский ученый, коммунист... Видел бы кто из наших...»

Затем они сидели на каменной скамье под тенью неизвестного дерева с толстыми и продолговатыми, как рыбы, листьями и ждали остальных.

— А большая библиотека в монастыре? — как сквозь дремоту спросил Заяц.

— Да, — коллега загадочно ожег его искрящимися зрачками. — Но византийского Евангелия от Иоанна там нет.



В последний день конференции Янкович пригласил Зайца к себе на ужин — в красивый белый дом под красно-рыжеватой крышей. Вместе с ним жил старик-отец, профессор истории. Невысокий, сухой, седые брови и ресницы, но под ними — живые каштановые глаза. Обрадовался гостю, похвалил, что поклонились Петру Цетиньскому. Говорил по-русски почти без акцента, только изредка вставляя сербские слова:

— С ним, святым Петром, и вашей страной — целая история. Когда подкрепитесь и захотите послушать старика, могу поведать... — и с четверть часа в тенистой прохладе звучал его лавровый голос: — Святой Петар Цетиньский, наш чудотворец и создатель государства, учился в вашем Петрограде, а потом уже как архимандрит отправился к царице Екатерине просить помощи своему православному народу. А царица его не приняла... Затем его рукоположили в Карловцах в сан архиеерея Черногорского, на что было получено разрешение австрийского императора. И снова подался Петар к своим братьям по духу и вере — с просьбой о поддержке, но князь Потемкин приказал его выгнать из Петрограда. Бедолагу бросили в полицейский экипаж и гнали день и ночь без отдыха к самой границе — как ростовщика, а не архиеерея. Мол, какой архиеерей без разрешения русийского Синода... Вот как! Словно не все общее под Божьим небом и не одинаковой силы... — Старик сморщил лоб и часто заморгал глазами, кашлянул, глотнул остывшего чая и продолжил: — А когда возвращался Петар, на Черногору напали турки, скадарский визир Махмут-паша Буш. Много людей истребили. Разграбили Цетиньский монастырь. И были голод и холод, и ели кору деревьев, и мололи на муку коренья и траву жученицу... И не было поддержки от русийского православного брата.

— Простите, а в каком это было году? — прервал Заяц.

— В 1785-м. В конце, словом, XVIII века. — Старик взглянул на напряженного сына и смягчил свой тон: — Вы же, я думаю, не будете обижаться на мою критику политики русийского царизма? Она же теперь по всей вашей истории разоблачается... — Взглянул внимательно, снова глотнул чаю. — Так вот, турки еще дважды за несколько лет нападали. И избранный митрополитом святой Петар у Бога покровительства просил. И победили Буша и его войско... — Старший Янкович помолчал и добавил как что-то наболевшее: — Не понимаю я европейскую и русийскую политику... Что есть наши Балканы? Это последний рубеж-бастион православия, славянства, если угодно. Земля, прижатая с юга неугомонным исламом, а с севера — утомленным католицизмом. Ослабеем мы — завтра воинствующий ислам войдет в надувену... тщеславную Европу! Покоримся мы — и кто из славянских народов поверит богатой и сильной Руси?

— Насколько я знаю, Россия и раньше не забывала о югославских народах. Царь Павел Первый даровал упомянутому митрополиту Петру орден Святого Александра Невского. И во времена войны с французами помощь была... — словно оправдываясь, уточнил Заяц.

— Да кто же оспаривает! «И раньше не забывала...» Не буду о недалеком — о споре Сталина и Тито. А тогда, при святом Петре, русийскую... русскую империю наполеоновский петао... петух клюнул! Вот и закрутились. А в то время Священный Синод Русской церкви признал митрополита Петра бездельником, учинившим «грехи тяжкие»: при нем, мол, монастыри опустели да паства уменьшилась. Словно не войны тому виной... А еще — присланные из Руси книги он, мол, не читал и, спасая свой народ от голода, заложил какие-то монастырские богатства купцу из Боки.

— Добар дан! Я вижу, у нас гости! — У стола появилась — пришла с работы — стройная загорелая молодлица. — Богдан! Папа!.. Ну что это за угощение... Подождите, я сейчас приготовлю...

Пока что-то аппетитно жарилось и шкворчало, младший Янкович изменил тему:



— Профессор Заяц интересуется штампованием книг... книгопечатанием. И вообще — историей инкунабул. В частности, византийским Евангелием от Иоанна.

— А, Евангелле по Йовану?! — оживился старик Янкович и, сведя выцветшие брови, спросил: — А вы слышали о братстве иоаннитов?

— Не довелось...

— Его создали в XVI веке под патронажем византийского патриарха афонские монахи. Их целью было сохранение и распространение Божьего книжного слова. В наше время похожую миссию исполняют Гедеоновы братья. Иоанниты долгое время и хранили упомянутое Евангелие.

— А потом с племянницей Палеолога привезли в Москву, откуда оно попало на территорию Югославии? — не сдержался Заяц.

Глаза старшего Янковича сузились. Он задумчиво сжал, даже прикусил тонкие губы:

— Да, если быть более точным — сюда, в Черногору. — И старик, словно что-то вспомнив, заговорил о другом: — Так вот, архиереи русский Синода и обвиняли митрополита Петра в том, что он то чудодейственное Евангелие продал купцу из Боки Которской. А если вырученные деньги пошли на еду голодным детям?! Что может быть важнее здоровья души христианской?! Митрополит же не продал свою веру или слово Божье...

— Ну да... — поддержал его Заяц и неожиданно переспросил: — И все же он продал то Евангелие?

— А кто ж его сейчас знает... — через настороженную паузу пожал плечами старший Янкович и подытожил: — Не понимаю я суеты вокруг той книги. Евангелие и Евангелие. Вон их теперь сколько современной печатью размножено! И все они одинаковую силу имеют, ведь через одного Христа даны.

— Да, — опять согласился Заяц и, напряженно шевельнув головой, спросил: — А почему именно евангелиста Иоанна выбрали своим патроном афонские книжники?

— Потому что на него, — старший Янкович словно ждал этого вопроса, и лицо его радостно изменилось, — на него первого, хоть и был неграмотным, снизошел дар духа Святого: Иоанн провозгласил то, чему другие три евангелиста вначале не научили. Он говорил об утелесовении Слова: «И Слово стало плотью».

— А почему Иоанна называют любимым учеником Иисуса? — расспрашивал дальше Заяц.

Старший Янкович улыбнулся:

— Чудны деяния твои, Господи... Только не обижайтесь, пожалуйста... Я и представить не мог, что советский профессор, коммунист, проявит столь глубокий интерес к «опиуму народа», как называл религию Маркс. У Господа, дорогой друг, все чада паствы Его — любимые. Среди них — и святой евангелист Иоанн. Он, если хотите знать, родственник Христу... Его племянник. Да! Иосиф имел от первой жены семеро детей: четырех мальчиков и трех девочек: Марфу, Эсфирь и Саломею. Саломея родила Иоанна. А затем Иосиф помолвился с Марией, от которой с Божьей тайной и родился Христос. Ко всему, святой Иоанн, о котором вы спросили, упоминается во всех Евангелиях как один из самых приближенных к Господу апостолов. На тайной вечере он первым, прислонившись к груди Христа, спросил: «Господи, кто выдаст тебя?» А затем, после распятия Иисуса, он был выслан царем Трояном за провозглашение слова Господнего на остров Патмос, где и продиктовал святое Евангелие...

— Ну вот... — перед ними появилась чернявая хозяйка, а с ней — пахнувшее тимьяном, лавром, бибером и всевозможными восточными пряностями жаркое. — Ой, забыла... — Красавица метнулась и выставила на стол литровую бутылку коньяка местной марки «Рубин» с изображением на розово-фиолетовой этикетке едва ли не древней литовской «Погони» — всадника-витязя на коне перед развалинами будто



бы Новогрудского замка, только в руке всадника вместо меча — наполненный бокал, *чаша* по-сербски.

— Прошу в честь нашего гостя испиты здравицу! — улыбнувшись жене, предложил младший Янкович.

— Простите, это много... — попробовал отказаться Заяц и отставить наполненную чашу, на что услышал от хозяйки озорное:

— Ну что вы, после этого даже за руль садиться можно!..

— Да-да! — поддержал старший Янкович. — Садиться можно, только... не ехать. Это я как водитель с большим стажем — и дорожным, и коньячным — свидетельствую.

Выпили, вкусно закусили.

— Да-да... — старший Янкович опять стал серьезным. — Вы не обижайтесь, профессор, если что-либо из моих рассказов не по душе пришлось.

— Нет, почему же...

— Разное, сами знаете, и сейчас, и раньше совершалось... — И через напряженную паузу: — Я вам на прощание одну притчу хочу напомнить — о большом столе, составленном из маленьких. Участники застолья через несколько стопок перестали слышать, а потом — и слушать своего тамаду. Так вот, у каждого стола должен быть свой тамада-правитель. Чего, по-видимому, дождутся и наша, и ваша страны... — Янкович остро-внимательно взглянул на гостя и снова поднял чашу: — Хочу предложить тост-здравицу в честь новых «водителей» наших земель, которых будут слышать!..

II.

1493—1547.

С падением Константинополя словно земля перевернулась под ногами афонских монахов. Они неутомимо молили Господа вразумить их и ниспослать святые знаки. Но... то ли не замечали, то ли знаков тех не было.

И монахи — кто не связал свою судьбу с иоаннитами — подавались в скиты. Афонские монастыри почти пустовали. Болела от этого у Максима Грека душа, и он благодарил Бога, что мог отдавать свои силы на распространение Его слова. Монах за несколько лет работы в Киевской лавре переписал семь книг и многие помог перевести. Он уже привык к своему новому месту, сжился с ним, как некогда — с Падуей и Флоренцией, где учился, и только в мягких снах, забываясь над книжными строками и страницами, изредка возвращался на родину — вот как в этом, с сочной травой, солнечным виноградником за спиной, дорогой... длинной дорогой... выбежавшей из воды в лес... старый кудесный лес с большими незнакомыми деревьями... белыми, холодными... и дорога белая, даже глаза заболели...

— Евлогите! — неожиданно послышалось за спиной, и он очнулся.

Еще неосознанно — между видением и явью — вскочил над залитым воском столиком, перекрестился и ответил:

— О Кириос... Господь благословит...

И смутился, увидев перед собой брата-иоаннита, земляка по Афону, своего тезку — Максима Спартанца, в черном хитоне, с наброшенной на плечи овечьей шкурой.

— Вот я и отыскал тебя. Собирайся...

Инок, который привел гостя в келью, поклонился и вышел.

А они долго не могли наговориться. Услышанное никак не успокаивало книжника Максима — мир и действительно переворачивался: в Риме господствует немецкая армия, Священная Империя спорит с Францией за светскую власть... И осколки династии Палеологов, после того как Венецианский сенат напомнил московскому властелину о его правах на наследство византийского титула, решили идти на



восток. Между тем князь московский Иван III якобы принял императорского посла и условился на союз с Максимилианом против ислама, но развязал войну с ляхскими христианами. А теперь готовится к женитьбе на племяннице Константина Зое Палеолог и согласен принять герб Византийской империи — двуглавого орла. И вот он, брат Максим, явился сюда в сопровождении брата базилевса Фомы Палеолога и будущей императрицы Зои, а в посажном обозе — с полсотни древних манускриптов...

— А еще москвиты желают умножения церковных книг византийской традиции, посему — собирайся и ты, брат Максим, в новое путешествие. Вот тебе и письмо от нашего наместника о том... — закончил гость.

Вот тебе и дорога... Белая, глаза колет. Снегу насыпало столько, что, казалось, он не растает и за всю весну. А еще — мороз и ветер, от которых не спасали овечьи шкуры и сбитые на санях шалаши-балаголы. Когда лошади выбивались из сил, обоз останавливался в более-менее тихом месте. Сани расставляли кругом, в центре раскладывали костер, грели в котле что-то поесть, затем, когда были не в степи, притягивали несколько сухостоин, обычно елей, и поджигали. Радовались теплу вместе с людьми и кони, сладко ржали, словно вступая в монотонные разговоры монахов.

— Так скоро ль она, та Московия? И правда ли, что тамошний *базилевс*, князь по-ихнему, не дождался патриаршей буллы и приказал называть себя императором, царем? — спрашивал, энергично потирая ладони, Максим Спартанец. — Не было ли то заявлением на византийское наследство?

— Увидим, — спокойно вздохнул Максим Грек и спрятал в накладной карман четки — келейные, не на сто «зерен», напоминаний о молитве Иисусовой, а на тысячу. Куколь монах опустил на спину и пригладил свои непокорно-курчавые, с русым оттенком, волосы. — В Киеве от монашества я много чего слышал. Он, московский князь Иван, присвоил себе титул властителя всей Руси, этим самым заявив свое право на Киев и Полоцк. Неизвестно, что будет со свободными городами Псковом и Новгородом. Но человеку — человеку, а Богу — Богово. — Монах поднял свою продолговатую голову, открыв острый кадык, и наблюдал, как от костра отрываются и кружат в поднебесье розовые бабочки-искры.

— Эх, раньше мы и не слышали о той Московии, а теперь вот приходится снега к ней тереть, — вздохнул, ковыряясь палкой в углях, молодой и крепкий прислужник Зои Палеолог Силуан, сын константинопольского литейщика. И без того громадный, в шкурах он выглядел великаном. Только мелкий, чуть вздернутый нос свидетельствовал о его хорошем и мягком характере. Снова вздохнув, Силуан неожиданно вспомнил: — Я, когда в кузнице отцу помогал, в самый солнцепек, мечтал, бывало, чтобы во льду полежать, а тут вот...

— Краток век человеческий, как и всякого государства, помимо Небесного, — не отрывая глаз от огня, заговорил Максим Грек. Горячие языки пламени отображались в его васильковых зрачках и, казалось, вот-вот готовы были расплавить их. — Я прочитал несколько летописей и хроник о той стороне. Разных. Москва рождалась как колония, основанная русами в чужой финской земле. Еще два-три столетия тому Московия полыхала в войнах между потомками Владимира Мономаха. Юрий Долгорукий возглавил армию-колонию и подался на северный восток искать новые земли. Шел той же дорогой, по которой и мы: через леса, между долинами Днепра и Волги. Подчинял себе другие племена. И соорудил походный лагерь переселенцев, который и стал Москвой... Затем, словно Божье наказание за пролитую кровь — долгое нашествие Орды...

...Догорел костер. Яркие угли насыпали в котлы и глубокие железные мисы: еще с час-два будут греть в дороге. Впрягли коней — и санный караван снова двинулся заснеженной поймой реки.

Солнце — словно большой мандарин из афонского сада — зависло слева от них и не спешило заходить за ледяной горизонт, боясь обморозиться. А ведь как красиво некогда, думалось Максиму Греку, оно садилось в фиолетово-молочные волны —



будто невтерпеж было, перегретому, нырнуть в морскую прохладу... «Почему солнце освещает всю землю? Потому что странствует по миру», — вспомнились слова преподобного старца Филофея. Так и святая книга должна освещать земли Господние...

Вдруг всполошились кони.

— Волки! Волки-ы-ы!!! — закричали сзади.

Максим Грек отпахнул кожаную штору и сразу же увидел их: длинная стая поджарых серо-черных зверей слетала со снежного утеса наперерез саням. Две запряженные лошади нервно захрапели, завилили головами — и рванули в сторону, подальше от клыкастой смерти. Где-то под ними и снегом река неожиданно падала вниз. Водный незамерзший порог был невидим под снегом.

— Стой! Сто-о-ой! — ревел на лошадей возница, а на возницу — проводники. Взорвалось несколько пищальных выстрелов, и в тот момент полозья саней натолкнулись на твердое, сани резко шатнулись набок, что-то под ними хрустнуло — и Максима обдало морозным кипятком. Он хватил воздуха — и чуть не захлебнулся водой. Поднял руку, зацепился за сани и попробовал приподняться — и снова ввалился в ледяную купель. Затем чья-то сильная рука вытащила его на свет божий.

Испуганные лошади, поломав оглобли, крошили грудью лед, сани утопали в снегу и бурлящей воде, а над Максимом поднималось парное облако. Около него хлопотал палеоложский прислужник Силуан, спасший монаха из холодного вира.

Выстрелы напугали стаю, и волки внезапно, как и появились, исчезли. Как тени дьявольские.

Помолившись и привязав мокрых лошадей позади обоза (утонувшие сани уже не достать), двинулись дальше. Максима Грека Силуан пригласил к себе — сани его были большими, на них везли несколько ящиков книг.

— Слава Господу за то, что не они под лед ушли, — прошептал Максим и, тяжело дыша, лег. Однако и накрытый он не мог согреться.

А вечером его тело начало гореть. Монах бредил, глубокий хрип вырывался из груди. Бедолага силился поднять голову, но сил не было. Силуан оглянулся в темной кибитке, чтобы что-то найти, подложить монаху под голову. Нащупал за спиной ящик, достал тяжелую, оклеенную мягкой кожей книгу, осторожно придвинул под курчавые влажные волосы. Монах неожиданно затих, дыхание успокоилось. Показалось, уснул...

Через несколько часов он очнулся здоровым. Словно некто вдохнул в него необычную силу, спокойствие, уверенность. Была уже ночь — но светлая; луна отражалась в слежавшемся снегу. И он попросил остановиться, позвал погреться в кибитку возницу, а сам под недоуменно-удивленные взоры Силуана сжал вожжи — и до следующего пристанища, до глубокого утра и общей молитвы отказывался от замены. А затем — краснощекий, с поседевшими от морозного инея бородой, усами и бровями — помогал валить и тягать огромные сухостоины. И от еды отказался. «Слава Богу, сыт», — отошел к саням, вынул из кармана четки и начал новую молитву.

А когда опять двинулись, и монах заметил в санях, где совсем недавно лежал в больном бесчувствии, большую книгу в кожаных переплетах, спросил удивленно-испуганно:

— Что это?

— Я под голову подложил, чтобы повыше, чтобы дышать полегче тебе было... — ответил Силуан.

Максим провел ладонью по нежной коже переплета, отстегнул три медные пряжки и бережно открыл манускрипт.

— От Иоанна святое благовествование... — прошептали уста.

Воз шатало; он аккуратно закрыл книгу — и заплакал.



Силуан — сидел напротив — почесал усы (нос на его большом лице совсем осунулся), насторожился:

— Что-то не так?

— Все так. Все так... — улыбнулся сквозь слезы Максим Грек.

И когда через шесть новых дней пути Силуан прибежал от саней Палеологов со скверным известием: у племянницы императора Зои, не привыкшей к странствующей жизни, сильно заболел живот, монах опять достал из ящика кожаный манускрипт и, справляя молитву, книгой перекрестил девушку. И боль отступила.

Все удивлялись таинственной силе манускрипта, а он, монах братства иоаннитов, спокойно кивал головой и повторял:

— Да-да. Все так. И ничего удивительного. Мы склоняемся к иконам, рукотворным Божьим образам — и они исцеляют нас. А что необычного в том, когда нас спасает слово Божье?..

Книга осталась в саях Палеологов — как ценнейшая святыня их прежнего византийского наследия.

Начали попадаться небольшие поселения, где погреться можно было уже и в низких избах. А затем, после неказистой дорожной крепости-сторожки, пошла укатанная дорога, затуманился дымами пейзаж — и началась Москва. Деревянные заснеженные слободки сменяли одна другую: серые стены домов, скукоженные сады, обледеневшие срубы колодцев, монастырские купола церквей, каменный гостинный двор... И снова — слободы, сады, вплоть до горизонта, насколько хватало взора.

— И это — Третий Рим?! — недоуменно поглядывая по сторонам, повторял Силуан и чесал покрасневший нос. — Или я, напившись перед отъездом, упал и сильно ударился головой о ступени салоникского дворца?..

Они доехали до зубчатой стены Кремля с каменными башнями, за которыми находился княжеский дворец, дома приближенных бояр да несколько церквей с монастырем, и отправили послов с толмачами. Палеологов, Фому и его дочь Зою, в их саях, с императорским приданым, а также посольскую свиту и слуг провела за стену вооруженная охрана — рослые молодцы в длинных рыжих кожных, подбитых и отороченных мехом, с широкими воротами пониже лопаток, в высоких шапках-мурмолках. Остальные же — поводыри, монахи — подались на постой в ближайшую слободу.

...Первым прописал идею освящения Москвы как Третьего Рима здешний митрополит Зосима. Он изложил ее в предисловии к новой рукописной «Пасхалии» — календарю церковных событий на следующее тысячелетие. Было ли ему откровение, сам ли он выдумал, что небеса благословили нового Константина, Ивана III, и новый Царьград, Москву, — осталось неизвестным. Через тринадцать лет после появления «Пасхалии» бог позвал Ивана III к себе на суд, а отцовские земли поделили между собой пятеро сыновей. Старшему, Василию, достались две трети княжества: шестьдесят шесть городов с Москвой-столицей. Неизвестно, благословили или нет Небеса нового «Константина» на очередное создание Царьграда, но наследников ему от венчанной жены, боярской дочери Соломонида, не дали.

— Бесплодную смоковницу выбрасывают из сада! — заговорила боярская дума, и женщину, невзирая на предостережения княжеских духовников и нового руководителя писчего приказа Максима Грека, заточили в монастырь.

Василий, даже для отвода глаз не устроив традиционного парада-смотрин невест, на западный манер сбрил бороду и повел к алтарю сироту Елену Васильевну Глинскую, которая и родила ему потомка. И рано овдовела. И, тоже не сумев возвести величественные стены нового Царьграда, рано оставила этот бранный мир, а в нем — своего восьмилетнего первенца Ивана...



* * *

Уже не один час его бил нервный озноб. Ночь поглотила княжеский дворец. Утихли пьяные крики боярской гулянки, а Иван не находил спасения: закутывался в одеяла, укрывался подушками — и никак не мог успокоиться, согреться. Болела сбитая о каменную стену рука, внутри пекло и трясло, в сомкнутых глазах вспыхивали огненные шары — и беспрерывно лихорадило.

А тут еще стук в дверь:

— Княжич, открой!

Он молчал.

— Открой, а не то выбью дверь!

Грохот усилился, ходуном заходил косяк, и он слез с кровати, отбросил засов.

Дверь раскрылась и ухнула о стену. В опочивальню впихнулся опекун Шуйский, а за ним робко выглядывала полураздетая молодлица.

— Что, волчонок, замер? — дохнул на Ивана перегаром незванный гость и подтолкнул пониже спины подругу. — Боярыня Марфа соизволила проверить, не отвердело ли ложе царское.

Марфа потупилась, пряча глаза, и неяркий свет свечи выхватил в сумраке ее пухлые губы и покрасневшее лицо.

Ивану не хватало воздуха. Задыхаясь и дрожа, он начал неспешно отступать к противоположной стене, а Шуйский хмыкнул, передернув сухим кадыком, и сел на кровать.

— Что молчишь? Иль не рад гостям? Иль думаешь, что я, потомок по старшему колену Александра Невского, не ровня тебе, сопляку? — криво улыбнулся, исподлобья глянул на Ивана, кашлянул — и игриво выговорил молодлице: — Марфу-у-уга! А ты что леденеешь? Ходь сюды! — и постучал ладонью по одеялу.

Марфа мелкими шагами приблизилась к кровати, и Шуйский, схватив ее за локоть, повалил на перину:

— Лебеда моя... Царица... — зашептал похотливо. — А какая горячая, а какая справная...

Он рванул на ее крутой груди сорочку, грубовато подмял подругу под себя и сладко засопел. Рыжая подрезанная борода поплыла по белесой ложбинке к животу, острые брови щекотнули набухшие соски — и вдруг голова оторвалась от девичьего лона.

— А что ты тут зиркаешь? — крикнул Шуйский на оробевшего Ивана. — Я, в отличие от вашей кости, не скупой. Хочешь — помогай, а нет — вон отсель!

Ивана, казалось, окатили варом. Больно застучало в висках, еще сильнее затряслись руки. Он, сжав кулаки, бросился было на Шуйского, но, ухватившись за спинку кровати, застонал-прокричал и выбежал из опочивальни.

Босой, в ночной сорочке, как лунатик-призрак, он поморочно спустился в тронный зал, прошел трапезную, добрался через колоннадный коридор к высоким ступеням дворцового крыльца.

Удивленные сторожевые раскрыли перед княжичем двери, а он, не замечая ничего вокруг, бессмысленно шагал по замерзшей земле двора, и его заплаканные глаза становились льдом.

Через некоторое время — ночь еще не минула, хотя надорванный маслянистый блин месяца уже зацепился за купола Успенского собора — он неуверенно постучал в окованные двери митрополитовой резиденции. Открыл заспанный послушник, провел в темную прихожую, накрыл кожихом.

— Обождите, ваша светлость, — проговорил дрожащим голосом, — я сейчас разбуду владыку, — и бегом бросился по скрипучим ступеням наверх.

Митрополит Макарий спустился в черном подряснике, приставил к столу посох и перекрестился:

— Господь милосердный! Что, княжич, случилось? Что с твоими руками?!



А Иван еще долго не мог промолвить и слова; продолговатая яйцевидная голова дрожала, глаза с редкими ресницами покрывали немые русые пряди, кожих спал с худых плеч. Митрополит, отправив послушника, попросил:

— А ты в рукава, в рукава руки... Отогрейся.

Иван смотрел в одну точку — то ли на кант столешницы, то ли на митрополитовый посох, — молчал и откидывал за лоб волосы; кровь с раненой руки растиралась по посиневшему лицу, и вид его был ужасный.

Княжича напоили малиновым отваром и предложили поспать, но он мотнул головой и зашептал наконец:

— Они поедом грызут меня да грабят собранное родителями моими!.. Они спят на ложе моем с гулящими суками и не снимают сапог!.. Они, эти шуйские, бельские и другие собаки бесовы, отравившие мать мою, готовят и мне кончину...

— Боже, что молвят уста эти ребячьи? Иван, ты — царский преемник, помазанник Господа. И боярские козни — твоя закалка. Моли неустанно Бога, дабы дал тебе мужества и веры выдержать эти испытания. И я о том беспрестанно Всевышнего вымаливать буду.

Иван неожиданно затих, перестал трястись, неспешно поднял голову, вытянув длинную шею, и насквозь пронизал Макария холодными серо-зелеными глазами:

— Говоришь, я царский преемник?

— Да. От людей и Бога. И недалек уже день венчания твоего на престол царский, ибо суждено тебе стать полноправным властителем земного царства православного. — Митрополит прислонил растроганного княжича к себе и обнял. — Готовься к этому...

Иван проспал в митрополитовых покоях остаток ночи, весь новый день и всю следующую ночь. Утром наспех подкрепился и оделся во все новое: на причесанных волосах — тафья из красной парчи с жемчугом, поверх нее — большая персидская тиара, подшитая черно-бурым лисом; длинная сорочка без ворота; долгий кафтан из вишневого бархата, перевязанный желтым поясом; остроносые, покрытые пурпурным атласом сапоги; легкая соболиная шуба на плечах.

Он оделся и, не попрощавшись с митрополитом, решительно двинулся к колонадам дворца, прошел в главный зал, сел, не сбрасывая шубы, на трон, вызвал караульного и спросил:

— Как тебя зовут?

— Матей, княжич...

И вдруг Иван вскочил, подбежал и схватил караульного за ворот кафтана, зло прошипел:

— Я, холопская морда, будущий хозяин всей Московии и твой царь! Запомни!..

— Я... я и не забывал, ваша светлость, — недоуменно проговорил караульный.

И то понравилось, даже вдохновило Ивана, но вида он не подал.

— Хочу знать, где Шуйский...

— Да отдыхает еще...

— Где?!

— В... — караульный пожал широкими плечами. — В ваших царских комнатах...

Ивана скривило. Хотел что-то крикнуть, но голос сорвался.

Он возвратился к трону, сильно сжал раненой рукой высокую спинку и возбужденно приказал:

— Аспида Шуйского выгнать из дворца, вырвать ему жало свирепое и бросить в мою псарню! Собаке — собачья смерть! Ложе, им оскверненное, сжечь!

Ошеломленный караульный задом пятился к дверям, и княжич уже вдогонку бросил ему:

— А после того, как исполнишь все, быть тебе, Матей, моим главным постельничим и телохранилем!

Через несколько минут сонного Шуйского стрельцы стянули за волосы на хозяйственный двор. Он пробовал отбиваться и кричать, и Матей схватил его за горло — и не отпускал, пока не открыли двери псарни.

— Ну вот, — толкнули тело Шуйского несколько ног, — теперь тьявкой.

Но задушенный Шуйский уже не мог кричать.

Купола Успенского собора сияли на январском морозе медовым золотом. Хрустела свежим снегом Кремлевская площадь — под сапогами и валенками. Весь живой люд Москвы и даже отдаленных слобод съехался-пришел подивиться на это зрелище, «освящение на царя» молодого княжича Ивана Васильевича.

Они, уставшие от жизненной неопределенности, озлобленные на козни бояр, доведенные до нужды и голода высоким налогом-тяглом, ждали перемен. Ждали еще с 1543 года, когда после молебна в присутствии митрополита Макария княжич оповестил верховных бояр о своем намерении венчаться на царство. Венчаться не как великий князь, а как царь.

Простолюды особенно не разбирался в тех тонкостях. Он просто хотел порядка да покоя. Хотел хозяина — дабы навел тот, наконец, в державе порядок. Хотел, чтобы меньше чинили краж. Чтобы стало все понятным и определенным, как раньше.

На колокольнях Ивана Великого и Благовещенского собора, домово́й церкви московских государей, которая напротив, за тысячу локтей, рвали глотки царские глашатаи:

— Московское государство и есть то шестое царство, упоминающееся в апокалипсисе. Еще в древнегреческих летописях написано: над родом Измаила воцарится род русских... Благодаря Богу милосердному и заботе царя нашего Ивана Васильевича Москва рождается как новый Константинополь, новый Царьград...

Народ нетерпеливо топтался на месте. Кое-кто пытался переспрашивать у соседа, что означает услышанное, но и остальные только пожимали плечами, а некоторые и горячо выкрикивали:

— Царя давай! Нашего царя-батюшку хотим видеть!..

И ударили над площадью церковные колокола, и зашевелилась в их возвышенном перезвоне окрестность. И сняли покрасневшие на холоде мужики шапки свои. И начали спешно креститься.

Раскрылись двери Успенского собора, и по площади волной прошел не то гул, не то стон. На белом с позолотой троне, который несли четверо рослых стрельцов, в праздничном убранстве сидел коронованный царь. С обеих сторон за ним тянулась свита епископов, священников, монахов. Все возносили к небу общую молитву с просьбой укрепить нового государя духом истины и справедливости. Позади, спрятанные в длинные шубы и высокие разноцветные шапки-камилавки, шагали бояре и осыпали трон дождем золотых и серебряных монет — трон нового потомка греческих и римских императоров.

О том, правда, не знали ни в Афинах, ни в Риме, ни даже в ближайшем Киеве. И на то не давали благословения ни патриарх Константинопольский, ни Римский...

2.

1992 год.

Когда белая «Волга» лихо завернула в раскрытую калитку и смиренно пискнула-притормозила, Заяц уже спускался на первый этаж. Из машины вышли трое молодых мужчин. Первым с хозяином обнялся плечистый Иван Мороз, бывший студент Николая Семеновича, а сейчас — народный депутат и директор экспериментального института.

— Ну что ж, показывайте свою фазенду, — искренне улыбнулся и блеснул честными зубами.

За ним, протянув громадную ладонь и с интересом оглядев зрчками-каштанами, поздоровался водитель, Сергей Сысанков, тучный председатель ухватского колхоза и тоже народный депутат.

Третий гость, Виктор Керзон, невысокий, не по годам поседевший человек с армейской выправкой, успел выложить из багажника три больших пакета с продуктами и выпивкой и здоровался сдержанно.

— Прощу в дом, — пригласил Николай Семенович, но приезжая тройка захотела «отдышаться» на улице.

— Мы лучше в ваш хваленый сад, на траву, — предложил Мороз, и все подались на задворки, где ровными рядами утопали в цветущей яблоне.

— И где тут ваш надел? — по-хозяйски поинтересовался Сысанков.

— Забора еще не поставил... — неловко пожал плечами Николай Семенович. — Но вместо него — кусты смородины и крыжовника. Хорошо поднялись, а?..

— А тут и речка под боком! — пробудился Сысанков. — Кто со мной пот сточный смыть?! — И бодро постучал по своему статному животу.

— Нет-нет, что вы... — смутился Николай Семенович. — Вода еще холодная.

— Какая холодная, когда весна заканчивается?! Мы худыми подшиванцами на Пасху купались! — не согласился Сысанков, но к реке, заботливо обнимающей своим берегом огород дачи, не пошел.

— Лучше давайте мангал разожжем, а то скоро бутылки закипят, — спокойно отозвался Керзон. — Может, поставим их в холодильник?..

Огонь вспыхнул сразу, и они пошли в дом — двухэтажный коттеджик из красного кирпича, возведенный около деревянного домика — родового гнезда. В прихожей-гостиной был музей: старые патефоны, гармошки, утюги, фотокарточки. На втором этаже — библиотека и кабинет, с которого свисал в сад, с видом на реку, железный балкон.

— По сути, десять лет моей профессорско-академической жизни отобрало строительство, — рассказывал хозяин. — С отоплением и газом еще не разобрался. Времени нет — жизнь деканская изводит...

— И так королевский дворец! Раскулачивать можно! — уверенно попытожил Мороз и первым вышел на балкон, пригладил над затылком чернявые волосы и выдохнул в полную грудь:

— Ле-по-та!..

Вечернее солнце мягко розовело в яблоневых лепестках, улыбалось в сладкодымных углях мангала и пряталось за разлапистой приречной ивой. Стол стоял у стены под балконом, покрытым садовыми повоями. Шашлык удался, и коньяк был его нежной оправой.

Прозвучали тосты за гостей и хозяина, и последний, подняв рюмку, понизил голос:

— Вспомнилась мне притча, некогда рассказанная черногорским профессором. Большой стол, жизнь-выпивка... А через несколько стопок-годов застольного тамаду перестали слышать, еще через несколько — и слушать...

— Не беспокойтесь, Николай Семенович! Мы вас, только скажите, всегда услышим! — хотел перевести услышанное в шутку повеселевший Сысанков, но Заяц покачал головой:

— Нет, друзья... Большое, думаю, дело ждет вас впереди. Империя, в которой я родился и прожил, рассыпалась. Теперь каждый за своим столом сидеть хочет. Страна наша — независимая и равная среди равных. И ей необходим тамада-президент.

— Так у нас же по конституции — парламентское государство... — после оторопелой паузы выговорил Мороз.

— До настоящего парламентаризма мы еще не доросли. А бывшие правители от компартии и спецслужб уже определились со своим ставленником. И когда он

воссядет на престол — страна откатится в прошлое... — Заяц внимательно осмотрел гостей: казалось, слушают проникновенно, заинтересованно. — Так вот, предлагаю тост: выпьем за нового руководителя нашей страны! И хочу, чтобы им стал не выкормыш партийных чинуш, а... один из вас!

Выпили молча. И задумались, размякли. И разговоры начали казаться бесконечными, пока раскрасневшийся Сысанков не припомнил:

— Штой-то мы из-за этой политики о реке забыли. Пойду, пока не стемнело, морду обмою, — и, неуверенно расставляя ноги, побрел в конец огорода.

За ним, вздохнув, подался и Керзон.

А Мороз снова налил в рюмки, придвинулся к наставнику и, не мигая, спросил:

— Вы о том президентстве — серьезно?

— Как никогда раньше! — Заяц, подняв свои совиные брови, наполовину прикрывавшие стекляшки очков, тоже глубоко всмотрелся в своего бывшего студента. — Ты, Иван, имеешь все шансы победить. Готовь команду — и думай. Поверь мне: теперь или никогда! И да отсохнут мои ноги, если ты не станешь президентом!

Они почти по-гусарски встали и выпили. А затем обнялись и задумались.

— Пойду экскурсантов проведу, — первым отозвался Мороз. — А то еще потонут, помощнички...

А те, раздевшись до трусов, плескали на себя коричневатую, настоящую на старых кореньях воду, и пыхтели от удовольствия.

— Эх, индюки, так ли охлаждаться надо? — подкузьмил Мороз и, пока подошел Николай Семенович, разделся догола и нырнул в воду.

На берегу все замерли, а затем радостно вскрикнули, увидев его голову над речной рябью. Два «экскурсанта» начали одеваться, а хозяин фазенды не успокаивался:

— Хватит, плыви назад! — и вдруг заметил (как-никак вырос на этой воде), что Мороз начал нервно выбрасывать руки, дыхание его сбилось. Пловец глотнул воды, кашлянул и, испуганно покрутив головой, прохрипел:

— Судорога... ноги свело!

Керзон бросился к нему, но в нескольких шагах до берега замедлился. Захмелевший Сысанков недоуменно смотрел на свои штаны, потом сунулся в воду, выполз и начал снимать ботинки.

— Держись, Ваня! — как можно спокойнее вытиснул Заяц. — Дыши ровно, сейчас что-нибудь бросим. — Напряженно забегали под очками близорукие глаза — по притоптанному берегу, по старой иве... Хватился отломить ветку, но передумал... и в то же мгновение увидел вожжи (еще в прошлом году соседские сорванцы собирались приделать качели).

Он по пояс вскочил в воду и, крикнув: «Хватайся!» — бросил веревку. Бросил удачно — Мороз цапнул ее еще на лету.

— А теперь — греться, греться да слушаться старших! — задыхаясь от волнения, просипел Николай Семенович и неакадемично выругался.

И они опять пили — уже без тостов. Только Мороз, откашлявшись и растерев водкой непослушные ноги, взглянул на своих оторопелых товарищей, встал и, чеканя каждое слово, выговорил на одном дыхании:

— За крестного, окрестившего меня в этой воде!

* * *

— Подвели вы меня, Николай Семенович, под монастырь! — Иван Мороз выглядел уставшим и подавленным.

Спозаранку он приехал на городскую квартиру к Зайцу и, не раздевшись, не обив с шапки и сапог снег, выгачил из внутреннего кармана сложенную в гармошку газету:



— Вот, с семи утра по киоскам лежит...

Прошли на кухню. Пока заваривался кофе, Заяц успел прочитать передовицу совминовской газеты с броским названием «Бревно в депутатском оке». О том, какой зубоскал и демагог народный избранник Мороз, об ужасном состоянии доверенного ему промышленного института, о том, как издевается над подчиненными. И какие-то экономические раскладки, и слова свидетелей...

Мороз сидел на небольшой профессорской кухне и нервно постукивал узловатыми пальцами по столу, а когда газета была отложена, выстрелил покрасневшими от бессонницы глазами:

— Ну, что скажете? Здорово размазали?! И как после этого?..

Николай Семенович снял очки, неожиданно улыбнулся и — глаза в глаза — промолвил твердо:

— Размазывают, мой дорогой, масло по булке или сопле по щекам. А за это ты еще редакции и заказчикам проставить должен!

Мороз набычился и недоуменно вперился в профессора. Тот подставил табурет поближе к гостю:

— А ты, вижу, сам уже с утра проставленный! Последний раз говорю: переставай пить. Или бросай все — и пей.

Минуту помолчали, и заговорил Мороз:

— Понимаете... Они кабинет мой опечатали, дела какие-то завели. Я... как волк — обложен... — и замолчал, смотрел на профессора и сопел.

Заяц вздохнул, достал из холодильника бутылку коньяка, налил:

— Значит, так... Это вместо валерьянки. Затем ляжешь и выспишься. А завтра соберем пресс-конференцию. И если ты волк — время показать зубы! Запомни и успокойся: теперь все, что идет сверху против тебя, работает в твою пользу. По крайней мере в глазах электората.

— Так у них же структуры...

— Создавай, пока есть время, и ты свои.

— Как создавать, когда ни кабинета, ни телефона...

— Садись в мой, деканский. Или... стой. Пустует у нас на факультете бывшая «ленинская комната», где заседал партком. Там и вход есть отдельный, запасной. Чем не временная штаб-квартира?

— Так и вас же погонят за это — и из кабинета, и с работы...

— Отгоняли меня уже, Ваня! — Николай Семенович опять проникновенно взглянул в глаза своему ученику и вздохнул: — Ноги уже не те, чтобы бегать. Да и доколь же мне зайцем быть?!

Мороз задумался, затем мотнул головой и выпил.

— Повторяю как на лекции: они должны защищаться, а инициатива — в твоих руках. И не дрейфь! Все будет хорошо! — Николай Семенович улыбнулся близорукими глазами и крепко обнял гостя.

...Он был искренним, слегка неуклюжим, чрезвычайно активным не только в новой деятельности, но и в поиске друзей. Мог подвезти на своей машине заклятого врага, участвовал в коллективных посещениях бани, с готовностью приглашал в свой кабинет или на квартиру интересных для него людей — выпить и поговорить.

Правда, гостей разделял по степени важности, значимости и своей к ним приверженности: кого угощал самогоном и салом, а кого магазинной водкой с колбасой.

«Дипломатия» давала плоды. Готовилась, например, на телевидении в живом эфире передача по проблемам окружающей среды — вместе с учеными из Академии наук приглашался и депутат Мороз. И говорил не только об экологии.

В начале каждого дела может быть случайность. Когда на случайность начинает работать закономерность — приходит победа. Закономерной было общественное сострадание и уважение к разоблачителю народных врагов. Закономерной стала и поддержка его группой молодых депутатов, которых история назовет «волчатами».



Они — тоже закономерно — увидели в активном депутате силу, способную расшевелить старую цитадель руководителей и бюрократов.

То же, по профессии своей, не могли не увидеть и соответствующие службы безопасности: поддержали, подсказали, где надо — и помогли...

И «волчата», обучаясь и взрослея, бросились в бой. объездили почти все регионы страны, организовывали встречи — в клубах, на вокзалах, на рынках, в магазинах. Говорили (в первую очередь он, Иван Мороз) просто и отвечали доходчиво — то, что хотел услышать уставший от инфляции и безысходности народ. Они показывали причину обесценивания денег. Причину традиционную — воры. Даже не один-два, а целая каста, названная еще недавно неизвестным простому уху словом «мафия». И оно, то слово, стало в народе наиболее употребляемым (еще не стерся из памяти телесериал об итальянских мафиози и борце с ними — комиссаре Катани). Мафией начали называть всех и все, что так или иначе ассоциировалось с успехом, богатством, с коррупцией, хотя многие даже не могли правильно выговорить это слово. Ну а на киношный образ борца с *махвией* органично лег свой — бесстрашно депутат Мороза.

Народ утопал в растерянности. Заработанные за месяц деньги через несколько дней съедала инфляция. Цены росли. Росли в столице и за ней княжеские дворцы. Первыми — чиновников от партии, Совмина и нефти. Следом — тех, кто имел возможности-связи: брал в банках кредит, переводил бумажки в валюту — и через полгода отдавал ссуду, а на остаток строил себе многоэтажные хоромы и убегал из городских хлевушков. А те, кто оставался в хрущевках, лютели от зависти и злобы.

Словом, как и предсказывал Заяц, ставший руководителем предвыборного штаба опального кандидата в президенты, события разворачивались очень благоприятно. Семя упало на благодатную почву, из которой пробивался закономерный ответ: чтобы разобратся со всеми ворами, правдорубу Морозу не хватает власти...

После пасхальных праздников опечатали и истфаковскую «ленинскую комнату», однако ее новый хозяин прорвался во временный штабной приют, спешно собрал журналистов и в университетском коридоре, заполненном удивленными студентами и преподавателями, дал пресс-конференцию.

— Было перевернуто все даже в холодильнике, — возмущался он. — И это в университете, храме науки. Какой пример молодежи?! Искали на себя компромат, чтобы уничтожить... Но правду не спрятать и не украсть! А недавно мне сообщили, что Дума планирует лишить меня депутатского иммунитета. Однако пусть они запомнят: народного кандидата в президенты Мороза не утратить!..

А тут — то машина с «правдорубом» с моста упадет, то в самолет не пустят... И новые слухи поползли по городам и весям: с ним воюют — значит, боятся.

Вместе с удостоверением кандидата в президенты Мороз и его команда получили возможность официальных встреч с избирателями — на стадионах, в залах, на заводах и фабриках. И когда доверчивый в своей любви и уважении электорат начал сотнями и тысячами становиться перед ним на колени, Мороз окончательно поверил в свою звезду, в свое мессианство, не жалея ни сил, ни времени, ни угроз, ни улыбок, ни обещаний. И — победил. И в своей новой роли выглядел уверенно и спокойно.

— Итоги выборов я расцениваю как вотум народного недоверия правительству и всей бюрократичной власти, разжиревшей на народном горе, — ответил он на первый журналистский телефонный звонок-поздравление в ночь подсчета голосов. — Теперь страна заживет по-другому. Мы отнимем все награбленное! Выбросим воров с заводов! Народ вздохнет свободно. Цензура в прессе будет отменена, как и монополия государства на средства массовой информации. Хватит, натерпелись вранья!..

Верховная Дума на своем очередном заседании торжественно объявила Ивана Владимировича Мороза первым президентом страны. Президент огласил присягу, а



вечером все, даже прежние враги, были приглашены в резиденцию на торжественный прием.

В радостях и эйфории, казалось, Мороз сотоварищи не заметили, что на инаугурацию приехало совсем мало иностранных делегаций. Да и уровень их представительства был не из высших: два спикера парламентов стран-соседей, три вице-преьера, а в остальном — послы да нефтезаинтересованные общественные деятели...

III.

1547, 1549, 1551.

Медовый месяц (через две недели после венчания на царство Иван IV женился на боярской дочери Анастасии Захарьиной-Кошкиной) прошел для Кремля спокойно, как и два последующих месяца. Знатъ свыкалась с новыми правилами-законами и почти не ощущала перемен.

Не ощущали их и служивые, доведенные до нищеты и злобы. В Кремль с разных сторон потянулись ходоки-челобитчики. Если кому удавалось донести свою беду до царских ушей, то летели головы, кровь брызгала на лобное место — и все опять стихало.

И так — два года. Царь посылал в города своих наместников, а получал от них письма с жалобами на непослушание бояр. Засушливая весна предвещала жаркое лето и голод, а казна не полнела.

Когда надоедали хлопоты, женское тело и ночные гульбища, он подавался на охоту. Обычно, как и на этот раз, в недалекий от Москвы Островок. И дорога хорошая, и ложбины для загона удобные, и дубы-ольхи высокие — лицо не поцарапает.

Царская свита еще ехала полем, когда Матей, назначенный уже главным постельничим, поднял лошадь на дыбы и рванул вперед. За ним — с десяток охранников. И только тогда Иван заметил долгий, подвод в сорок, обоз: лошади паслись вдоль дороги, телеги составлены полукругом, над ними белел дымок костра.

Матей возвратился через несколько минут возбужденный:

— Ваше царское величество... Это из Пскова посольство. Подкараулили, собаки, на дороге. Хотят с вами говорить. На городского наместника у них жалоба.

— Опять?! — крикнул царь. — Я, наконец, отучу их брехать!

— Ваше царское... Не можно туда! У них пищали и сабли... — Матей не успел договорить, как царь прищпорил коня и рванул вперед. Догнав, главный постельничий повторял свои заклинания, но в ответ слышал одно:

— Отучу!

Псковичи, разношерстная дружина бояр и купцов, увидев царя, решительно вышли навстречу, встали на колени, некоторые — кто более беден родом и казной — снимали шапки.

А царь не остановился. Стон, крик, вопль! Кровь на пожухлой траве...

— Я отучу вас плакаться, песье отродье! — Царь бил кнутом налево и направо, конь своенравно скакал и испуганно топтал бархатные сорочки, шерстяные кафтаны, шелковые однорядки, сафьяновые сапоги. И — белые кости.

— Выслушай, батюшка!.. — чья-то рука ухватила за шитую золотом попону, вторая — за седло. — Нет жизни люду нашему от наместника твоего...

Конь бросился в сторону, и проситель — молодой чернобородый мужчина — упал под копыта. По его спине загуляли кнуты царских охранников.

Иван отъехал и остановился. Учащенно дышал. Голова дрожала. Раскосые глаза — как в дымной поволоке. Высокие скулы заострились, под ними страшно шевелились натянутые желваки. Царь шептал, словно жевал:

— Отучу... отродье... наместник мной поставлен, это моя воля... Против нее пошли, с пищальми... отучу!..

— Ваша светлость, что прикажете? — это был голос Матея, тот подъехал к царю и преданно склонил голову.



— Всех головать! Всех!.. Без суда и правезу! — Лютые зрачки блеснули сквозь мутную поволоку и обожгли постельничего.

Царь вздохнул и рукавом стер со лба холодный пот.

Пока стягивали трупы, он гарцевал по сухому полю, только пыль коптила из-под копыт мокрого коня — как дым. Затем возвратился, пригладил взбитые волосы (шапку потерял) и приказал:

— Хватит, поохотились. Айда домой!

Повернули к Москве. В первой слободе с придорожным шинком остановились утолить жажду.

— Кажись, наконец, туча... — Матей вытянул низколобую голову и смотрел вперед. — Может, и дождь будет?

Серо-пепельное облако растекалось по горизонту, шевелилось, густело, и кто-то из ловчих, еще не успевший слезть с коня, испуганно прошептал:

— Боже, это ж пожар...

Москва сгорела.

Сгорели царские и боярские палаты Кремля, Успенский собор, казна, арсенал, два монастыря с церквями, девять ближайших слобод.

Сгорели почти две тысячи горожан. Мертвый пепел покрыл дороги и вонял жженой человечиною.

Царь спрятался в охотничьем домике на Воробьевых горах и никого к себе не подпускал. Не ел, не пил. Через дощатую стену был слышен его беспрестанный шепот: то молитвы, то бред. А потом приказал позвать к себе митрополита Макария.

— Государь, он весь немощный, — боясь попасть под гнев, мягко поведал Матей. — Чуть не сгорел в соборе. Теперь его в Дольнем монастыре выхаживают.

— Едем туда!..

Митрополит еще не ходил. Увидев царя, приподнялся на лежанке и прислонился к каменной стенке. В глазах — спокойствие и доброта.

— Прости, что не могу стоя приветствовать — ноги разбиты.

Но царь словно не слышал и не замечал ничего вокруг.

— Владыка! За что ад такой?! Что мне, окаянному, делать? — и он ополз на пол около митрополитового лежанки. В келье более никого не было.

— От рождения жизнь человеческая — ад, если Богом не освящена. За грехи, за страсти наши наказание...

— Тысячи живыми сгорели — все грешники?!

— О том только Бог ведает.

— А ты... Ты, надевший на меня терновый венец царствования, что-нибудь знаешь?! — в голосе царя пробудилась злость.

— На царство венчал я тебя в Божьем доме с Божьими заповедями. Только они спасут и тебя, и царство твое... — голос митрополита осип, из груди вырвался кашель. Увидев, что гость приподнялся и насторожился, успокоил: — Ничего, это от огня... Пройдет.

Но царь, думающий о своем, словно не услышал:

— Так что же мне делать?

— Не приноси на алтарь власти своей смерти безвинные! — слова митрополита прозвучали уверенно и выразительно. — Выпусти из темниц безвинно осужденных. Почто в цепях старец Максим Грек? А дед твой Михайло Глинский? А сотни других?!

Царь будто сам вдохнул пламя. Смотрел на Макария, на его густые обожженные брови, сросшиеся над переносицей, и одержимо моргал. А затем бросился к дверям:

— Молись за меня, владыка!

— Погодь... Постой минуточку... — Макарий позвал послушника и попросил при-

нести царю книгу. Иван присел на скамью и провел ладонью по деревянной шкатулке, раскрыл. В кожаном переплете с тремя сияющими пряжками была византийская рукопись Евангелия от Иоанна. — Это тебе подарок. Еще Максим Грек мне о ее чудодейственности рассказывал. А давеча сам в том сподобился убедиться: когда собор горел, оно на аналое стояло, раскрытым... Аналой в огне, обрушился — а на нем ни знака. Так пусть крепит дух и дела твои...

Еще там, у Макария, в темной келье, Иван прочитал первые строки Евангелия от Иоанна: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог...» Да, прочитал! Сам! Черные буквы рукописного полуустава с наклоном вправо наконец сложились в его глазах в слова... Слова — в предложение. На целую строку!.. Насколько хватило движения глаз и дыхания прошептать прочитанное...

Он с детства боялся написанного, книжного. Не мог читать. За него это делали нянька, постельничий, затем — писец, дьяк, духовник. Ему читали вслух: Библию, «Пчелу», Степенную книгу. И он, сжимая губы и веки, слету старался запоминать услышанное. Сам же... сам же не мог сложить-соединить буквы в слова. Знал их, мог писать и переписывать. А читать, сложить-спаять — нет!

Он боялся в том признаться, стеснялся о том говорить. И ужасно страдал. Как что-то отрезано было в глазах и голове. Как перегорело. Тыкал пальцем в слово — и запинался. Пытался по буквам. Озвучивал первую, а как доходил до второй — куда-то уплывала с глаз и памяти предыдущая. На них, оттенки, наступала третья, наплывали, взбивая панику и внутреннюю дрожь, остальные... Он нервничал. Тряслась голова. Руками сжимал ее — и текст, даже самый небольшой, расплывался перед ним. Книга, а также стол и табурет начинали шататься. Становилось дурно, и он закрывал глаза и кричал...

Думали, у княжича ослабло зрение. Звали врачей, проверяли — все хорошо. Писали на бумаге те же самые буквы — называл-узнавал. Писали слово — и ничего! Подносили книгу — лихорадочно дрожал и либо прятался, либо убежал.

А тут — как глаза у него наново выросли. И в вечернем полумраке, и в сполохах свечей он читал и не мог утолиться: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришел ради свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали через него...» Перелистнул несколько страниц и продолжил: «Пилат сказал Ему: итак, ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что я Царь; я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает гласа моего...»

Он уснул, положив голову на книгу — как дитя, сладко и беззаботно. Догорала толстая свеча, и ее прозрачные слезы стекали на царскую ладонь с золотым перстнем-печатью.

В высоком окне кельи проклюнулось утро, затем августовское солнце разогнало по углам пропахшие деревянной смолой тени, а он тихо и спокойно сопел, улыбаясь сквозь сон, да изредка что-то шептал. И никто — ни Макарий, ни постельничий — не осмеливались будить его. А как только раскрыл веки — приказал неумолимому Матею:

— Разыскать и освободить Грека Максима да Михаила Глинского! Хочу видеть их гостями в доме моем.

Старейшина иоаннитов Максим Грек, разбитый болезнями, отказался от встречи с царем: «Отъездил я за свою жизнь... Быть мне до кончины монастырским затворником — там, куда Бог сподобил попасть». А князь Михаил Юрьевич Глинский, как оказалось, жил уже на свободе — с семьей во Ржеве. Подумал, пока гонец допивал квас, и начал собираться в дорогу.

Он, казалось, сам был дорогой. Или дорога — его духом и пульсом. И ее, свободной, живительной, ох, как не хватало ему в темнице. Темнице, куда бросила родная племянница, которую растил-нянчил, которую к браку с царем привел, которую на трон московский подсадил — и в ответ был одарен ржавыми оковами.



Но Глинский не имел обиды за то — ни на судьбу, ни на племянницу. Он был человеком, слепленным из горной глины и закаленным духом рыцарства. Ему бы со своими убеждениями родиться лет на триста раньше, но и на время он никогда не пенял. Это теперь он седой да истлевший, а некогда... Некогда с отпрысками Радзивиллов был отправлен из Великого Княжества Литовского, Русского и Жемойтского на учебу в Италию, постигал философию и архитектуру, богословие и астрономию. Военное дело не единожды приходилось учить на практике: участвовал в нескольких дворцовых заварухах, умудрился попасть в сподвижники к императору Максимилиану и Альберту Саксонскому. До беспамятства влюбился в Джулию Кастальди, дед которой, Памфилио из Фельдры, приобщил его к тайнам новой науки книгопечатания.

Не меч, а слово наконец завладеет миром! В этом был непоколебимо убежден литвин Михаил Глинский. Завладеет и победит! Легенда все то со сном пророческим Константина Великого: бог, якобы, показал ему перед битвой с тогдашним правителем Италии Максентием огненный меч-крест с надписью на древнегреческом: «Эв тоута вика!» — «Сим победиши!» — «Этим победишь!» Император, безусловно, заслужил почестей за то, что христианскую веру сделал государственной и защищал ее. И столицу в Византий перенес из Рима. И возвысил Константинополь. Но... Но мог ли вселюбящий Бог послать меч, посулить убийства, смерть? Ведь это всему Святому Писанию противоречит! Только любовь и слово Божье и спасти, и победить могут. А слово надо окрестить огнем, надо выковать, как и меч...

Этим победим!

Михал Глинский даже было расплакался, когда увидел, как выплавлялись металлические буквы, волшебные в своих зеркально-неправильных очертаниях. Затем их складывали в кассы-строки, кассы — в соты-страницы. Проведя окрашенным валиком, выпуклой тягой оттискивали на бумаге.

Изобретение печатного станка приписывают немцу Иоганну Гуттенбергу. Первопечатники Иоанн Ментель из Страсбурга, имевший типографию уже в 1458 году, Пфистер из Бамберга и Франциск Скорина из Полоцка будут признаваться учениками Гуттенберга. Свое первенство отстаивали голландцы — и называли земляка-печатника Костера. Не отставали от них, понятное дело, и итальянцы, сородич которых, Памфилио Кастальди, дед госпожи сердца заплутавшего во времени рыцаря-литвина Михала Глинского Джулии, изобрел передвижные буквы. Как рассказывали его дети, Кастальди не увидел в том ничего необычного и уступил изобретение Фусту, основавшему с друзьями типографию в Майнце. Зять и продолжатель дела Фуста Петер Шеффер в «Институции Юстиниана» 1468 года и назвал первопечатниками Гуттенберга и Фуста. Был или не был им Фуст, повлияли на это определение родственные чувства или нет, первым ли увидел печатную книгу-инкунабулу на своем станке в Майнце Иоганн Бонемантан-Гуттенберг — кто знает... В это Михал Глинский особо не вникал. Какая разница для истории, кто первый оставил след-оттиск босой ноги на мокром берегу, кто приложил печать на бересту, пергамент или бумагу, кто отпечатал первую книгу, когда все — и ногу, и берег, и печать с пергаментом, как и саму книгу, создал Господь Бог? Важна, верил рыцарь-литвин, только победа — победа железного слова над железом меча.

На некоторое время молодые инкунабулы оторвали Глинского от Джулии, и однажды ее служанка передала краткую записку: «Прощай и прости! Плыву с капитаном Душаном за своим счастьем...»

Они не были венчаны, но православный Михал, готовясь к тому, принял католицизм. А измены — не принял. Он надумал себе, что его госпожу сердца похитил тот капитан с зетской шхуны и свез в свои сербские горы. Михал бросился в погоню и через восемь дней болтания на адриатических волнах добрался до черногорской Будвы. Оттуда верхом — в Бар, скрытый от моря чудесными горами и оливковыми садами, пропахший морским ветром и медовой смоковницей. В Баре, как рассказали ему рыбаки, и жил тот обидчик Душан.

Но из очарованного местными красотами сердца Михала неожиданно выпала Джулия... Он влюбился в Зету-Черногорию, которая хотя и была официально в то время под Османской империей, но не пускала врага в свои горы, к древним монастырям. В недавно основанном Иваном Черноевичем среди балканских хребтов Цетине, столице края, уже третье десятилетие действовал печатный дом, которым управлял сын Ивана Джурдже Черноевич. Тут Михал Глинский впервые увидел иркунабулы на кириллице, полистал книгу полочанина Франциска Скорины, коего разыскивал в Падуе и с кем так пока и не повидался.

Здесь, в православном Цетине, он впервые вычитал, что Константин Великий, византийский император и патрон Константинополя, родился в Сербии — на этой земле! Здесь услышал Глинский и о монахе Максиме Сербе, пришедшем из Афона и заложившем местное братство иоаннитов.

И литвин-мечтатель Михал Глинский не мог не слиться с ними. Одержимый рыцарским служением, он отправился на родину, посетил Полоцк, Вильно. Наконец познакомился и подружился со Скориной, и когда первопечатником были дотиснуты и переплетены новые книги Библии, а на московский престол взошла Елена, племянница Михала Глинского, предложил направить часть печатных Библий в Московию.

Кто же мог знать, чем то обернется, что книги, впервые доступные и языком, и количеством, будут названы еретическими и сожжены на кремлевской площади? А иоаннит Максим Грек, афонский инок, тоже прошедший учебу в Падуе и Флоренции, будет осужден на тамошнем церковном соборе за якобы неправильные переводы книг Божьих и выслан в Иосифо-Волоколамский монастырь.

Впрочем, никто не мог предсказать тогда и незавидную участь самого Михала Глинского...

И вот теперь он, стар и немощен, пред налитым молодостью, но тоже утомленным лихими временами двоюродным внуком и государем, царем и великим князем Иваном IV.

Он многократно представлял себе эту встречу — едва ли не с самого Иванова рождения. Вырисовывал ее в долгих грезах узника, первые фразы беседы придумывал, наизусть заучивал, даже когда и веру в свидание на этом свете потерял. И вот — свершилось...

Глинский, сухой и седой как лунь, торопливо осмотрел временное царское прибежище — небольшую комнату охотничьего дома, решительно ступил несколько шагов вперед (Иван сидел за столом лицом к нему), перекрестился, смотря на иконостас в простом бревенчатом углу, и поклонился ему. Прошел поближе и начал с давно приготовленного:

— Троице пресущественная и пребожественная, и преблагая праве верующим в тя истинным хрестьяном, дателю премудрости, преневедомый и пресветлый крайний верх! Направи нас на истину Твою и настави нас на повеления Твоя, да возглаголем о людех Твоих по воле Твоей...

Иван удивился и увеличил глаза:

— Михаил Юрьевич, ты ли это?

Гость улыбнулся, переступил с ноги на ногу:

— Я, кому ж быть-то... Бью челом моему добродетелю, — и слегка наклонил перед царем голову.

— Садись, перекуси с дороги.

— Благодарствую, великий князь, не естся уже в мои годы. И отвык, признаться. Оказывается, и хлеба с водой человеку вдоволь может быть.

Иван нахмурил высокий лоб, нагнал на лицо ранних морщин и пропек Глинского углями-зрачками:

— Обижаешься, значит? Как на волка, на царя смотришь?!

Гость улыбнулся, медленно отставил скамью и сел напротив Ивана; из-под старческих дрожащих бровей спокойно глянули голубые глаза:



— За что обижаться? Я и на мать твою, царство ей небесное, — ропотно перекрестился, — никогда скверного не подумал. Даже когда в темнице крысы пятки мои грызли. А теперь вот радость сердце мое переполняет, радость, искренне молвлю, что Бог позволил на склоне дней моих сына ее первородного повидать...

— Обиду имеешь, нутром чую, — перебил его Иван.

— Нет. Нет и нет! Побожиться даже могу.

— Не поверю!

— Твоя воля, — Глинский вздохнул, снова улыбнулся, взглянул в высокое овальное окно над Иваном, помолчал и добавил уже будто бы и не своим голосом: — Из своего долгого опыта вынес я главную истину, которая, надеюсь, и продолжает дни мои: жизнь есть тайна, а смерть — вещь обычная. И обида — помощница смерти. Обида — огонь злобы.

Иван удивленно откинулся на спинку. Смотрел внимательно и молчал.

— Да, обида и злоба — пособники смерти, ибо душу нашу, яко гусеницы цветков, грызут... И убеждают нас, что не все от Бога. А от Всевышнего все, помимо обиды и злобы. Посему нет их у меня... и не было. Все от Бога. И волоса с нас не упадет без Его воли! Кто знает, может, если б не моя темница — не говорить бы мне с тобой, великий князь...

Иван в ответ недоуменно вытянул шею.

— Да! Может, быть мне растоптанному озлобленной толпой на ступеньках Успенского собора, как и племяннику моему Юрию? Кто знает, может, и на меня бы лжесвидетельствовать стали, что пожар водой колдовской с ним на Москву навел?

Иван довольно хмыкнул и заговорил:

— Вижу правду в глазах и словах твоих. А посему верю тебе, как крови и телу родному верю. И позвал тебя, Михаил Юрьевич, дабы совета спросить и в годину тяжкую к плечу близкому прислониться.

— Слабое, к сожалению, теперь плечо то...

— Зато ум сильный! — Иван резко вскочил и сжал собеседнику руки. Взглянул узкими глазами просветленно, даже задрожали веки: — Будь гостем моим! Ежели от угощения отказался — приказываю быть пиру в твою честь! А пред тем, как подготавливают все, приглашаю в баню — смыть пыль дорожную...

Трапезную, стены которой были обиты кожами, а посреди стоял длинный стол, наполняли запахи чеснока и зеленого лука, к ним примешивались дымные ароматы печеной рыбы и жареной дичи.

Иван и Михал вошли бодрыми, раскрасневшимися, в одинаковых длиннополых вишневых кафтанах — только телами отличались на полвека.

В продолговатых мисах были наготовлены печеный кабан, осыпанный зеленью, жареные перепела в перцовой подливе, головы щук с натертой репой, уха с шафраном, заячьи почки в сметане с имбирем. Дубовые чаши наполнены наливками. В большом серебряном жбане над чашами и корцами ожидало красное рейнское вино. С него и начал Иван угощение.

— Прошу отведать — «Петерсимона», наилучшее лекарство от усталости и лиха! Голландский купец в Москву привозит.

Они стоя пригубили — и присели. Глинский отломил от хлебного ломтя краюху и долго молча жевал. Иван внимательно наблюдал за ним и пил.

— Ты молвил, князь, что хотел у меня, грешного, совета спросить. Понимаю, услышать желаешь, как дальше жить-управлять. Если не передумал, могу кое-что подсказать...

— Давай! — царь отставил чашу и сплел на груди свои длинные руки.

— Что ж, слушай. Только не обижайся, коль что не по душе придется...

— Говори!

— Стольный град твой — под пеплом. Народ — в голоде. А что у тебя на сто-



ле? — Лицо Глинского внезапно стало грозным. Царь смотрел на него спокойно и молчал. — Что?! Подобной роскоши я не видывал и у Максимилиана! Сделай первый шаг — отдай все это простолыду московскому, который сейчас лебеду ест с горелой человечинной!

— Отдам, — вдруг спокойно сказал Иван. — И что дальше?

— А дальше созывай всех — и гольгтыбу, и бояр, и дьяков — на восстановление столицы. И сам то дело возглавь, дабы народ видел.

— Возглавлю... — Царь придвинулся поближе к столу. — А затем?

— Затем вече собирай, собор готовь, как некогда славные предки делали, — и в глаза люду смотри!

Через два года на Красной площади перед отстроенным заново Кремлем не было где упасть шапке. На Большой собор съехались служники, пашные, сотские и десятники, дьяки и дьяконы, сторожники и наместники из всех городов и уделов.

Царь стоял на возвышении посреди Соборной площади и говорил звучно, возбужденно. Говорил о начале новой жизни для державы, о воровстве бояр и лихоимстве купцов, обещал положить тому конец — во имя справедливости и любви. А напоследок, осмотрев потрясенную толпу, обратился к митрополиту:

— Молю тебя, святой владыка: будь моим помощником в деле этом! Ты знаешь, что я остался без отца в четыре года. Родичи не заботились обо мне... Еще мальчишкой я сел на царский трон. Бояре же только кровь пили — мою и вашу... — Иван вздохнул и провел рукой над площадью. — Мздоимцы и продажные судьи, чем ответите вы за пролитые слезы и кровь?! — Он поднял голову к небу, затем медленно поклонился на все четыре стороны и проникновенно окончил: — Молю и тебя, народ Христов, о прощении моих грехов, ведь только один я в первую очередь винен перед Богом и вами за все совершенное на этой земле. Прости и позабудь зло и несправедливости, узри во мне своего судию и покровителя!

Толпа застонала, загудела, зашевелилась и начала волнами падать на колени — от царского возвышения до последних рядов, возможно, мало что и слышавших из промолвленного...

3.

После выступления в университете он направился в загородную резиденцию Ворониха. Чувствовал себя разбитым и уставшим. Ко всему напала какая-то мерзкая тревога, неопределенность.

Встреча оказалась неподготовленной, не хочется думать — провокационной. Когда-то же и он был студентом, и тоже — не из медовых. Но чтобы так... И откуда у них столько бравады, политиканства, наглости даже? Государство им и стипендии, и общежития, а в ответ...

Отвечать, впрочем, сегодня вынужден был он, а студенты спрашивали. Вначале о будничном, личном, о том, наверняка, что кураторы подготовили. А потом и пошло: почему президент не выполнил свои обещания в том и том, где дела по казнокрадам и коррупционерам? Почему год назад на стипендию они могли двадцать раз пообедать в столовой, а теперь и на пять не хватает?.. И так далее... Все равно как не в государственном университете побывал, а на сходке оппозиционной партии! «Зря послушал Зайца, — подумал президент, — пусть бы сам и крутился на той встрече! Да и ректор — тот еще фрукт! И не погонишь же сразу...»

Он недовольно вздохнул и глянул в затемненное стекло машины. Величественное строение банка, остановка, часы перед входом в метро.

— А что это столько людей на улице? — недоуменно проговорил словно сам себе, а помощник Жокей уже достал свой мобильный и начал разузнавать. (Если бы помощник не имел такой фамилии, ее надо было бы придумать. Она служила и



паспортной меткой, и кличкой. Причем — с двойным смыслом. Жокей — он и неустойчивый всадник, из уст которого не сходило «галопомпоевропам»; он же, ко всему, и ненасытный кофеман. Никто не мог понять — как в человека вмещается столько кофе? Думали, что этот напиток уже и в его венах. А любимым сортом было, конечно же, кофе «Жокей». «Молодец, на лету ловит», — промелькнуло удовлетворенное, и тотчас же созревшее воспоминание пояснило недавнюю тревогу. Да, эта девчушка, передававшая записки с вопросами... Чернявая, длинноногая, с пухлыми губами да ямками на щеках... Точь-в-точь как его прежняя студенческая зазноба Томка! Надо же...

Попробовал подумать о чем-либо другом, снова взглянул за стекло — машина промчалась по заполненному горожанами проспекту, повернула к кольцевой — и воспоминания неотступным ливнем хлынули на него.

Томка, Томка... Где ты, что ты?..

Они познакомились осенью «на картошке» и после учебы думали расписаться. Томка болела им, была словно очарована, ежедневно выгатавливала какие-то лакомства-ужины. Молодость... Он же, чернявый удалец, за спиной которого была служба в армии, выбрал в конце учебы не преданную стройную Томку из далекой лесной деревни, а полноватую дочь министра архитектуры и строительства. И прописку получил, и с работой сложилось, и квартирой, когда дочь родилась, обзавелся. А свадьбу какую тогда тесть отбарабанил: в ресторане на берегу реки, с оркестром и чуть ли не сотней приглашенных! Правда, приглашенных со стороны невесты, ведь от его, жениха, стороны были только свидетель, однокурсник Володя Роликов (стал кандидатом филологических наук, а теперь ссучился и возглавил оппозиционную Народную лигу) да сват — руководитель дипломной, доцент Николай Заяц. Отец на то время уже семь лет был в земле, а мать-сельчанка беспробудно пила. Как такую за почетный стол?..

Так вот и пошло. С аспирантурой, как ни старался Заяц, у которого своих детей не было, так что он чуть ли не сына в нем видел, не получилось; ехать по распределению за далекие горы не позволил тесть — пристроил парторгом в Институт промышленности и сельского хозяйства. А когда партия развалилась, он уже сам о себе позаботился, из институтского парторга стал директором — и на всю округу прославился хозяйственником. Да и как было не прославиться — институт экспериментальный, сотни лабораторий и предприятий на него работали, из госбюджета поддерживался. Оставалось только за дисциплиной следить да высшее начальство не подводить. Баня хорошая появилась, где нужные люди отдыхали. Ну и свининки, помидорчиков-огурчиков никому не жалел, когда на магазинных прилавках опустело. И пошел дальше, избирался от своего округа народным депутатом.

А Томка... Ни разу о ней не поинтересовался — как отрезал от судьбы. И теперь чуть ли не ее копию встретил. И снова в универе!

Он очнулся, нервно постучал ладонями по кожаному подлокотнику и хотел было обратиться к помощнику, но тот отвел от уха трубку и залепетал:

— Иван Владимирович, это забастовка. Метрополитен встал, машинисты требуют повышения зарплаты. Вот народу на наземных остановках и собралось...

Президент отрешенно вперился в помощника, а тот ждал нового вопроса и, часто моргая, добавил:

— Я с мэром связался, а затем позвонил Керзон и подтвердил. У него собралось совещание министров-силовики. Хочет вам лично доложить и санкционировать возможные действия.

Кортеж из трех громадных джипов, двух машин спецуправления ГАИ и бронированного «мерседеса» уже неся по пригороду, за окном — редкие хрущевки да июньская зелень, от которой было тяжело оторваться, как, впрочем, и от неожиданных воспоминаний, а тут — доложить, санкционировать...

Свое неудовольствие президент и высказал в трубку председателю Службы государственной безопасности Керзону:



— Виктор, какая забастовка? Какой метрополитен?!

— Иван Владимирович, ситуация неоднозначная... Машинисты утром отказались выходить на линию. Народ вынужден давиться по автобусам и троллейбусам. Мы вывели максимальное количество парка, но он не справляется. На остановках очереди и озлобленность. Даем информацию, что в метро сбой на линии. Одновременно обрабатываем службы метрополитена, — наконец в докладе появилась краткая пауза. Керзон глубоко вздохнул и завершил: — Машинистов поддержал профсоюз железнодорожников. Толпа недовольных количеством до тысячи митингует на площади и, по последним донесениям, собирается идти к Дому правительства...

— Работнички, мать вашу! — неизвестно на кого — то ли на бастующих, то ли на спецслужбы, то ли на всех вместе — крикнул президент и, приказав повернуть кортеж назад, забасил в трубку: — Всех аккуратно вытеснить с площади! Зачинщиков-активистов арестовать! Работу метро восстановить!

— Есть! — послышалось в трубке. — Все сделаем, только... с метро проблема. Нет машинистов и диспетчеров, да и начальник метрополитена на площади...

— Да хоть сам со своими охламонами, когда такое профукали, в поезда садитесь и катайтесь! Или ты мне это предложишь?

— Но-о...

— Кончай нокать! Работяг с пригородных электричек снимите, с других регионов перебросьте... Словом, чтобы через полчаса составы пошли. А нет — все пойте. И... начальничка метро и других активистов, повторяю, *упакуй!*..

С приближением к центру столицы даже зрительно ощущалось напряжение: народ толпился на остановках-муравейниках, тротуары превратились в человеческие реки, на прилежащих к перекрытому проспекту улицах тянулись долгие заторы.

Кортеж остановился около станции «Центральная». Вместе с охранниками резво выпрыгнул из машины президент и, колко взглянув вокруг, по-медвежьи двинулся к остановке — загребая руками и, разводя пятки и смыкая носы туфель, словно футбола что-то невидимое. Большая продолговатая голова в такт шагам качалась на широких плечах под дорогим долгополым пиджаком, скрывающим непропорциональное туловище: казалось, грудная клетка была прямо подогнана по объему и вставлена в таз; а может, все выглядело так из-за скрытого под одеждой бронжилета. Удивленные горожане не успели пооткрывать от удивления рты, а президент уже говорил:

— Дорогие мои, я вынужден просить у вас прощения за временные неудобства. Как вы уже знаете, произошла провокация в метро. Некоторым оппозиционным активистам, этим роликовым-шмоликовым, подкормленным заграничными фондами и разведками, надоело спокойно работать! Зарплатой, как мне доложили, они недовольны! Зарплатой — почти министерской! Многие из вас о ней еще только мечтают! — с каждым словом голос набирал силу и наполнялся стальными нотами. — Зажрались и пошли митинговать на площадь! Я им, видите ли, перестал нравиться! Ну пусть оно и так, я же не девка, чтобы всем нравиться, но при чем здесь вы?! Какое они имеют право останавливать работу метро — стратегического для нашей столицы объекта?! Почему вы должны из-за них страдать на жаре и давиться в автобусах?! Да и кто оплатит предприятиям и заводам потери от ваших опозданий? — Оратор кашлянул и закончил помягче: — Поверьте, мы поставили на линию весь наземный транспорт, но его не хватает... Еще несколько минут — и метро пойдет. Мы наведем порядок и разберемся с виновными.

Президент приказал посадить в машины своего кортежа, даже в гаишные, стариков, детей и женщин и развезти их по городу, а сам в сопровождении невидимых охранников заспешил к зданию администрации — под удивленными, восторженными и преданными взорами электората.

А когда через полчаса в кабинет вошел помощник Жокей и доложил о том, что звонит и просит о встрече заместитель руководителя администрации по гуманитар-



ным вопросам Заяц, президент прикусил нижнюю губу и сказал раздраженно:

— Сообщи, пусть лучше завтра... Перескажи о моей встрече на остановке. Пусть там телевидение подключится, адекватно о забастовке расскажет. — Помощник мотнул головой и вознамерился уже идти, но президент ткнул в него пальцем и приостановил: — Я еще в машине хотел сказать... Там, в университете, девка одна мне записки с вопросами передавала. Длинноногая такая, брюнетка... — Его глаза враз покрупнели, а в зрачках появились огоньки. — Разведай, словом, кто и откуда... Ну и сам понимаешь, что...

IV.

Лето-осень 1552 года.

Невиданный доселе человеческий паводок сливался к берегам Москвы. Меньшие ручьи окраинных воеводств текли к Волге и растягивались в разномастные запруды на десятки верст: всадники с саблями и луками, стрельцы с мушкетами и топорами, канониры с обозами пушек и пороха, зачинщики и гранатчики, деревянные гуляй-города, отряды пищальщиков в высоких шлемах-шишаках, пехота с пиками, мечами и щитами, рать-посошники, призванные в набор изо всех городов и весей, обозники и священники. Кто берегами или дорогами, когда те были, кто по воде, на лодках и плотах — все шевелилось, ухало, топало, скрипело, дребезжало, плюхало и приливало к высоким стенам Казани, дабы в едином наплыве смыть мусульманское иноверие и затушить на московской земле татарские пожары.

Это был уже третий за четыре года поход. Два предыдущих не достигли цели: выступали осенью, зима охлаждала воинственный пыл, пушки и люди утопали в воде и снегу. Кусая на теплых полах от бессилия губы, царь давал приказ на отступление. Единственное завоевание — постройка городка-тверди Свяжска при слиянии Волги и Свяги недалеко от Казани. Но он стал бельмом на татарских глазах и мог в любое время быть уничтоженным.

Весной в Москве собрали большую боярскую раду, и она предложила отказаться от войны, совершить торжественный перенос святых мощей с Благовещенского собора в Успенский и послать в Свяжск освещенной над ними воды. Царь же прислушался к словам своих самых близких людей — Андрея Адашева и князя Ивана Курбского. Решается будущее всего Московского государства, убеждали те. Либо мы победим сейчас, либо никогда. А Эдигер-Магомет, если его не остановить, объединится с крымчаками — и будет угрожать новым игом. А посему — надобно спешить, царь, и самому тебе поход возглавить...

16 июня 1552 года Иван IV передал власть в Москве в руки беременной царицы Анастасии и выступил на Казань. Шесть полков: Передовой — под предводительством Адашева, Большой — Курбского, Правой илевой руки, Сторожевой и Царский — должны были в конце августа встретиться у Свяжска.

Дорога выдалась тяжелой и жаркой. Она затянулась до осени, и только 11 сентября московские полки начали обступать казанские стены, надежно защищенные с трех сторон реками Булак и Казанка, а с Арского поля — глубочайшим рвом. И двойными дубовыми стенами в семь саженей толщины, засыпанными изнутри песком и камнями.

Передовой московский отряд был начисто разбит еще на подступах к городу, а затем взлотовалась буря, разбросав шатры царского лагеря, разбив и потопив на Волге много лодок с провизией. Дождь лил непрерывно несколько дней, и канониры начали бояться за порох. А царь неутомимо молился, приказав обнести полки чудотворными иконами.

И дождь утих. Снова выглянуло солнце, и это придало москвичам решительности. Зашевелился человеческий муравейник, заухали топоры, на поле поднялись гуляй-города — деревянные туры с высокими плотами. На рвы и реки легли мосты, а в реки да рвы — пронзенные стрелами тела.



Казанцы ответили на грамоту о сдаче города яркой вылазкой. Их удар принял на себя Большой полк Курбского. Бешеная лавина с диким криком и сабельным лязгом прошла до середины стана и захлебнулась в чужой и своей крови. Остатки ее отступили, с полусотни — в большинстве раненые — стали пленниками. Их выставили перед длинной стеной со стороны Арского поля и послали вторую грамоту: бите челом государю царю и Великому князю московскому — и будете жить, а нет — живот свой бесславно окончите. В ответ «неверным свиноедам» была направлена грязная ругань, и пленников на глазах защитников убили.

1 октября, в Покров Святой Богородицы, царь приказал служить пресвитерам и певчим утреннюю в честь Христа, а с осажденных стен в ответ зазвучали молебны к пророку Магомету с просьбами спасения от нечестивцев. Одни клялись отдать жизни за веру и царя, другие — за Аллаха и свой юрт.

А на второе туманное утро грозно затрубили сурны и забарабанили накры. В самую длинную стену со стороны Большого полка начали бить десятки пушек. Земля дрожала под ногами, и когда ветер раздувал по окрестности серно-седой дым, были видны на Казанке несколько водных туров — везли к стенам бочки пороха и отряд зачинщиков, чтобы по приказу воеводы Курбского сделать подкоп и взорвать северную стену. Пешие пищальщики, прячась за деревянными завесами, подступили к тверди и лили на защитников свинцовый град.

Ночью все утихло, а на рассвете Иван, набросив поверх калантира, на золоченые латы, долгий серый плащ, пришел вместе с неотлучным Матеем в шатер-церквушку, возведенную посреди Сторожевого и Царского полков. Шла литургия.

— Воеже покорити под нози его всякого врага и супостата!.. — возвышенно пел рослый желтоволосый дьякон с деревянным крестом на груди — и в тот момент стены и свечи вздрогнули, и показалось, что небо обвалилось на землю.

Все присутствующие упали на колени и начали креститься.

— Это в подкопе порох взорвали... — прошептал в царское ухо Матей.

— Пошли ангела своего победоносного, — возвысив голос, продолжал дьякон, — как некогда к Иисусу Навину помочь разрушить стены Иерихонские. Иерихон пал от звуков труб и криков войска. Пресвятая Богородица! Помогите и нам, грешным рабам твоим, и моли Владыку Христа, Бога нашего, да ниспошлет нам победу на противных...

И земля во второй раз вздрогнула от взрыва — еще более могучего и страшного. И зазвучали на ней человеческие крики и кличи. Полки пошли в главное наступление, а в церквушке продолжался молебен.

Иван окаменело смотрел на дьякона и что-то неслышно шептал. Матей несколько раз мягко пытался обратить его внимание на возбужденного гонца:

— Государь, Ваше Величество!.. Подкоп удался. Стена упала... Передовой полк и полк Правой руки ворвались в город!

В царских глазах вспыхнула радость.

— И бе едино стадо и един пастырь, — прошептал он и снова отдался молитве.

— Государь, время ехать... Твои люди и твой полк ждут тебя.

— Нет силы крепче, чем слово Небесное, — ответил Иван, медленно приблизился к алтарю и прочитал молитву Господнюю. Все, кроме Матея и нескольких священников, вышли из церквушки.

Через полчаса явился второй гонец:

— Наступление слабеет. Татары не сдаются... Воеводы и войско зовут царя!

Иван глубоко вздохнул. В его глазах засветились горячие слезы.

— Христос Всемогущий, яви нам покровительство свое!

Но слова затерялись в пушечных взрывах и пищальных выстрелах.

Солнце уже висело над Арским лесом, но, словно ошеломленное адским действием под собой, выше подниматься не спешило. Медлил и царь. Он приложился к чудотворной иконе Сергия, выпил святой воды, съел просфоры, попросил у своего



походного духовника благословения. Снова помолился — и тогда приказал Матею подать лошадь.

Когда Царский полк перешел мост через Булак и подступил к стене, над двумя башнями уже возносились московские флаги. Бой шел в городе, в узких улицах, тесных от наваленных трупов. После полудня битва начала затухать. Несколько сотен крымчаков, посланных на поддержку казанцев, смогли на лошадях вырваться к валу, перешли через брод Казанку, смели тылы полка Правой руки и исчезли в лесной гуще.

А Казань перешла к царским дружинам. Последней захватили мечеть и убили всех иереев. Не казнили только женщин и детей — собирали в полон.

Раскрасневшийся Андрюша Адашев, сбросив шлем и завязав мокрые рыжие пряди лентой, принес Ивану высокий крест — и царь установил его на том месте, где еще недавно реял флаг казанского хана.

— Быть тут церкви Христовой! — бодро вознося свой взгляд в вечернее небо, молвил Иван и призвал всех к молитве за живых и погибших, после которой помогали раненым, выставляли караулы и готовились к общей царской трапезе.

Назначив в городе своего наместника, уже назавтра Иван решил возвращаться в Москву. За ним выправлялось и войско — кроме Сторожевого полка, остававшегося на зимовку.

— А кто тот дьякон, под слова которого взрывались стены? Высокий такой, русый, с деревянным крестом? — неожиданно поинтересовался перед сном Иван.

Матей немо заморгал, шмыгнул носом и пробасил:

— Дозволь разведать, государь?

— Разведай-разведай... И пригласи его назавтра в мой обоз — хочу дорогой с ним поговорить.

Дьякона Иоанна разыскали только во время дороги, перед Владимиром, верхом доставили к очередной стоянке и привели в царский шатер. Его искренние глаза под черными, как смоль, бровями и долгими, как крыльцы бабочки, веками скрывали беспокойство. Оторопевший и смущенный, он перекрестился:

— Государь пожелал видеть меня, грешного...

Царь прижал ладонью тонкую бородку, склонил набок голову и пронзил гостя острым взглядом. Затем улыбнулся и призвал дьякона присесть.

— Кто ты и откуда, и сколько лет имеешь?

— Иоанн Федорович, дьякон кремлевской Никольско-Гостунской церкви.

— В коей стародавняя икона святого Николая?

— Да...

— Женат?

— Женатый, государь. Двое сыновей растут... А сам рожден тридцать три года тому в Литве. Учился в Италии богословию и печатному делу...

— А как в Москве очутился?

— Князь Глинский Михаил Юрьевич, царство ему небесное, — желтоволосый дьякон перекрестился, — из письма от своего падуанского друга Кастильди прослышал обо мне, земляке, и в Москву пригласил.

— Хм... — царь задумался. — Хорошим человеком Глинский был. Виделся я с ним, о соборе говорили, а два дня до него не дожил... — И перекинулся на другое: — Так, говоришь, книгопечатанию учился. А зачем?

Собеседник проглотил терпкий комок, и голос его зазвучал увереннее:

— Верю, государь, что в печатной книге большая сила сокрыта. Сила, которая изменит к лучшему наш грешный мир...

— К лучшему?

— Да, ведь сможет ко многому люду посполитому дойти. И Христову науку, и заповеди светлые ширить.

— Думаешь, как и Глинский с Максимом Греком, что тех книг на землях моих недостаточно?



— Слово Божьего, государь, никогда много не бывает, — мягко, чтобы ни разгневать, ответил дьякон Иоанн.

— Матей! — позвал царь своего постельничего и охранника. — Кликни ко мне Висковатого! — а затем еще раз внимательно взглянул на дьякона и снова спросил: — А там, перед падением казанской стены, отчего ты как раз схожие слова пел, о разрушении стен Иерихонских?

— Да само как-то... Я, по правде, уже и не помню, о чем пел... Какое-то горячее потрясение было, а о чем...

В шатер спешно вошел и низко поклонился дьяк Иван Висковатый, невысокий толстяк с нездоровой одышкой, пухлыми губами и глубокими глазами. Он возглавлял посольский приказ, управлял царским архивом и вел летопись.

— Расскажи нам, архивник, какими книгами мое царство богато?

Висковатый удивленно покосился на дьякона и затараторил:

— Разными, государь... Около полутысячи рукописей, из них — сто одна книга Библии, около полусотни богослужебных перешитых книг, сборники наставлений отцов церкви... Хроники Малалы и Амартола. Скрипт Космы Индикоплеста, весьма старинный... Скрипты «Пчелы» и Степенных книг — это что Макарий с переписчиками составляет.

— И все? — царь словно чего-то не понял.

— Да, государь... Большинство из либерии Троице-Сергиевой лавры. Кремлевские сборы, кроме чудодейственной книги Евангелия Святого Иоанна, уничтожены пожаром... — Висковатый внимательно зиркнул на царя, увидел его недовольство и поспешил оправдаться: — Как государь знает, прошедший московский собор признал необходимым основание большего количества переписных школ при монастырях да предложил начать исправление допущенных ошибок и неточностей в старых книгах...

— А что это там за еретики-датчане около твоего посольского приказу маслят-ся? — Царь заложил руки за спину и приблизился к Висковатому.

От неожиданности тот начал кусать губы, пока, заикаясь, не вытиснул:

— Злые языки, боюсь... нехорощее государю нашептывают... — и отвел глаза на незнакомого дьякона.

— Ну-ну! — царь заметил это. — Не косись на дьякона! Он наш тезка... и человек, по всему вижу, свой. Говори о датчанах!

Видя такую озорную веселость царя, Висковатый вздохнул с облегчением:

— Король Христиан Третий прислал в Москву миссионера Ганса Богбиндера... С грамотой к Вашему Величеству... Ну и с соответствующими денежными суммами... Передал несколько книг... Я просил рассмотреть их митрополита и епископов. Богбиндер брался напечатать и доставить тысячу подобных книг по-московски, но... — Висковатый переступил с ноги на ногу. — Но большинство епископов не захотели тех лютеранских книг...

— Так что... датский король Христиан — не настоящий христианин?! — Царь прошел к легкому походному трону, сел и сильно обхватил подлокотник. Ответить никто не осмелился, и царь поднял свою тонкую руку и приказал:

— Поручаю заложить в Москве собственный печатный дом, дабы свои книги иметь, а не чужими сытиться! И собрать надлежащих печатников, бумажников да литейщиков буквенных. А главой дома быть дьякону Иоанну Федоровичу, тому делу обученному. — Царь откинулся на спинку трона и сощурил на ошеломленного гостя глаза, аж острые брови сошлись над переносицей. — Согласен, дьякон?

Иоанн Федорович стал перед царем на одно колено, склонил голову и звонко произнес:

— Сделаю все, великий государь, насколько сил и ума хватит!

— Что ж, увидим! А теперя отдыхайте...

Не успел по возвращении от царя Иван Висковатый вписать своим разборчивым почерком на летописную страницу: «Сего убо Бога нашего, в Троице славимо-

го, милостию и хотениемъ удърѣжахомъ скипетръ царствия, мы, Великий государь, царь и великий князь Иван Васильевич, всея Руси самодержецъ, владимирский, московский, новгородский, иныхъ многихъ земель государь, а такожъ царь казанский, повелель устроить домъ отъ своея казны, идеже печатному делу строитися», — как на стоянку прискакал московский гонец с радостным известием — царица Анастасия разродилась сыном-наследником!

Царский обоз задержался во Владимире только на ночь — и спешно двинулся в Москву. В город въезжали через Фроловские ворота, у которых Ивана Васильевича встречали митрополит Макарий, архиепископы, епископы, архимандриты, игумены и старшее боярство.

Царь, хоть совсем еще молодой, выглядел величественно и торжественно. Под скупым предзимним солнцем сияли позолоченные и серебряные одежды, дорогие камни царской порфиры, крупные жемчужины на золотом венце. И глаза — горящие глаза победителя...

Сорок дней гудели по Москве пиршества, до дна опустошившие царскую казну, и без того надорванную военными походами. А затем по городам, слободам и весям заголосили жены и дети — узнали, что никогда уже не дождутся своих мужей и отцов. Почти половина двадцатитысячной дружины сложила свои кости в неизвестной Казани. «Это же не враг-супоста-а-ат пришел резать родню нашу-у-ю... И что мой соколик позабыл в чужой земельке-е?!» — наполнились плачем голодные голоса, и уже к кремлевским стенам покатались волны народного негодования, и нередко приказным служилым доводилось слышать рассказы о царе-кровопийце.

Время и зимние морозы потушили непокорство, но для истории Иван Висковатый все же вынужден был оставить в летописи следующую цветистую запись, которую приказано было до Рождества читать глашатаям на всех собраниях и в церквях: «Мнози худоумные челоvence или, прямо реци, безумныя и тщедушныя, негодоваху и роптаху на самодержца своего, яко самому ему землю свою губящу и паче злее ратныхъ, и не щадящу, и не брегущу людей своихъ. Онъ же, предобрый в самодержцехъ, не похвалы тленные себе взыскупа, да славень будеть в родехъ мужествомъ, якоже и Македонский Александръ, до край земли дошедь и смерти не убежа, или прежде его бывый Ликиний царь, до четырехъ градовъ дошедь и столпове тамо постави и свое имя в писанияхъ. Сей же не о такой славе подвизашеся, но о своемъ царствии тружашеся, думающаго ради составления мирскаго, о благостоянии святыхъ церквей и устроении земскомъ, и о тишине всего православного христьянства, да не паки бы поработитися поганья казанцы».

(Окончание следует.)

Владимир ТИТОВ

ЮЖНЫЕ ОКНА

* * *

южные окна теплы в холода,
приотворишь и стоишь,
тающей жизни не тронешь, когда
лучше молчать — и молчишь, —

поздний комарик вздохнёт у плеча,
вспухнет вода на плите, —
лучше молчи о её мелочах,
о её пустоте;

* * *

в кухонном солнце подскочит горошина,
в мойке всплеснётся вода,
неразличимое прошлое прожито
в муках пустого суда,

тусклый рассеется свет по окалине
тонкой сковороды,
жёлтый закат на рабочей окраине
в мёртвые светит сады,

как все последнее горько настойчивой
жизнью — когда, как она,
солнечный клинышек тлеет уклончиво
на переплёте окна

* * *

снять занавеску вымыть окно
ждать что негданный снег
вдруг превратится в её полотно
между тревогой и нет

вымыть окно и держать на весу
свет покачившийся где
плавает божья коровка в тазу
в грязной воде

* * *

чем пребывал ты — как море с тобой
выжато время почти
песенки той небосвод голубой
чайки сверчки светлячки

вот и постой у чужого окна
в доме чужом — недалёк
выплакать навек до горького дна
сути пустой уголёк

воздух подвижен и пахнет вином
где-то грохочет вокзал
встретимся заново в том неинном
как Кузанец сказал

* * *

медленно кружится лист-вертолёт
горьки тропинки во тьме
прожита жизнь но никак не поймёт
живший того вполне

дом освещён а снаружи темно
колоколом сирень
бьётся в окно то не бьётся в окно
если ей биться лень

всё уже всё уже — не сказать
только слезливый свет
вдруг попадает в соседний сад
чаще же нет



О СКИТАЛЬЦАХ И СТРАННИКАХ

Р а с с к а з ы

НАГРАДА

Сашко Подопригора, сержант Подопригора Александр Андреевич, рыжеватый, с вислыми *вусамы*, украинец, фамилии своей громкой внешне явно не соответствовал. Худой, невысокий, сверх всякой меры подвижный, был он великий трудяга и на все руки мастер. Я на своем веку мастеров повидал слава богу, но таких, как Сашко... Механик, сантехник, электрик, столяр, плотник, токарь, каменщик, сварщик... И каждый раз открывалось, что и это Сашко умеет, и это умеет тоже. Да не просто умеет, а классно. В свободное время, к примеру, за месяц построил с подручными баню, с душем, бассейном и сауной, от фундамента до котла, да такую, что потом в нашу часть все начальство с округи по субботам съезжалось попариться. Было ли что, чего руки его не могли, узнать нам не удалось — времени не хватило.

А кроме того, работал Сашко красиво. Ну вот как-то легко у него все выходило, не напряжно — так, что хоть сам рядом с ним становись да делай. Потому, наверное, и помощников в любом деле было всегда у Сашко навалом, как с той же баней. Иной раз больше, чем нужно. Смешно даже... Стоит, например, Сашко, движок командирского газика ладит, а вокруг мужиков штук пять, как ассистенты вокруг хирурга, и он ими командует: то подай, это... Закончит Сашко работу, а все ее обсуждают, гордые, что так здорово получилось. А он рад больше всех, аж сияет, довольный. Тщеславный был — страшно, но по делу, ничего тут не скажешь.

Правда, был у Сашко один недостаток... или, как бы это помягче, слабость. Любил он «украинських писэнь спиваты». Беда ж была в том, что слуха у него не было вовсе, а голос, несмотря на невидную статью, был как у трубы иерихонской. И гнусного тембра к тому же. Вдобавок, чтобы петь, нужна была ему публика, и как только публика исчезала, пение само собой прекращалось. Поэтому мужики наловчились, только Сашко *застивае*, испаряться мгновенно по всяким своим неотложным надобностям. На том пение и кончалось, ко всеобщему облегчению.

Именно в это время неисправных машин, что в черныбыльской зараженной зоне уже свое отслужили, стало намного больше, чем пригодных к работе. Решили тогда ситуацию эту исправить абсолютно по-нашенски: зараженную, вышедшую из строя и поэтому списанную технику разобрать, то, что уже совершенно никуда не годится — захоронить, а то, что еще хоть для чего-нибудь подойдет, использовать для ремонта *чистой* техники. Не совсем, правда, чистой, потому как откуда же чистая в



зараженной-то зоне, но все же почище, чем списанная. Сказано — сделано. Набрали ударную группу, и в эту команду попал и Сашко, разумеется.

Идиотское дело, конечно, бездарное. Но и бездарное дело можно делать повсякому. А тут как раз прибывает в Чернобыль штабной генерал, со свитой и прочим народом. Едет он в рабочую тридцатикилометровую зону, попадает в парк, где технику ремонтируют, и видит, как Сашко работает. О том, что Сашко делает, ему, видимо, не доложили. Но тут было важно не что, а как; и это *как* — впечатляло. Впечатленный донельзя, пожал генерал грязную Сашкину руку и приказал немедленно грамоту выдать. На том щедроты и кончились, но Сашко на вечерней поверке батальона приказ зачитали и грамоту выдали (к полнейшему, правда, равнодушию всего остального состава).

А дней через десять после получения грамоты вызывают Сашко Подопригору в штаб и вручают ему телеграмму командира подводной лодки, где сын его служит. Там говорится, что матрос Подопригора отличился в походе, и в награду ему предоставлен десятидневный отпуск. В связи с этим командование лодки ходатайствует перед командованием батальона о предоставлении отпуска сержанту Подопригоре для поездки в Одессу на встречу с сыном. Сроки должны быть выдержаны точно, поскольку подлодка уходит в новый поход.

Через час в батальоне все уже знали об этом. Сашко носился по всей жилой зоне, сияя, как новый подшивник. Был он не очень-то счастливый сорокалетний мужик. Жена у него умерла, и с двенадцати лет он один воспитывал сына. Второй раз не женился. Не вышло. А тут радость такая, ведь год уже сына не видел!

На радостях раздобыл Сашко пару бутылок водки, и с друзьями-приятелями они ее усидели. От нечаянной радости и от выпитой водки взыграла в Сашко душа его украинская и потянуло *спиваты*. И он заспивав! В час ночи. Во всю мощь своих легких. Аж из штаба дежурный примчался.

А наутро вызвал Сашко командир нашей роты Зданович, голубоглазый тихоня с внешностью иезуита, поставил по стойке смирно — сорокалетнего дядьку — и с улыбочкой сообщил, что в полевом лагере нет гауптвахты, но сержант Подопригора должен быть и будет наказан, а потому ни к какому сыну он, мать его, не поедет; все, на этом он может идти.

Сашко стал белым, как стенка и страшным, как смерть, рванулся — и если б не два офицера, что вместе с капитаном Здановичем в командирском вагончике жили, не знаю, чтоб было б. Его вывели силой, усадили на лавочку, и он просидел там полдня, тупо глядя в пространство перед собой.

К сыну Сашка не пустили. Не помогли ни просьбы, ни уговоры его сослуживцев. Все три недели до конца своего срока он в жилой зоне обкладывал дерном дорожки, потому что технику перебирать отказался.

Он был столяр и призван был как столяр, а столяры, как известно, машины не ремонтируют.

СОМНЕНИЕ

1.

Одно время я просто не вылезал из командировок. Наездился до того, что жена моя первая, когда я в очередную командировку уехал, собрала вещички свои да к родителям и воротилась. А перед этим чуть не из-за каждой поездки скандалы в доме стояли такие, что не очень-то я и расстроился, когда меня бросили.

Ну а совсем перед тем, как второй раз жениться и с кочевой своей жизнью насовсем распрощаться, попал я осенней порой в старинный городок, недалеко от границы. К сожалению, время еще было такое, когда за билетами, куда б ты ни ехал, в диких очередях приходилось выстаивать, да и достоявшимся тоже никто гарантии

не давал, что удастся купить билет на нужное время и направление. Однажды пришлось мне в Москву из Уфы добираться через Ташкент и Адлер. Главбух чуть с ума не сошел, когда я билеты выложил.

Так и получилось в тот раз, что уехать пришлось на день раньше, потому что мне на испытательном полигоне непременно нужно было быть вовремя.

2.

Ну, приехал... Город чужой, времени свободного пруд пруди — самое то, что нужно, замечательно просто. А город оказался красивым, уютным и зеленым — необыкновенно. Я наслаждался чудесной оказией, бродил, бродил, никого ни о чем не спрашивая, до бесконечности. Наконец, незадолго до вечера, забрел на окраину и очутился перед высокой стальной оградой с великолепными коваными воротами — и диковинные животные на них были, и причудливые цветы и растения... Не ворота, а кузнечный шедевр. Створки стояли открытые настежь, и за ними хорошо виден был белый большой особняк с портиком и колоннами, а дальше, за подъездной аллеей, бесконечно тянулся парк, и ни единого человека нигде. И мне вдруг ужасно захотелось прогуляться по парку — отчего-то подумалось, что он должен воротам замечательным по красоте соответствовать. Подумано — сделано. Приблизиться к особняку я не стал: мало ли кто там окажется и чем это может кончиться. Нет, бояться я ничего не боялся, просто приключений на свою голову искать не хотелось, не в моем это характере, поэтому я тут же с главной аллеи свернул и пошел бродить по дорожкам.

Сад оказался довольно запущенным. Будто много лет никто ни к чему здесь не прикасался. Но по мне так даже и лучше, чем когда все вылизано, как на параде. Природа тогда будто стерилизованная, дистиллированная — неживая, одним словом, вроде лица, на котором ни родинки, ни ямочки, ни другого симпатичного какого-нибудь изъянца.

А всюду скульптуры разные, фонтаны причудливые, беседки, портики. Только вся эта красота тоже запущенная-брошенная: скульптуры с отломанными руками-ногами, портики и беседки местами разрушены, в трещинах, фонтаны ползучей гадостью и бурьяном позарастали. И потому ощущение возникало такое, будто время в чудном этом месте тоже немного разрушилось и от этого остановилось.

Бродил я довольно долго, пока, уже на заходе солнца, не вышел к откосу. С откоса видна была широкая, нарядная в свете закатном речка, через речку — длинный ажурный мост, и за мостом — город, зажигающий первые огоньки. А дорожка, которая к речке вела, уперлась в высокую и длинную перголу (я потом на даче себе такую же сделал, только, конечно, пониже и покороче). Пергола, увитая лозой дикого винограда, была ярко-красной, будто небеса закатные в ней отражались — красиво необычайно. Как и все в этом саду, пергола тоже немного разрушилась, но еще была ничего, не такая, чтобы стоило чего-либо опасаться. Нырнул я в сумеречный коридор и стал спускаться по склону, пока не вышел наружу, к узкому металлическому мостику через ручей. Перешел — и вижу: большая земляная площадка, окруженная огромными валунами, на другой стороне площадки — скала, могучая, мрачная, с покатою плоской вершиной; а на самой вершине, метрах в трех-четырех над землей, прямо над той дорожкой, по которой только и можно к речке спуститься, уместился полого гигантский обломок — будто чудовищной силой скалу надломило, а кусок отломившийся так на вершине лежать и остался. Казалось, громадный камень лежит непрочно, чудом только, потому что под свежим ветром даже слегка покачивается. Впечатление создавалось такое, что вот-вот глыба рухнет вниз и все под собою раздавит. И тут показалось мне, а может, померещилось просто в неверном закатном свете, что на скале... вроде как написано что-то, но не нашему. Солнце на сизом небе пунцовым светом пылает, от скалы тень густая кли-





ном через всю площадку легла, валуны путь обходной загораживают, и иначе к реке не пройти никак. Можно, конечно, назад повернуть, но мне вдруг втемяшилось, что обязательно надо к реке спуститься — и от этой опасности мнимой воображение мое вдруг разыгралось, как-то не по себе стало, знобка даже...

3.

— Здравствуйте. Вы кто, извиняюсь, будете?

Я аж вздрогнул от неожиданности, обернулся — передо мной маленький, сухонький старичок стоит: голову набок склонил, взгляд из-под мохнатых седых бровей серьезный, из солидного глиняного чубука дым в вислые казацкие усы пускает.

— Да так, — отвечаю, — приезжий... А здесь нельзя посторонним?

— Отчего ж, можно, стойте, чего путного, может, и выстоите... А с экскурсией утречком — не схотели?

Голос у старичка был жиденький, сильно на женский похожий, но уверенный и не сердитый, и я ни минуты не дергался, что в чужие палестины забрался.

— А я не с экскурсией, я сам по себе, командировочный... Скажите, а что, на скале действительно надпись или мне только кажется?

— То так, напыс есть, только там на латинском напысано... да суморок, потому не понять.

— Нет, по латыни я все равно бы не прочитал. А что надпись значит?

— Так то и обозначает, отчего вы до камню приближаться не сильно желаете, а здесь утвердились, — сказал старичок, улыбнувшись и выпустив в небо дымное облако. — Но если желаете, посидим в сторожке моей, караулю я тут. Повечеряем разом, чтобы мне одному не так нудно было, а я вам про камень та напыс историю и доложу...

4.

— ...Может, что и соврну, а только на бумаге нисколько о том не сохранилось — потому как неписьменный народ обретался.

Жил в давнее время, при крепостном еще праве, в имении этом пан. Был пан шляхетный, гербовый — куда там... От только за годами имя паново не сбереглось.

И все у того пана имелось: достаток, панна красуня, два паныча-подлетка. Чего еще надо... А только так не бывает, чтоб все у человека имелось и ничего ему сверх того не желалось. Вот и пана нашего стало в одночасье корчить оттого, что не ведом он никому — вишь, славы ему приспичило. А откуда ж той славе свалиться, коли пан ленющий был, почище вареника — только его и хватало, чтоб в гости к кому забраться, в карты резаться, горилку трескать да по чужим бабам и девкам шастать. Так и то сказать, сильно пан девок любил, немалое их число по округе всей перепортил. Откуда ж в других делах усердию взяться, ежели вся ретивость на девок тех и уходила...

А особо владетеля разбирать стало, когда сосед его першим в этих краях мельницу паровую завел, и, надо ж такому, почти в то же время приятеля его ближайшего мировым судьей выбрали.

Совсем пан после того с ума сходить начал, ровно взбесился. Крепака своего за паршивого зайца чуть до смерти не запорол. Панну, по пьяному делу, прибил; так прибил, что она забрала паньчей и съехала — будто у воду канула. А еще — ни с того ни с сего запретил бабам, сроду такого не знали, в лес по грибы ходить, ягоды собирать. В общем, творил чудеса...

Так он чуть не полгода дурил, а надурившись, собрал свой народец мастеровой, выстроил перед домом и посулил тому, кто что-нибудь распроезтакое измыслит, чтоб с ног сшибало, чтоб завидки соседей взяли, чтобы округа галдела, как заведенная — вольную тут же выписать, и всем его домочадцам в придачу.

5.

На селе-то почти что закон: коваль — мастер наиглавнейший. Оттого у коваля в хате и сошлись погугарить про панску шараду. И раз сошлись, и второй... Да разве ж кто ни с того ни с сего что необычайное измыслить способен? Это ж не табуретку сварганить, это природно человеку тому должно быть.

Вы решетку при входе в сад наш видали? Вот с того и начнем.

Сыновей ковалю жинка родить не сподобилась. Произвела на свет четырех девок, а потом хворобу какую-то заимела, на том продолжение рода ковальского и остановилось, и передать свое мастерство ковалю вроде бы некому, выходило. Но то только *вроде бы*, потому как три девки обыкновенные у коваля народились, а одна, самая старшая, ее Настькой звали, была как и не девка вовсе: роста громадного, выше батьки, лицо грубое, рябое, мужичье; силища в руках — я те дам. Хлопцы не то что любезничать, подходить опасались. Подковы, понятно, Настька негнула, но когда в ухо залившему зенки охальнику врезала, того чуть не с того света пришлось ворочать. После того ухажеров, даже по пьяному делу, как-то не находилось.

Все, видать, оттого пошло, что еще сызмальства наладилась Настька в кузню бегать, отцу подсоблять. И такая в ней страсть обнаружилась к этому делу, такая жилка, что коваль только головой качал да руки разводил. А Настька выдумщица уродилась — страшная. Вечно у нее в голове какая-нибудь идея крутилась — все старалась по-своему измыслить, как-то не так, как все делают; а как выкует вдруг для души какую чудовинку, так ее на базаре вмиг оторвут. Часом коваль, шутки ради, как загнет на ярмарке цену — да куда там, и шуток не понимали, раскошеливались. Потому, когда пан ворота ковать заказал, коваль Настьку в подмастерья свои наладил окончательно и бесповоротно — это ж она все фигурки на воротах и понапридумывала, а коваль и не возражал, потому как понимал — мастер знатный растет, не ему чета. А когда барин орать вознамерился, что нескончаемо работа та тянется, коваль ему цветы кованые к особняку привез и положил на пороге — на том ор панский и кончился.

Так-то оно все замечательно вроде, да только, понятно, несчастливой девке выпадала судьба — подружек не водилось у Настьки сроду, парни тоже в компанию не принимали, только и был свет в окошке, что батя да кузница. В перестарках уже ходила.

Так чего учудила! Отпросилась как-то в город на неделю целую, вроде ей захотелось на людей поглядеть да скупиться. А после того, через короткое время, обнаружилось, что Настька после той поездки тяжелая. Ну и шуму было!.. Мать чуть из хаты не выгнала, сестры брезгливо фыркали, по селу народ ухохатывался, пальцем на девушку тыкал. Только коваль тогда дочкин поступок и понял, пожалев; посадил он ее на возок, да и, чтоб дураки душу девке не бередили, свез незнамо куда, где Настька и родила, подальше от взглядов косых и тупых голов.

Народ языки почесал-почесал, да вскорости и надоело, а пацан видный родился, ковалю и Настьке на долгую радость.

6.

Ну вот потрошку до камня и дошкандыбали... К той поре, когда пана думки о славе одолевать стали, Настька уже в настоящие ковали вышла. Только ровней себе, из-за бабьей ее принадлежности, мастера местные Настьку не признавали, на сходки цеховые звать не сподоблялись; и на этот раз так затевалось. Но только тут не в меру серьезно все выходило, не до фанаберии. Пришлось-таки кузнечиху позвать, чтоб и она себе голову над панской задачей ломала.

Первый раз от задумки Настасьиной мужики аж покатались, затюкивать бабу стали, а только Настасьей тем с толку не сбить было, не тот заквас, не тот норев. Дождалась она, когда все отзубоскалятся, и давай вместо насмешек помощи ихней просить. А тут и батька ее, как положено, голос свой поднял: давайте, говорит, разбираться, а насмешки строить — немудреная штука. Так дело и двинулось.



Когда все до мелочи обмозговали, собрались мастеровые гуртом и двинулись вместе со старостой к пану. Позначили в общих чертах задумку, стали просить, чтобы позволил пан всей деревней на работу ту навалиться — не осилить иначе; а если что путное из затеи выйдет, отпустить на волю их деток, а им самим, сверх такой его милости, ничего и не надобно. Понятное дело, затею ту тоже Настык придумала, а пан, даром что с гонором, без дальних слов и согласился. Согласился — да и укатил; видно, тоска его на самоте одолевая стала. Воротился пан тогда только, когда управитель оповестил, что дело все сделано, можно гостей скликати.

7.

Всем миром тогда налегли, управившись к осени, потому как по осени в нашей местности серьезные ветродуи — корень наиважнейший, чтоб товар наилучшим образом предьявить. А от этого, сами должны понять, что зависело.

Денек выдался тогда яркий, ветренный, как мастера и подгадывали. Площадку перед скалой цветами украсили, дорожку, что от моста железного за скалу к речке ведет, чистым речным песочком посыпали, на каждый валун поставили меленки кованые с колокольцами, у меленок крылья крутились, звон тихий от колокольцев поширивался — в общем, навели красоту. А за скалой сразу, вы туда чуток не дошли, а в сумороке не разглядеть, тоже малесенькая площадка имеется. Там бабы в тот день столы праздничные накрыли с пирогами да пирожными, самовары жаровые, до нестерпного блеску начищенные, вскипятили и дворню в нарядах праздничных наготове поставили — дорогих гостей потчевать.

Спустились дамы и господа от панского дома, прошли насквозь перголу — новомодная штука была, ее тоже на тот случай поставили, — перебрались через мосток, на площадке расположились и... стоят. Ветер маленько посвистывает, колокольцы легонько позванивают, кусок страшный над дорожкой качается — полный вид, будто в сей момент поползет, обвалится и всех под собою прихлопнет. Стоят дороги гости, попритихали, к угощению не спешают, меж собой перешиптуются. А пан вдруг как стал смеяться — и остановиться не може, аж слезы з глаз, чуть от хохота боки не надсадил. Так, ухохатываясь, в три погибели согнутый, добрался до угощения — и стоит, чай пьет, руками махает, к столу гостей кличе. А только еще один молодой офицерик пошел да приятель пана, что мельницу паровую построил, а остальные пошущукались, пошептались промеж собою да в дом и возвратились.

После того посещения и наказал пан на скале надпис выдолбить. «Дубиум» там надписано — «сомнение». Вы вот тоже, заметил я, засомневались. А в войну в саду авиабомба жажнула, в имени стекла все повывлетали, деревья с корнем повыворачивало, а каменюка как раскачивалась да сползала, так и посеичас продолжает.

Старичок замолчал, склонил голову набок, прищурился, посопел чубуком, посмотрел на меня, улыбнулся хитро и закончил:

— А в округе скалу эту все «Настыкиным камнем» кличут, и в книжках так, ясное дело.

ПЛЕВОК

1.

Это просто фарт мой был такой, так карта в тот день легла, никак мне это иначе не растолковать, да и надо ли... и кому.

Было не поздно еще совсем, осенью рано сереет, вот и горели уже фонари, и в витринах свет позажигали. А я топтался возле витрины ювелирного магазина и, удовольствия ради, на людей и машины глядел. Нет, конечно, поначалу глазел я на украшения всякие. Зачем? Я и не знаю... Я, и правда, не знаю... Мне раньше, когда



времена были другие, ничего такого даже и в голову не приходило — у меня никогда столько денег не было, чтобы я мог себе такую... такую... такое транжириство позволить. Но если бы вдруг... вдруг бы мне отчаянно захотелось что-нибудь этакое... я бы мог, конечно же, мог бы. Оттого, наверно, и желания этого странного — просто так, бесцельно на цацки ювелирные пялиться — не появлялось, не могло появиться — хотя б оттого, знаете, чтобы глазением этим в соблазн себя не вводить. А сейчас... нет, не сейчас, а тогда, в тот день — это будто в музее происходило, где всем любоваться можно, но мысль о покупке даже и близко не возникает. И обиды или раздражения оттого, что купить ничего невозможно, нет никакого, не может быть, просто чистое удовольствие — вроде как на звезды глядишь.

Вот так я, значит, торчал возле витрины со всей этой роскошью и глядел на толпу. Просто тихо стоял себе в стороне, никому не мешал, и мне приятно так было, спокойно... Знаете, иногда, когда осень, тепло и все в желтых листьях, и неприятностей нет никаких, так иногда бывает... замечательно так бывает.

А он, он был пьяный совсем, его аж мотало. Молодой такой, крепкий, огромный. Одет был шикарно, а матерился и ржал так, что шарахались все. Он вдруг вывалился из толпы, сунул мне что-то за пазуху, качнулся, двинул наотмашь в грудь, да так, что я отлетел, головой и спиной о цоколь витрины ударился и упал на асфальт, а мразь эта харкнула потом на меня, будто на кучу навозную, будто в мусорный ящик, и пошла себе, ухохатываясь, даже не оглянулась...

Я сидел на земле, и чувств во мне никаких особенных тогда не было, не успели они во мне еще образоваться, только больно очень мне было, физически больно, и горечь была, такая противная, едкая горечь... бессилия, унижения, беспомощности. А все мимо шли; нет, не смеялись, просто шли мимо — и все. И я сидел на земле, а надо мной украшения всякие сияли, замечательные, необыкновенные украшения...

2.

Мне, когда я домой еще шкандыбал, вдруг так отвратительно стало, физически отвратительно, точно меня в бочке с дерьмом искупали. Я даже вонь эту мерзкую чуял, такую страшную, невыносимую вонь!..

Потому, когда до дома добрался, тут же под душ полез и все тер себя мочалкой и тер, никак остановиться не мог — только смою с себя мыло, снова тру, тру и тру; думал, кожу сдеру. И вещи, все, в каких был, в старую простыню завернул и в тот же вечер на помойку выкинул, бомзам на радость, видать.

А потом, в постели уже, в темноте, я вдруг вспомнил, как вынул из-за пазухи деньги, какие-то совсем мелкие заморские деньги, грязные, рваные, скомканные в комок, точно сунули нищему где-то на чужбине, и заплакал... как маленький, от стыда...

Наверное, с того самого дня все и стало во мне вдруг меняться необратимо. Меня на улицу стало тянуть — к калекам, нищим, бездомным. Я стал в их компании бывать, поначалу недолго и изредка, потом все чаще и дольше, приятели появились. Я все старался понять, что заставило их, почему... Но так и не понял, да вскоре и не надо мне это стало, а теперь уж и совсем ни к чему, потому что однажды я безо всякого понимания просто остался на улице вместе с ними, остался — и все. Через год... да, пожалуй, так примерно... я в лютую стужу забрался домой — переждать хотел, в тепле пересидеть. Но на меня вдруг опять все забытое навалилось, и вонища такая все время чудилась, жуткая невыносимо, и я снова расплакался, как тогда...

Наверно, это смешно, но я до утра еле выдержал, насильно себя в квартире держал... И больше ни разу с тех пор даже рядом с домом не появлялся. Ни разу! А к улице я привык. И унижить меня до слез теперь не так просто. Хотя, наверно, не совсем это правда. Мне с тех пор, что бродяжить стал, унижений и более пришлось вытерпеть куда больше, да и куда страшней они были, и слезы иногда на глаза наворачивались... Но это другое совсем, это иначе... не знаю даже, как и объяснить, но только иначе — и все.



СТАРУХА

1.

Только грузный старик, насупясь, курил трубку, сидя на низкой лавочке в ограде соседней могилы, да какая-то женщина виднелась вдаль — все, никого больше в этот будний день в поле зрения не было. Потому он, немного помявшись внутренне, решился все-таки:

— Простите, у вас в лейке случайно немного воды не осталось?

Старик еще подымил, уставившись в землю, будто не слышит, но потом все ж таки смилостивился, заворчал басом:

— Это, молодой человек, совершенно неправильно. А если б меня поблизости не оказалось, тогда что?.. Ладно, берите. Там достаточно, и вам хватит.

Потом помедлил, пока он брал лейку, и вдруг спросил:

— А у вас, простите, кто здесь?

— Жена первая. Рак желудка. Чуть больше года — и все, — сказал он совсем тихо и извиняющимся тоном добавил: — А принести с собой я ничего не могу. Все всегда беру где-нибудь, потому что нездешний. Нет, раньше жил здесь, конечно, а потом второй раз женился и отсюда далеко перебрался. Раз в год только и прилетаю.

— Я тоже к жене прихожу. К единственной, — старик усмехнулся горько. — Мы с ней совсем немного до золотой свадьбы не дотянули. Совсем капельку... А вы... Извините, вас как зовут?

— Валентин.

— А меня Михаилом Семеновичем называйте. Да, так вы, Валентин, что же, каждый год прилетаете? Я, знаете, потому удивляюсь, что умерших жен, когда живая есть, мало кто навещает.

— Меня, Михаил Семенович, случай заставил. Станный, знаете, случай...

— Что ж, Валентин, за случай такой, извините за любопытство, может заставить издалека на могилу жены бывшей лететь? Я смотрю, вы уже уходить собираетесь... мне тоже пора. Может, пока к выходу идти будем, расскажете коротенько?

— Конечно, что ж за секрет. Идемте.

2.

— Я, когда второй раз женился и переехал, вначале по командировкам все ездил. Так и занесло меня как-то в небольшой среднерусский город. Поезд рано совсем пришел, деваться некуда было, ну и пошел я бродить, дома разглядывать, воображать, как в них незнакомая жизнь протекает.

Только совсем недалеко от вокзала удалось отойти; слышу вдруг, кричит, изо всех сил руками машет и несется ко мне с другой стороны дороги старуха — худая, высокая, платье цветастое как на палке болтается, шаль белая шлейфом дымным за спиной летит, а из-под шали по ветру черно-седые космы веются длины непомерной. И чем она ближе, тем отчетливей видно лицо — узкое, длинное, темно-коричневое, все в морщинах, как в бороздах; а глаза — огромные, зеленые, не по возрасту яркие, просто пылают зеленым огнем; и взгляд — дикий, беспамятный... Настоящая ведьма.

Запыхавшись совсем, неотрывно в глаза мне глядя, налетает карга бешеная, как буря — я аж отшатнулся; в рукав мертвой хваткой вцепляется и, уставив в меня заскорузлый палец, орет на всю улицу — да со злобой такой, просто с остервенением:

— Ты, изверг безбожный, Катьку мою давно навещал?!

Я, знаете, прямо оторопел, вмиг гусиной кожей покрылся, дыхание перехватило, сердце замерло. Потому что Катюшей жену мою первую, покойницу, звали; мы

всего-то два года и прожили, и я на могиле ее, за суетой домашней да разъездами, ни разу со дня похорон и не был.

А старуха орет:

— Передай, провались ты пропадом, чтоб на днях у меня появилась, шалава, кровь из носу!

Повернулась и прочь понеслась, только пыль за ней завилась да шаль и грива седая понеслись по ветру.

Я после еще долго стоял, будто в ступоре, и мороз по коже бежал, и сердце все не отпускало. А короткое время спустя вдруг так стыдно мне стало... Не передать даже, как стыдно.

Я не суеверный, не сентиментальный, но с тех пор на могилу в день Катюшиной смерти прилетаю — что бы ни было. Такое вот... *приключение*.

Потом, до самого выхода, молча шли; прощаясь, старик крепко сжал его руку и, не отпуская, сказал:

— Вы, Валентин, не беспокойтесь. Я и за могилой вашей Кати приглядывать стану, сколько сил будет. Ведь рядышком. А на следующий год, бог даст, свидимся; будет время у вас, так и посидим где немного, родных своих вспомним. Всего доброго вам.

— И вам всего доброго, — ответил он, улыбнувшись грустно. — И спасибо за все. А я прилечу. Обязательно.

БАРАБАН

1.

Вики проснулся совсем-совсем рано. Как же спать можно, когда они с мамой сегодня поедут в большущий-пребольшущий город, пойдут в огромный-преогромный игрушечный магазин и купят любую-прелюбую игрушку. Какую он только захочет! Как же спать можно!..

А за окном дождь шелестел, шептал что-то монотонное, грустное, и ветер, вторя ему, все всхлипывал о чем-то, все всхлипывал... И совсем это было не похоже на день, когда день рождения, совсем не похоже.

Но Вики грустить — что за глупости! — и не собирался. Он сел в постели, укутался потеплей в одеяло и стал смотреть в темноту за окном, слушать ветер и дождь и представлять, как он будет ходить по всем, по всем этажам, как много там будет веселых людей, какую игрушку он, может быть, выберет... А потом, даже не помнил как, вдруг снова уснул, крепко-крепко, и проснулся, когда мама изо всех сил тормозила, дразнила, что он проспит царство небесное и что с такой соней они никогда никуда не смогут уехать. И смеялась, смеялась...

Вики, еще когда умывался, вдруг отчего-то ужасно разнервничался. Все внутри пришло в беспокойство, напряглось, накалилось, и он никак, никак не мог взять себя в руки, собраться. Даже чай выпить не получилось — обжигался, расплескивал; бутерброд надкусил, но так и не проглотил, и сидел с полным ртом, уставясь в пространство. Тогда мама обняла крепко-крепко, поцеловала оба синих глаза, собрала бутерброды в пакет, налила в термос чай и сказала, что завтракать они будут прямо в поезде. Вики этому страшно обрадовался, просто невероятно, даже запрыгал по кухне на одной ножке, и стал второпях одеваться, повизгивая и похрюкивая.

Это странное дерганое состояние сохранялось аж до тех самых пор, пока длинный-предлинный поезд пронзительно не загудел и не тронулся. А день за окном стоял все еще пасмурный, и летели по небу облака слоистые, пепельные, но уже и солнце сквозь них проглядывало все чаще и чаще. И Вики засмотрелся, заслушался — и от стука колес, от быстрой езды, от мелькающих полей, лесов, поселков



и домиков, от внезапных ударов солнца в окно стал затихать, остывать, успокаиваться.

Они с мамой долго-долго ходили по этажам чудесного магазина, но Вики все не мог и не мог на что-то решиться: то одно хотелось, то другое совсем, то третье, а он ждал чего-то совершенно, совершенно особенного. Но не было ничего такого, к чему бы душа сразу и немедленно прикипела и ни за что, ни за что не захотела бы расставаться. А потом, в музыкальных игрушках, он увидел вдруг... барабан!

Барабан был стеклянный! Красный, синий, зеленый... всех цветов радуги. А доньшки — тоже стеклянные, только матовые — даже под слабым ударом розовой деревянной палочки с мягкой черной головкой издавали чудесный, ни на что не похожий звук. Это был даже не звук, а голос — живой и теплый голос неизвестного замечательного существа.

Мама сначала смеялась и отговаривала, но Вики нагнул к себе ее голову и прошептал в самое ухо тихо-претихо: «Пожалуйста! Ничего не хочу больше», — и стал от волнения красный-прекрасный, жаркий-прежаркий, казалось даже, вот-вот на глазах выступят слезы. Мама даже раздумывать больше не стала — через пять минут они уже шли к остановке, и Вики нес в руках красно-оранжевую, большую-пребольшую коробку.

Уже в сумерках, когда все гости разошлись, а мама возилась на кухне, Вики в первый раз сел в своей комнате возле стены, поставил рядышком барабан, несильно ударил по нему палочкой и стал вслушиваться, как в огромном пространстве рождается, набирает волшебную силу, становится частью души таинственный, живой, ни на что не похожий звук. И такое нес этот звук безграничное счастье, такую отраду... Только мама потом и могла все это понять. Только мама.

2.

— Лина, ты?

— Я это, я. Может, другого кого ожидаешь? Так ведь некого тебе ждать-то. Ведь некого?

— Ты почему снова так поздно?

— А в клубе была. А что?

— Вчера в клубе, позавчера... Ты все позже и позже приходишь. Мы же договорились...

Жена бродила по комнате, снимала, расшвыривала повсюду тряпки, шаталась, театрально виляя бедрами, изо всех сил изображала, что пьяна вдребезги, для того, может, чтобы проще было заплетающимся языком говорить, речь его передразнивая, всякие гадости, и хохотала взхлеб безостановочно, как ненормальная.

— А тебе что, барабанчик твой, что ли, наскучил? Наскучил?... Про жену вспомнил, да? Нет, ты подумай, про жену вспомнил... Вот радость, вот радость какая!

— Ну зачем ты, зачем? Что вам всем барабан мой дался? Мешает он вам? Тебе? Но чем, чем мешает?! Может же быть у человека что-то такое, что одному ему нужно? Перестань хохотать и притворяться, послушай хоть раз! Может же быть у меня что-то свое, совсем свое... Как чудесная, как несбывшаяся мечта, понимаешь? Может же кто-нибудь, хоть кто-нибудь слышать несбывшуюся мечту! Ну хоть ты, хоть ты пойми! Неужели...

— Нет, не-е понима-а-аю... И если уж знать хочешь, и понимать не хочу. Не желаю! Если так знать хочешь, всем, всем барабан твой идиотский поперек горла. Осточертел, просто до ржачки! Ну с чего это тебе, придурковатому, голоса какие-то чудятся? Никому — нет, а тебе — исключение. Нету их, нету недоделанных голосов этих. Нету их, понимаешь! Никого вокруг нас из-за этих треклятых голосов не осталось, все, как от ненормального, от тебя поразбежались. А тебе все, все по барабану! Ни черта не надо, ни черта вокруг не замечаешь!

Бесполезные все это были разговоры-вопросы. Давно уже бесполезные. Зачем задавал, слушал?.. Что ж, всякая игра правилам подчиняется. И семейная тоже. И потом, не молчать же все время... А говорить давно уже не о чем. Не о чем совершенно. Поначалу казалось, что все как-то сладится, переломится, в берега войдет хоть какие-то. Не вошло, не переломилось, не сладилось. Только жестче год от года все становилось, невыносимее...

Потому в этот раз он дождался, когда она зайдет в ванную, и опрометью за дверь выскочил — так на воздух вдруг захотелось, на волю — и помчался, по улицам и переулкам, себя не помня, ничего, никого вокруг не замечая.

3.

Вики проснулся на скамейке в маленьком заброшенном парке. Тело затекло, ломило, голова — как котел; как попал в парк на скамейку — совершенно не помнил. Помнил только, что носился по темному городу до изнеможения, потом сидел в каком-то гадюшнике,пил какую-то дрянь... Дальше — провал. Первый раз в жизни дома не ночевал. Но почему-то безразлично все было. Так безразлично, как будто вообще домой больше не собирался.

Пошел снова бродить. На площадке детской долго сидел, за малышкой веселой наблюдал-любовался, аж пока мамочки-нянечки не забеспокоились и полицейский не подошел, документы стал спрашивать. Документов не оказалось. Забрали в участок. Долго мурыжили. Пришлось позвонить на работу (домой не хотелось). Снова пошел шататься. Шел, ехал куда-то... В голову мысли никакие не лезли, не приходили. Воспоминания — воспоминания были. О поездке, о маме, о каких-то надеждах. А мыслей — мыслей нет, не было. Не нужны были мысли. Ничего такого не существовало, чтоб об этом стоило думать. А еще шумело, шумело фоном-рефреном в усталой и пустой голове: «Что делать, что делать, что делать?..» Потом, к вечеру, так невыносимо стало, так невыносимо... Решил домой добираться, чемодан собрать, уехать куда-то. Может, там, где-нибудь, черт знает где, будет иначе. Иначе!..

Вики нашли в дальнем углу бывшей детской. Он сидел на полу с простреленной головой, а рядом лежали куски разбитого вдрезг барабана и сломанные барабанные палочки.

РОЗА

Святочный рассказ

Был конец декабря. К этому времени я уже несколько месяцев, что было сил и нервов, ухаживал за своей будущей первой женой. Она мучила меня в ту зиму просто бессовестно. Специально могла прийти на свидание на полчаса раньше и после устроить разнос за мое опоздание. На следующий раз опаздывала на два часа и бесилась, что я ее не дождался. Потом не являлась совсем и назавтра встречала меня в институте как ни в чем не бывало. О ссорах по незначительным поводам рассказывать я не желаю. Их было столько, что *мирное* время казалось мне чудом, и я иногда, собираясь ей позвонить, никак не мог вспомнить, помирились мы в прошлый раз или все еще в ссоре. В общем, мне доставалось и по первое, и по третье, и на пряники, и на орехи.

Вообще-то ее звали Ева, но сокурсницы на инязе называли ее не иначе как Эфа — на немецкий манер, что было куда как вернее. Была она маленькой, гибкой, худой, агрессивной, нахальной и ядовитой. Та была еще Эфа! Но я терпеливо сносил всю ее змеиную сущность и вел себя как молодой и самонадеянный бык. Я думал, что вытащу все, любой и немислимый груз, и ведь вытаскивал, любой и немислимый! Мне было все нипочем... Напрасно? Быть может. Но я не жалею. Я был тогда



бешено счастлив, не то что сейчас, когда тишь и, отчасти, даже благодать. Но об этом как-нибудь после.

В тот день я должен был ждать ее в крайнем подъезде дома, где был самый большой городской магазин «Соки-воды», в шесть часов вечера. Без четверти шесть я, понятное дело, как штык был на месте.

Этот роскошный старинный купеческий дом позапрошлого века я за последние несколько месяцев возненавидел до дрожи вместе со всеми треклятыми кариатидами, а также и эркерами. Его закопченную, большей частью разрушенную лепнину, облезлые стены, штукатурку, местами обвалившуюся до дранки, едва различимый под многолетнею грязью желтый мрамор широкой лестницы я изучил подробнейшим образом, вплоть до мельчайших трещинок, так как Эфа, по какой-то причуде, свидания мне назначала чаще всего в этом доме. Когда-то, в известное время, жильцов его уплотнили, спрессовали, утрамбовали и устроили вместо квартир коммуналки, неимоверные, самые жуткие в городе — и дом превратился в трущобу с кариатидами, но мысль эта в голову его обитателям вряд ли когда приходила.

Я стоял в огромном подъезде с высоким лепным потолком и стальной рифленой площадкой, где яркая лампочка высвечивала остатки купеческой роскоши, и терпеливо ждал Эфу, прислонившись спиной к перилам, как вдруг дверь открылась, и из плотного клуба морозного пара появился юный босок — высокий, худой, в расхристанной куртке, без шапки, патлы до плеч, в штанах с ужасающим клешем. В нашем городе их называли презрительно «сявками» или «сявотой». Я долгое время жил в святотском районе и отлично знал эту публику. Они вечно шатались без дела шакальными стаями, срывали в сумерках шапки с одиноких прохожих, задевали скабресными шуточками девчонок и женщин, цеплялись без повода и, чуть что, лезли в драку, распаленные алкоголем, коллективной мощью и куражом безнаказанности.

Но этот сейчас был один и вел себя мирно. Он прислонился напротив, в двух шагах от меня, к ободранной стенке и молча стоял, уставившись в потолок. Прошло минут десять, когда сосед мой вдруг зашевелился, полез куда-то под куртку и осторожно вынул оттуда... красную розу! Мать честная! В руках у него была настоящая, живая красная роза! В это просто невозможно было поверить — конец декабря, на улице лютая стужа, ветрище, метель куролесит, а этот позорный сявка стоит как ни в чем не бывало и держит в руке потрясающую красную розу... Честное слово, в то время можно было считать, что это даже больше, чем чудо!

Было начало седьмого, время, когда большинство обитателей дома, нашатавшись после работы по пустым магазинам, возвращаются домой. Двери все время хлопали, усталые, злые с досады люди входили с мороза в подъезд — и вдруг видели розу! Женщины, молодые и старые, немедленно озарялись восхищенными и восхитительными улыбками; они так сияли, будто именно им была предназначена роза. Мужчины — те были потяжеловесней. Наверное, как и я, думали поначалу, что это мираж, даже трясли головами, пытаясь прогнать наваждение, но потом все равно расплывались в неудержимой, изумленной улыбке. Потому что это было немислимо, невозможно, потому что все было как сон, потому что это видение было не из этого мира...

Сявка сначала глядел на весь этот цирк исподлобья, зло и презрительно зыркал глазами, сплевывал через зубы, будто был все еще в стае и шастал по улицам в поисках удачи. Но, видно, улыбки и то, что входящие не замечали жалкую внешность обладателя розы, не боялись его, не попытались ни разу обозлить или как-то задеть, а лишь улыбались — открыто, приветно, приязненно, — проникло в дикие дебри, скрывавшие в нем человека. И душа его постепенно стала отогреваться, оттаивать, отмякать... А когда одна женщина, укутанная до самых глаз в пуховый платок, так, что совсем не видно было лица, подошла к нему, нагнула мягким движением патлатую голову и поцеловала, он покраснел вдруг ужасно, пунцово, до слез, стал беззащит-



ным, наивным, обычным смущенным подростком и, как оказалось, вполне симпатичным при этом.

Лишь на меня вся эта странная атмосфера не действовала. Отчего-то он стал раздражать меня с первой минуты. Эйфории, как у аборигенов этого дома, у меня не возникло, и восхищение розой автоматически не перешло на ее обладателя. Я видел перед собой обычного сявку, добывшего где-то розу — и все.

Мало того, это жалкое существо, попав в круг всеобщего восхищения, вдруг решило свести со мною знакомство.

— Я девчонку здесь жду, — сказал сявка в пространство. Помолчал, потом повернул ко мне голову и добавил: — А ты?

— Я тоже, — ответил я жестко, сразу пытаюсь обрезать дурацкую болтовню. Но он, простая душа, в интонациях не разбирался, поэтому продолжал лезть ко мне с разговором.

— Ты давно с ней кадришь?

— Давно.

— А я — первый раз. А где познакомился?

— Слушай, давай помолчим... Видишь, нет ее.

— А меня познакомили, значит, на танцах, — разулыбался настырный придурок, закончив: — Танцует — просто ништяк!

Каждый раз, когда дверь открывалась, мы, как два строго обученных пса, одновременно делали стойку; все внутри у меня замирало, напрягалось, рот сам собой растягивался в идиотской, неудержимой улыбке, глаза выпучивались, лицо застывало. Он был тоже не лучше. И такими нас видели те, кто входили. Его, собственно, видели! Потому что меня они просто не замечали. Он был в их глазах таким же нормальным, как и я, а может, и лучше меня — наверное, потому что у него была роза, с которой мой обыкновенный вид тягаться явно не мог.

Поначалу я думал, что будет выглядеть так, будто мы вместе, и мне это было противно. Но потом оказалось, что это было бы еще ничего, потому что теперь я рядом с ним просто никак не выглядел! Ощущение было такое, что я стал вдруг нулем, пустотой, приложение к этому, с розой... А тут еще это ежеминутное напрячься-расслабиться... Уж лучше б я околевал на улице! Но на улицу выйти было никак не возможно — подъезд был проходной, а я не знал, откуда она придет. И он тоже, наверно, не знал. Мы продолжали стоять. Была половина восьмого. Я дико замерз, а он так и вовсе дрожмя дрожал, но уйти мы никак не решались — а вдруг...

От холода, от бессилия сделать что-либо я все больше и больше начинал ненавидеть и Эфу, и подъезд, и это соседство. А он, наоборот, отмяк в лучах своей славы, испытывая теперь какое-то странное чувство, ему нужен был выход, и выход этот нашелся — неожиданно он стал смотреть на меня как на собрата по оружию и несчастью, и полез ко мне со знакомством.

— Ты где живешь?

— На Клочках.

— Во даешь! Так ты Витьку Бурова знаешь! Знаешь Копейку?

— На кой фиг сдался мне твой Копейка?

— Не знаешь — и ладно. Только если к тебе приставать на Клочках кто начнет, скажи, что ты кореш Копейки, и все будет класс. Он мой брательник, двоюродный. Я скажу, чтоб не трогал.

Еще постояли. Но раньше него я теперь уходить не собирался. Из принципа.

— Слушай, они не придут. Давай расходиться.

От холода губы его теперь плохо слушались, слова выговаривались с трудом. Но мне было совершенно не жалко сявку. Мне было важно, что он сдался! Мне хотелось хоть в этом взять над ним верх. И хоть я знал уже наверняка, что Эфа теперь не придет, упрямо ответил:

— Нет. Я еще постою.

— Неужто ты будешь свою до восьми караулить?

— А что? Хотя бы...

Еще постояли. Он был уже сине-зеленый. Наверно, и я был не лучше, хоть и одет теплее.

— А как твою девчонку зовут? — снова завел он шарманку.

— Эфа! Отстань! — рявкнул я во всю мощь.

Он достал меня, этот шкет. Но ему, в его сине-зеленом состоянии, это было до фени.

— Ты чего? — изумился он, еле выговаривая слова. — Моей Валентины тоже нет, так я ж не психую. Все они, значит, такие. Не придут они. Точно. Я замерз уже, знаешь, по-страшному. На, матери розу отдай. Мне некому... Все. Я свалил.

Мы вышли гуськом на улицу — он первый, а я, конечно же, после.

На улице было шумно, на улице было весело, горели огни, падал снег, сновали машины и люди.

— Ты, если что, обязательно про Копейку скажи, — клацнул он напоследок зубами.

Благодетель задрипанный!

— Ладно, скажу... — ответил я уже ему в спину, и мы разошлись.

— Ладно, скажу... — повторил я тут же с досадой и злостью.

— Ладно, скажу... — твердил я прилипшую фразу все время, пока возвращался домой.

Я был наконец-то свободен — от Эфы, от сывки, от эркеров с кариатидами. У меня оставалась еще уйма прекрасного вечернего времени.

А замерзшую квелую розу я сразу же, к чертовой матери, забросил в сугроб.



ДВА РАССКАЗА

ЧУЖОЙ УЖИН

Маленький, низенький городок, больше походивший на село, тонул в зелени и зное. Когда к вечеру разношерстное стадо, медленно перебирая сотнями ног, двигалось по широкой Санькиной улице, пыль, желтая и мутная, долго еще стояла неподвижно в воздухе, точно не хотелось ей вновь ложиться на дорогу и смягчать удары босых ребячьих ног. Но вот коровы и козы под призывные крики хозяек разбрелись по своим дворам, шествовал мимо пастух — городской дурачок Анюта, громко щелкая бичом, и пыль наконец оседала на серые крыши домов и редкие заборы, которые за долгие военные зимы жители не успели полностью пожечь в печах, на картофельную ботву, росшую у предприимчивых горожан прямо на улице под окнами.

День клонился к концу. Темнел воздух. Тени от домов и деревьев медленно пожирали дорогу. Солнце сперва путалось в верхушках яблонь у соседки, бабки Солдатихи, потом еще несколько минут яркими бликами билось в оконных стеклах и наконец исчезло вовсе за кромкою бора, далеко за огородами. Стало свежо и в сумерках как-то тревожно, точно невеста каким образом перенесли тебя со знакомой улицы в заколдованное царство — до того неузнаваемыми стали окружающие предметы.

Ребятишки, весь вечер бегавшие, а потом помогавшие родителям управляться со скотиной, теперь, притихнув, сидели на бревнах у сотниковской избы и слушали сказки Вальки Коршуновой — о кашеях, оживших мертвецах и принцессах, королях и Железной Маске. То ли от всех этих ужастей, то ли от холодного дыхания ночи парнишки и девчонки теснее прижимались друг к другу, судорожно натягивая на себя не гревшие курточки и кофты.

Наконец все рассказы кончились. Кое-где уже оранжевели окна в домах. Матери звали детей ужинать и спать. Саньке Сотникову тоже хотелось в тепло и уют. И в животе подвело — пробежал весь день без обеда. Но идти домой не было никакого желания. Мать его работала на фабрике в ночную смену, изба казалась пустой и страшной. Только сверчок регулярно заводился с наступлением темноты.

Нехотя сполз он с бревен, и тут, точно угадав его мысли, Борька Иваныкин стал звать его к себе домой:

— Сань, айда к нам. Что тебе одному-то дома сидеть?

— К вам? — растерянно переспросил Санька. У Иваныкиных ему никогда раньше бывать не приходилось, хоть с Борькой они уже четвертый год учились вместе в одном классе, и тот часто забегал к нему решать задачки по арифметике, а то и просто поиграть. Порой в единственной комнатухе Сотниковых поднимался такой кавардак, что мать сердито выпроваживала всех на улицу, чтобы хоть немного при-



брать в избе. Но и тогда им даже в голову не приходило идти к Иванькиным. Так уж повелось.

Видя сомнения друга, Борька стал тянуть его за рукав.

— Пошли! Мамка сегодня какаву варит. Вкуснятина! Попробуешь хоть.

Санька вновь ощутил голод. Нет, ужин у него был — пара помидоров с грядки, хлеб, крынка козьего молока. Что еще надо-то... Но какава... Что это за штука такая? Наверное, что-то очень вкусное, раз Борька так блаженно жмурит узкие свои глазки.

— А тетя Нюра не прогонит? Поздно уже, — осторожно спросил Санька.

— Да что ты! Она сегодня добрая! Пойдем!

Тетя Нюра, Борькина мать, накрашенная полная женщина с кудряшками на голове, в общем-то, и не казалась Саньке слишком уж строгой. Но он почему-то недолюбливал ее. Порою, когда где-нибудь в городе им с матерью приходилось попадаться ей на глаза, тетя Нюра гладила Саньку по голове как маленького и приговаривала уж как-то очень сладко:

— Бедненький, как же он без отца-то растет? — При этом мать обычно вспыхивала и старалась поскорее уйти.

Про отца Санька ничего не знал, кроме того, что он работал шофером и погиб на войне. А что тут особенного? У половины пацанов отцы погибли на фронте! Взаимоотношения между взрослыми до Саньки доходили еще туго.

— Ну пошли... — сказал Санька, решившись, и они побежали разгороженными дворами на соседнюю улицу, к громадному дому Иванькиных.

— Сегодня мамка принесла какаву и консервы, — возбужденно говорил Борька по дороге. — Вот наедемся-то! Ты консервы когда-нибудь ел? А мы их каждый день едим! — хвастался он, захлебываясь от восторга.

Не ел Санька консервы! И вообще, видел их только в витрине магазина, где они годами стоят нетронутыми. Ну и что! Подумаешь, какава с консервами... Без них прожить нельзя, что ли...

Но любопытство и надежда отведать невиданные кушанья брали верх.

Борька придержал в будке злющую овчарку, пока Саня пробежал от ворот до высокого резного крылечка. И вскоре они оказались в просторной кухне, ярко освещенной электрической лампочкой, болтавшейся на витом шнурке под потолком.

Вся семья Иванькиных уже сидела за столом. Тетя Нюра, улыбаясь, разливала по тарелкам вкусно пахнущий борщ. Казалось, что сама доброта так и светится в каждой черточке круглого ее лица, в каждой складке опрятного фартука и красивой белой кофты. Рядом сидел отец, дядя Федя, мужчина молчаливый и суровый. Санька редко встречал его на улице. Обычно под вечер дядя Федя подходил к своему дому, прижимая под мышкой толстый портфель, и, отпустив взмахом руки машину, исчезал за тесовой калиткой. Но по осени ребятам приходилось сталкиваться с ним в другой... обстановке. Ни у кого в городе не было таких красных, таких аппетитных и зазывных ранеток, как у Иванькиных! И не один любитель спелых плодов выходил с Иванькинской усадьбы с малиновыми ушами — дядя Федя всегда был начеку!..

— Где шляешься? — глухо спросил отец у Борьки. — Живо за стол!

Тот немедля уселся на табуретку у дымящейся на столе тарелки. Саньке приглашения не последовало, на него не обращали внимания, будто он — пустое место, хотя, войдя вслед за Борькой, он громко сказал: «Здравствуйте!»

Потоптавшись немного у двери, он присел на порог, поджав под себя босые в цыпках ноги, недоумевая, почему так произошло. Зашмыгал носом. Хозяин искоса поглядел в его сторону и принялся за еду, с шумом втягивая в себя жижу с алюминиевой ложки. Тут же прочие члены семейства молча и споро принялись таскать борщ из тарелок. Дисциплинка, видимо, держалась здесь твердая. Санька же не знал, как поступить — его и не гнали, но и не звали к столу. Он оказался в роли зрителя, перед которым дружная семья Иванькиных раскручивала спектакль «Как прекрасно мы кушаем». Что ж делать-то?..



Когда с борщом было покончено, тетя Нюра раскрыла пару консервных банок, от которых вмиг распространился острый, щекотавший обоняние запах. По стаканам разлили какую-то коричневую воду. Тут Санька еще сильнее почувствовал, что толком не ел с самого утра.

А Иванькины теперь тяжелыми блестящими ножами резали белый хлеб, мазали его сливочным маслом, клали поверх кусочки колбасы и медленно пережевывали все это, запивая неведомым Саньке напитком.

Издredка то один, то другой ужинающий кидал взгляд на гостя. Особенно усердствовала Лидка, Борькина младшая сестра. Исподтишка, чтобы не замечали родители, она кривлялась, строила рожи Саньке, относила руку с бутербродом в сторону, точно протягивала его Саньке, а затем резко отдергивала ее назад.

«Дразнит... как собаку какую-то», — подумал Санька с обидой и перевел взгляд с этой глупой обезьяны на буфет с резными колонками, сквозь стекла которого была видна посуда: вазы, рюмки, тарелки и маленькие бокальчики с нарисованными на них ягодками.

Саньке вспомнилось вдруг, что Солдатиха и другие соседки, часто забредавшие к матери за всякой всячиной, болтали, будто бы тетя Нюра *носит* из детского сада, где работает нянечкой...

Две двери вели из кухни в соседние комнаты. Одна была завешана тяжелыми плюшевыми шторами, зато в просвете другой виднелась кровать, разряженная, как невеста, в кружева и шелк. Пышные формы ее напоминали хозяйку. На стенке висел клеенчатый ковер с нарисованными на нем лебедями. А рядом на этажерке торчала кошка-копилка с раскоряченными лапами и чемоданчик с трофейным германским патефоном. Из открытого окна иванькинского дома по воскресеньям часто доносились песенки про казаков и про то, как «расцвели в саду цветочки». Иванькины жили с большим шиком!

Настроение у Саньки менялось. Ощущение растерянности и смущения вытеснили тоска и желание уйти из этого роскошного дома. Но боязно было собаки, громыхавшей цепью на дворе. И попросить кого-либо проводить его до ворот он не решался.

А Борьке не сиделось. Ощущая неловкость перед другом, он крутился на табуретке, точно бес на сковороде, стараясь привлечь внимание родителей на Саньку. Когда же ужин начал явно подходить к концу, он не выдержал и сказал громко:

— Мам, а Санька?

Отец сердито взглянул на него. Мать же, сморщив на секунду лоб, как будто сообразив что-то, промолвила:

— Ах да, Санечка!..

Она взяла кусок хлеба, намазала его маслом, тяжело вылезла из-за стола, сыто икая, и, подойдя к порогу, протянула кусок Саньке:

— На, кушай, миленький!

Ласково улыбались ее подведенные глаза, обрамленные бледным от пудры лицом. Янтарно блестящее желтое масло на куске. Оторопевший от неожиданности Санька машинально взял хлеб, с минуту подержал его в руке — и слезы ручьями брызнули из его глаз.

— Что ты плачешь, глупенький? Ешь! — все так же ласково уговаривала его добрая хозяйка.

Но Саня уже не мог есть. Он стоял, опустив руку с приношением, и челюсти его сводило от беззвучных рыданий. Потом, резко повернувшись, он выскочил из него-степриимного дома, по пути что-то задев впотьмах — по сеням загромыхало. Испуганно заверещала Лидка.

— Ишь, гордый какой! — прошипела вслед медовая тетенька.

Но Санька уже ничего не слышал. Проскочив мимо собаки, от удивления не успевшей даже залаять, он на ходу бросил ей хозяйский кусок с маслом и, припустив



еще быстрее, в пять минут добежал до своей избы, кинулся на сундук, покрытый лоскутным одеялом, и снова заплакал, зарыдал до изнеможения, до боли в груди. Никогда еще не приходилось ему плакать не от боли, не от разбитой коленки или расквашенного носа, а от обиды, жестокой и, как ему казалось, безмерной, переполнившей все его существо.

— Воруги проклятые, — шептал он, — куркули, воруги! Пропадите вы пропадом со своими какавами! И еще хлеб суют... будто побирушке какому! Я вам покажу!

И он стал придумывать, что такое сделает Иваныкиным в отместку. Помнет и порвет все астры в палисаднике? Нет, этого мало! Выждет случай, влезет через окно в дом и сломает им патефон! А пластинки потопчет, хрусть, хрусть! Вот вам цветочки, вот вам ягодки! А в какаву куриного помету подсыплет — что, вкусно?!

Так пролежал он долго. Когда мать вернулась с работы, Санька уже спал, подложив под щеку мокрый от слез кулак. Мать не стала его будить, подложила ему под голову подушку и укрыла своею шалью, которую за прошлую зиму связала из козьего пуха. А после задула керосиновую лампу и легла сама.

АНАНАСЫ

Билет был куплен в театр Советской армии на 19:00. Как туда добираться, Николай толком не знал, никогда в нем не бывал. А уже полпятого. Ничего, он доберется до нужного места по схеме, что купил в киоске.

Прогулочным шагом он шел по Арбату и уже почти добрался до театра имени Вахтангова, как вдруг заметил впереди небольшой хвостик очереди перед уличной торговкой, каких было много на улицах Москвы. Он прошел бы мимо, если бы торговали чем угодно, даже апельсинами. Но тетка продавала... ананасы!

Это было чудом! Николай, конечно, видел их на картинке, но чтобы в натуральную величину, прямо на улице — никогда! А главное, их же можно купить! И это здесь, у стены дома, рядом с кучей машин и автобусов, проезжающих по улице и разбрызгивающих лужи со снегом.

Он не мог пройти мимо такой заграничной диковины. Хотелось и самому попробовать кусочек ананаса, и Милку угостить, когда она вернется, наконец, со своих курсов из Риги домой, в Павловск... Что ж, пришлось встать в очередь.

Очередь сплошь состояла из местных древних старцев и старух, которых, как заметил Николай, была тьма тьмушая в Москве. А на торце дома, перед которым шла торговля, висел огромный транспарант, на нем — Ленин на фоне знамени. И никакой подписи, кроме дат: «1870—1971». В прошлом году отмечали юбилей — столетие со дня рождения вождя. А в этом, получается, вот как — меняем ноль на единицу. Потом — на двойку... и так ежегодно, до бесконечности. Интересная рационализация... Вечный юбилей. Ловко!

А очередь почти не двигалась. Задние кричали: «Не больше трех в руки!» — боясь остаться с носом. Но и эти три подолгу выбирались счастливыми очередниками. Москвичи копались в ананасах... как в куче гнилой капусты, привыкнув к такой неспешности в своих овощных магазинах. Потом они неспешно доставали свои кошельки и долго рылись в них, выбирая подслеповатыми глазами нужные монеты. Им некуда было торопиться. А время шло!

Когда до продавца осталось три-четыре бабки, Николай взглянул на часы. Четверть седьмого!.. Что делать?! Уходить из очереди? Или наверняка опоздать в театр?... Потоптавшись на месте, он все же решил остаться. Когда ему вручили ананасы, он расплатился приготовленной мелочью и ринулся к станции метро, на ходу запихивая фрукты в свою большую авоську.

Уже в метро он развернул схему. Ехать пришлось с пересадкой на автобус в черт знает каких даях. А тут еще все встречные, заметив его добычу, лезли с вопросами:



- Где ананасы брали?
— Да на Арбате!
— А где на Арбате?.. Арбат велик...
— У театра.
— У какого?

— Да он один там и есть!

Ну какого черта спрашивать, если едешь в другую сторону!

И снова:

- Где ананасы брали?
— На Арбате.
— Ты смотри-ка, уже и ананасы продают! В магазине?
— Нет, на улице.
— И почему?..

«Где ананасы брали?»... «Где ананасы брали?»...

На очередной вопрос Николай уже не ответил, торопясь. Тогда вопрошающие стали тянуть его за рукава, требуя ответов, чуть ли не угрожая, да так, что пришлось вырываться и убежать.

В театр он ворвался потный, в распахнутом пальто. Фойе было уже пустым. Конечно же, он опоздал.

— Куда вы с этим? — закричала билетерша в дверях. — И портфель еще!

— Но куда же я их дену? — взмолился Коля. — Я приезжий. Буквально через четыре часа лечу домой. А так хотелось посмотреть Зельдина... Пустите, пожалуйста, а?..

— Ну ладно. Туда идите, в гардероб. Там и оставите. И отправляйтесь на верхний ярус, как опоздавший!

Николай ринулся в гардероб.

— Что? И эту растительность тоже? Ни за что не приму! Кстати, где брали?..

Как ни странно, его пустили в партер и пристроили на крайнее у прохода место. Он сложил свои вещи сбоку и облегченно вздохнул.

На сцене суетились артисты в средневековых костюмах и шляпах с плюмажами. Еще не вникнув в суть действия, Николай вдруг услышал позади себя рев трубы и бой барабана, и откуда-то из бокового прохода затопал отряд мушкетеров, лихо горланя какую-то дурацкую песню. Они шли по направлению к сцене и подходили к нему все ближе. Николай только сейчас сообразил, что надо бы убрать свою поклажу, даже нагнулся за ней, как вдруг предводитель отряда, в развивающемся плаще, освещенный откуда-то сверху персональным софитом, носком сапога зацепился за его авоську с ананасами, на всем ходу грохнулся на пол и покатился с матами под уклон к сцене. Итальянский спектакль с закрученными ходами столичного режиссера внезапно был обогащен эпизодом *а-ля рюс*, никакого отношения к действию не имевшим.

Зал, конечно, взорвался от смеха, но спектакль продолжился, даже свет в зале не стали зажигать. Зрители, видимо, восприняли случившееся как еще одну новацию в постановке, потому смеялись не слишком долго.

Какие-то дюжие мужики и билетерши бесшумно стащили Колю со стула, сопроводили до гардероба, там принудительно одели и водрузили на него задом наперед шляпу. А после, несмотря на вялое сопротивление, в минуту вытолкали его из театра, выкинув вслед портфель и сетку с ананасами.

Это был полный позор! Хорошо еще, что никто из знакомых не видел этой ужасной картины, после которой Коля потерял бы свой авторитет на долгие годы. Оглушенный, плохо соображающий «театрал» поплелся к остановке, совершенно не реагируя на вопросы прохожих.

В гостинице у него оставалось еще достаточно времени для отдыха перед отъездом. Николай завалился на кровать, постепенно остывая от стычки в театре и мыс-



ленно подытоживая результаты командировки. Результаты, надо признаться, были неплохими. Сегодня с утра, например, они с Мишкой Шацким выиграли дело в Госарбитраже: «Цеммаш» уплатит их заводу неустойку в 300 тысяч рублей за недопоставку оборудования. Вот за этим они сюда и ехали.

Но и тут все чуть было не закончилось конфузом. «Где подтверждение договорных оснований для поставки?» — спросил вдруг госарбитр. И Коля растерялся: договора поставки как такового не существовало. Но быстро среагировал Мишка. Он накинулся на их растрепанное «дело», ловким движением руки выудил нужную бумаженцию, полученную когда-то от комбината, и вручил судье. Это было согласие ответчика произвести поставку оборудования по наряду Госснаба. Арбитра она удовлетворила, исковая сумма в пользу завода была взыскана.

Получилось, в общем-то, неловко. Это он, Николай, будучи юристом, должен был сориентироваться и сделать то, что следовало, но первым оказался снабженец Михаил. Но важен результат, а он — положительный. И главное, у директора их завода будет документ с причинами срыва сроков ввода второй очереди производства: да вот же, «Цеммаш» заводу вовремя оборудование не поставил, а меры принимались, вплоть до Госарбитража!

Припомнил Коля и первые два дня этой командировки в Москву.

Прилетели они рано утром. Хвост очереди на автобус, который ходил до аэровокзала, был удручающим. Прождали час. Потом явился сумасшедших размеров «Икарус», и почти все в него вошли. Мимо окон поплыли дома и промышленные строения, какие-то заросли из тонюсеньких березок, огороженные котлованы для будущих высоток и новые микрорайоны. Потом проезжали через центр по набережной вдоль стен Кремля, затем по лабиринту каких-то переулков — и вдруг вырвались на улицу Горького. Шесть лет не был здесь Николай, со времен неудачного своего поступления в столичный институт. Москва казалась теперь еще краше, чем прежде.

Добрались до аэровокзала без остановок и довольно быстро. Но зато потом долго проторчали в очереди за обратными билетами. Дальше следовало подумать о ночлеге.

— Подожди-ка, тут у меня кореш есть из «Снабсбыта», он поможет.

Мишка тут же позвонил и договорился о встрече.

«Снабсбыт» оказался огромным залом в бывшей конюшне времен Павла I, под завязку наполненным письменными столами, которые стояли впритык друг к другу. В помещении не стихал громкий гул от сотен голосов чиновников, разговаривавших по телефонам. Это напоминало солидных размеров механический цех на их заводе. Для нормального разговора тет-а-тет следовало выйти на лестничную площадку, где под видом курильщиков и можно было о чем-то договориться.

— Достал я вам бронь на два места в гостинице «Старт». Это в Лужниках. По-дойдет? Ну, счастливо!

Поблагодарив благодетеля, путешественники отправились к месту своего будущего проживания. Им здорово повезло: во всех гостиницах Москвы уже многие годы висели таблички, в которых говорилось об отсутствии мест, а тут — двухместный номер. Какое счастье!

«Старт» был странным отелем, располагавшимся под трибунами стадиона в Лужниках. Гостиница имела конфигурацию замкнутого эллипса, по ее коридорам можно было кружить до бесконечности. Обычно тут останавливались спортсмены, одну из команд они даже смогли увидеть при заселении.

— Смотри, смотри! — дергал за рукав Николая импульсивный Михаил. — Это ж сборная СССР по баскетболу! Ребята из Швеции вернулись!

Николай оказался равнодушным к этой встрече, поскольку болельщиком отродясь не был. Стоявший у стойки народ с интересом разглядывал новых чемпионов огромного роста и их заграничные шубы из искусственного меха.



— Теперь бросаем вещи в номере — и на обед. Пойдем в какой-нибудь хороший кабак!

Мишка был известным любителем «оторваться по полной» и часто гулял по Павловску с подбитым глазом и прочими повреждениями организма по причине своего взрывного характера, проявлявшегося в периоды подпития. Случалось, что экзекуции над ним проводила и его родная жена.

«Пошел в разгул... Оторвался от юбки...» — подумал Николай.

— Может быть, в столовой пообедаем?

— Ты что, каждый день в Москве бываешь? Не хочу я бурдой в твоей столовой питаться.

В окрестностях стадиона свободных мест в ресторанах они не обнаружили. Шацкий, который гораздо чаще бывал в Москве, предложил поехать на Казанский вокзал, в тамошний ресторан, где он, видимо, не раз оказывался по такому случаю.

Пока Мишка дрожащей от нетерпения рукой разливал из графина по рюмкам водку, Коля разглядывал полутемное помещение ресторана, заставленное круглыми столами — словно подвал, заваленный спиленными пеньками. Воняло соответствующе — мочой и кислой капустой. Посетители в основном дули пиво и дергались от любого объявления по радио.

Вдруг за соседним столиком Николаю привиделось странно знакомое лицо:

— Да это же киноартист Виктор Авдюшко!

Николаю очень нравился этот актер, всегда игравший мужественных волевых героев. Один Евгений Базаров в «Отцах и детях» чего стоил! Но как же к нему подойти и поговорить, ведь он в компании таких же красавцев, — видать, к съемкам готовятся... Не получится... Ну хоть автограф взять. Но на чем? Ни программки, ни фотографии у него нет... Да вот же, пусть распишется хотя бы в записной книжке!

Николай решил, сорвался с места и стремительно подбежал к знаменитому соседу со своей книжицей наперевес. Спутники звезды немедленно вскочили, пытались отразить натиск незнакомца, но Авдюшко одним взмахом руки остановил их.

— Что тебе, малец?

— Ав... ав... ав... — залаял почитатель от волнения.

— Ну да, Авдюшко... И что дальше?

— Автограф ваш дайте! — пробилось наконец у поклонника. — Очень я ваши фильмы люблю!

Ни слова больше не говоря, артист вынул из нагрудного кармана ручку и размашисто расписался в его книжке. Кто-то из его друзей уже расплачивался с официантом; группа снялась со стульев и, как стая грачей, вылетела через вокзальную дверь на перрон.

Николай вернулся за свой столик. Мишка к тому времени уже успел наклюкаться в одиночку.

— Я с Авдюшко разговаривал! Вот его автограф.

— Какой такой Дюшка? — не понял временно свободный от опеки супруги командированный. — Давай еще по одной — и по бабам.

— Какие бабы? В гостиницу надо возвращаться, поздно уже.

Дотащились до своего номера уже в десять. По их времени — час ночи. Спать хотелось зверски. Оставалось только раздеться и бухнуться в постель.

Ночью им стали досажать соседи-спортсмены. Они тоже вернулись с пьянки и продолжили пить в номере — галдели, орали песни чуть ли не до утра, отмечая выигрыш. Под утро в длинном коридоре обнаружены были следы их праздника в виде багарей диковинного вида бутылок из-под заграничного пойла.

После подъема, учитывая опыт предыдущего дня, Николай категорически отказался составить компанию Михаилу и решил побродить по городу один. Он сегодня нацелился на Мавзолей и музей на Волхонке. В Мавзолей очередь набиралась в



Александровском саду. В восемь утра калитка в сад захлопывалась, после этого можно было только выйти из сада, но зайти вновь — ни в коем случае. Два часа он проскучал в толпе, потом толстая кишка из человеческих тел двинулась в сторону Красной площади. К нему дважды подскакивали какие-то личности:

— Что у вас под пальто?

— Ничего...

В действительности у него была с собой «Смена» — фотоаппарат на ремешке, который он не сдал в камеру хранения, опасаясь, что его там разобьют. Да и была надежда что-нибудь снять, даже вопреки письменному запрету, изложенному крупными буквами у входа в сад. Обыскивать и раздевать не стали — то ли он был убежден, то ли его сочли горбатым на обе стороны...

Ленин оказался муляжом в тусклом подвальном освещении — полное разочарование! И вскоре он уже входил в Музей изобразительных искусств имени Пушкина.

В музее, вовсе не древнем дворце, а новоделе, построенном накануне революции, обнаружилось много копий средневековых статуй, фаюмские портреты. Далее пошел Ренессанс, картины, сотни голых или слегка задрапированных тел богов и героев — сплошное мясо! Привлекли внимание Ватто и Фрагонар с жеманными, почти карикатурными барышнями. А после импрессионистов Николай остановился перед картиной «Поцелуй матери» Эжена Каррьеера. Он простоял возле этого полотна, наверное, с четверть часа, изредка меняя позиции. Вроде бы серенькая и невзрачная картина, а впечатление от нее сумасшедшее! Интересно, сколько торчат туристы в Лувре у портрета усмехающейся тетки с отсутствующими бровями?..

«Все! Дальше в туалет, гардероб — и на волю», — с облегчением подумал Николай, спускаясь по лестнице вниз.

Фойе перед туалетной комнатой его удивило. Курилка до отказа была забита не столько курителями, сколько курительницами! В сизом дыму плавали мутные женские лица. На пути торчала какая-то дамица с бабеттой на макушке, державшая на отлете руку с сигаретой.

— А я йму гыва-а-арила, гыварила мног раз! — что-то излагала она своей подруге на странном московском наречии, размахивая при этом руками. Пепел отвалился от ее сигареты и по касательной приземлился на новую нейлоновую рубашку Николая. Вмиг образовалась дырка — ткань прожгло насквозь. Николаю стало жаль испорченной рубахи, не говоря уж об обиде и боли от ожога.

— Ты, дура московская!.. Тебе говорю! Что ты крутишь сигаретой своей? Дыру мне в рубашке прожгла. Мужу своему крути!.. А вы чего здесь топчетесь? — обратился он уже ко всему женскому стаду. — Не стыдно? Наркоманки, что ли? Мужскую мочу нюхаете?.. Брысь на улицу, там и курите!

Птичий базар разом стих. Виновница обернулась на крик: зеленые тени вокруг удивленных глаз под сиреновой челкой, малиновые губки и кофточка того же цвета. Она обнесла взглядом фигуру оратора, потом смачно сплюнула на пол и сказала презрительно:

— Пшел бы ты на хрен, дярвеня!

Угрожающе загалдели остальные. Николай предпочел не связываться — заклевали бы, как цыпленка, быстро ретировавшись в музейный гардероб.

Других скандалов и боестолкновений до возвращения в Павловск не произошло. Благополучно приземлились они с Мишкой в аэропорту и разъехались по домам.

Вернувшись в свою общагу, Николай прежде всего выставил на холод за форточку свои фрукты, поскольку холодильником их молодая семья еще не обзавелась. Отоспавшись, пошел на работу, где его уже встречали как победителя. Без фанфар, понятно, но с большим подъемом.

Прошла неделя. Однажды утром, взглянув на форточку, Коля вдруг обнаружил, что ананасов в сетке недостает! Авосяка сбоку разрезана, и один из фруктов пропал.

Каким чудом в ней сохранились остальные два — неясно. Вероятно, зацепились перьями за ячейки.

Скорее всего, постарались «резальщики». Эти шакалы ночью бродили вокруг общежитий с огромными секаторами, укрепленными на шестах, и срезали выставленные за окна продукты. Понятно, что в общагах обитал самый малообеспеченный народец, откуда у таких холодильники... Да и так просто холодильник не купишь, даже если накопил — жди своей очереди. Вот эту нищую братию и лишало продуктов ворье. В особенности обитавших на втором этаже, где и проживали Синельниковы, Коля и Милка — молодые специалисты.

Оставшиеся ананасы перекочевали в комнату под кровать.

Через пару дней пришла телеграмма от супруги: прибывает поездом второго апреля.

Коля приготовился к приезду: купил и сварил картошки, нажарил отбивных котлет. В буфете добыл бутылку болгарской «Тракии» и шоколадных конфет «Золотой петушок». Украсил комнату лозунгами: «Жена да убьется мужа своего! Он твой глава, ты почитай его!»

На вокзал он прибежал, когда до прибытия поезда оставались считанные минуты.

Жена выскочила из вагона с чемоданчиком и с огромной сумкой. Он подхватил ее на руки, чмокнул куда-то в ухо, потом подхватил багаж, и они пошли на автобус.

Дома устроили пиршество. Ели вареную картошку и Колины котлеты, пили вино.

На десерт у них были ананасы. Заморские фрукты к тому времени, правда, уже слегка испортились, но разобрать вкус было еще можно: острый и слегка отдает земляникой.



Владимир АЛЕЙНИКОВ

САЮ ВАЮ

Саю ваю. Что это значит? Буквы — русские. Надпись краткая на этрусском старинном зеркале. Прочитаем — справа налево — эту надпись. Так полагается нам, теперешним, да и встарь приходилось, и впредь придётся русским людям это читать. Так написано — не случайно. Так — надёжнее. Вроде защиты от чужого, дурного глаза. Так — привычнее. Всё здесь сразу — и таинственность, и открытость. Так — спокойнее посвящённым: прочитают, глядишь, не вдруг. Наше слово — не для толпы. Не для нынешнего междувременья. В нём и так всё справа налево, да к тому же и вверх ногами. Кому надо — сами поймут. Остальные — не всё равно ли? Как бы мир наш ни разрушали, мы-то призваны — созидать. Удержать бы в руках усталых нити, связи, трудов земных удивительные плоды — на земле, во вселенной, в яви. С навью справиться бы. И — с новью, за которою — с кровью вкривь, с бредом вкось — наваждение смуты. Утвердить бы на свете правь, как у предков далёких наших. Разглядеть бы вблизи хоть раз меж людьми огонёк свечи, за которым встают опять человечность и сострадание. Стать бы сызнова молодым. Обрести бы крыла, взлететь, воспарить. Да куда там! Поздно. Ну а может, ещё сумеем? Изумленья не занимать перед чудом живой природы. Просветление — только в нас. Притяжение любви всегда ощущаем тревожным сердцем. И цела ведь в пути душа — век ли это безумный, речь ли. И светла впереди звезда — высоко над хаосом, в небе, из которого корни мысли прорастают сквозь время наше, над пространством с его ветрами, поднялась она. Русским духом слово полнится, пробуждая силу древнюю. Саю ваю.

...Век — миновал. Но так ли это? Не всё с ним просто. Или: не так-то прост он, век этот, в коем жили все мы, один — для всех, без исключения. Век — жив ещё. Ибо память — наша — о нём — жива. Трудно ему, конечно, взять да расстаться с нами. Он уходит — не хочет. Грустно ему — без нас. Топчется где-то рядом, осторонь, бродит ночью, тычется в окна, в двери, мается в полумгле. Был — и, поди ж ты, нету больше его? Неправда. Есть он. И всё, что было связано с ним — живёт. Век — существует. Память — тоже материальна. Мы существуем в прошлом так же, как и сейчас. В будущем — жить придётся звуку былого века, речи его, и — свету ясному: весь он — в нас. Так не спешите, братья, днесь расставаться с веком, всех нас взрастившим. Вспомним — кто мы? Откуда мы? Все мы — оттуда, други, все мы — из века, в коем жили мы, как умели, пели — и шли вперёд, чтоб оказаться разом в самом начале века нового, — то-то всем нам петь предстоит и впредь...

Этрусское древнее зеркало. Изображён на нём — человек, бородатый, крупный. Он занят — серьёзным делом. Он работает. Лепит что-то. Из теста? Или из глины? В руках у него — что-то круглое. Приглядимся внимательней: шар. Он — творит. Создаёт он что-то небывалое. Мир? Или Землю? Он — творец. Безусловно, творец. Да, это Бог. Он — трудится. Кто он? Может, Сварог? Надпись читаем. Порусски сказано: «Саю ваю». Сая, сайка — это ведь булка. Ваю — конечно, ваяю. Перед нами — ваятель! Ваяет, создаёт — саю — круглую — булку ли (то есть хлеб наш насущный) — Землю ли. Он занят своим трудом. Увлечён трудом. «Саю ваю».

Вот и я свою новую саю — свою книгу — ваю — ваюю.
 С этой книгой — столькое связано!
 Я — тружусь, как всегда. Поюю.
 Саю ваю. И всё этим сказано!
 Саю ваю. Мир создаю.

Здание книги. Дом. Соты пчелиные. Гнёзда птичьи. С каким трудом в небе сияют звёзды!

Музыка книги. Лад. Полифония. Воля. Всё, чему нынче рад. Волны. Частоты. Поле.

Мир. Не ленись, войди! Всё — для тебя. Живи в нём. То-то звучит в груди сердце — вселенским гимном.

Свет. Посмотри же — свет. Свет. А за ним — сиянье. Взгляд — из минувших лет. Мыслей и слов слиянье.

Книга. Вечерний звон. Зов на рассвете. Доля. Книга. Блаженный сон. Сгустки любви и боли.

Книга. Список утрат. Перечень обретений. Книга. Волшебный сад. Сборище средостений.

Книга. Ключ. Или — клич. Плач. Или с плеч — обуза? Ноша. Надежда. Спич. Пой вдохновенно, муза!

Книга. Отрада. Луч солнечный. Дух. Горенье. Вера. Мой голос — жгуч. Всем на земле — даренье.

Мы встретились с Лёней Губановым там, где мы обычно (когда-то, так давно, сорок семь лет назад) встречались — на Пушкинской площади.

Стояла поздняя, с листьями ржавыми под ногами, с холодом в подворотнях и на бульварах, осень.

Лёня, в общем-то невысокий, но достаточно крепкий парень, уж во всяком случае — с виду, потому что держался, словно удалой казак Стенька Разин, горделиво, с гонором, с вызовом, всем вокруг, решительно всем, сероглазый, губастый, с чёлкой, нависающей над бровями, кривоватой, неровно подстриженной, как-то резко, нервно подвижный, даже несколько суетливый, но при этом очень значительный, от сознания своего безусловного атаманства в разношёрстной ватаге московской, окружавшей его сплочёнными, боевыми, густыми рядами, да ещё — от того, что всё его бестолковое окружение дифирамбы пело ему, день и ночь, о его гениальности, да ещё потому, что действительно дар его был для всех несомненным, и ещё потому, что хотелось почему-то задраться со мной, конкурентом его первейшим, хоть и другом его, и соратником по сражениям прежним нашим, был немного навеселе.

Александр Сергеевич Пушкин, в виде памятника, стоял рядом с нами. Немного выше. Ближе к солнцу. Поближе к звёздам. Ближе к небу. На постаменте. Ближе к вечности. В двух шагах.

Мы стояли с Лёней Губановым — рядом с солнцем русской поэзии. Рядом с памятником. Стояли — на асфальте. Курили молча. Почему же мы встретились здесь? По традиции. По привычке. Место — в центре Москвы. Для всех — и знакомое, и удобное.

Поднял голову я тогда — и с почтением посмотрел — мол, приветствую вас, — на Пушкина.

Взбеленился Лёня Губанов — и сказал мне:

— Куда ты смотришь? На кого ты смотришь, Володя? И зачем? Ты смотри сюда!

И Губанов себя ударил кулаком по груди — сюда, мол, на меня посмотри. И встал — в позу памятника — на площади.

Посмотрел я на Лёню Губанова. Стало весело мне. И грустно. И смешно. Пожал я плечами. Повернулся вдруг — и ушёл. Сквозь толпу. Подальше от Лёни, в позу памятника стоявшего. На которого с изумлением, вперемешку с недоумением, и уже со смехом смотрели и заезжие иностранцы, сплошь обвешанные неведомыми нам, тогдашним, людям простым, к разносолам любимым непривычным и к обилию разной техники непонятной, фотоаппаратами, и привычные к неожиданным и сомнительным, буйным выходкам неустанно свободы жаждущей молодёжи, авось перебесятся, рассуждающие, москвичи.

— Ты куда? — закричал Губанов. — Подожди! Володя, стой!



Отмахнулся я от него. И пошёл. Всё дальше и дальше. Вглубь, пожалуй. И ввысь, конечно. К тем глубинам и к тем высотам, за которыми — ясный свет. А потом — ещё и сияние. Дни — в трудах. Что стояли свеч. Дух. Путь. Дом. И — судьба. И — речь.

Ночь прошла. Я снова работал. Да и как не работать — сейчас, да и как вообще — не работать мне, который только и делает, год за годом, так много лет, и в былом, отшумевшем столетии, и в столетии нынешнем, новом, что работает да работает!

Я привык — ну куда деваться? — кто мне скажет? — к своим трудам. «Нет бы — с прочими тусоваться, как и все!» — скажет главный сам сверхтусовщик. «Иди, тусуйся! — говорю я ему в ответ. — А сюда никогда не суйся, для тебя здесь приюта нет».

Вот с такую ноткою едкой возникает новый напев. Машет вновь шумящую ветку старый тополь. Оторопев от вторжения в души наши, поднимается на балкон плющ. Акации, сказки краше, подступают со всех сторон.

Август. Вот и цикад не слышно. Только горлицы — всё кричат. И никто здесь не третий лишний. И людей голоса звучат. В отдалении. Ближе, ближе. Вместе с птицами. В добрый час! Что увижу? И что услышу? Что узнаю? В который раз?

В зеркалах — да и там, в зазеркалье — отражений рои. Движение отдалённых, смутных теней. Измерений иных пунктиры. Знаки. Всплески других миров. И не нужен ковёр-самолёт, чтоб туда улететь, откуда возвращения нет, — а может быть, возвращение и возможно. Если знаешь ты, что сказать, как вести себя, что увидеть и запомнить, мимо чего поскорее пройти. Если знаешь. Если помнишь. Запоминай. Во вселенной всё абсолютно, всё живое — взаимосвязано. Есть — единство всего на свете — помни это, скиталец, — сущего. Сквозь ушко игольное ты, если надо будет, пройдёшь. Совершишь все Геракловы подвиги, и поболее даже. Увидишь то, что видеть и впрямь не дано тем, кто слыхом даже не слыхивали, что такое — явь, или правь, или навь. С Ориона свет озарит и тебя. Живи. И — работай. Новые книги — никакие, брат, не вериги. Это — в небо ступени. Высокие. Это — путь твой. Юдольный. Земной. Пусть повеет осень — весной, а зима — вдруг подарит лето. Жизнь — светла. И песня — не спета. Вот и музыка. Ты со мной, чудо. Всюду теперь — звучи. Всюду будут открыты двери. Всюду в мире — забудь потери — музыкальные есть ключи. Волшебство — в порядке вещей. Ну а празднество — за утратой — непременно придёт когда-то. Разомкнутся клювы клещей, что сжимали края покрова. Всё — не ново? Всё — вечно ново. Не кори меня, друг, сурово. Побеждён будет царь Кашей. Из яйца мирового вновь пусть родятся миры живые. Всё — в охотку. И всё — впервые. Всё — навек. Вот и вся любовь.

— Эй, борода!

Метель гуляла по всей округе, слепила глаза пронзительной, неистойвой белизной, заметала, на фоне вечернего, тёмного, с белыми вспышками, завихрениями, зигзагами, кругами, спиральями, неба, затихшие, однообразные, то длинные, горизонтальные, то высокие, вроде башен, столичные, реже — кирпичные, чаще — блочные, густо стоящие на пути моём зимнем, дома.

Я с трудом оглянулся — сквозь снег — на незнакомый голос.

(Был конец января. Срежь скитаний, измотавших меня основательно, надоевших, — был мой день рождения. Тридцатилетие. То-то вспомнилось мне почему-то посвящённое этой же дате особенное, открытое всему ранимому сердцу, и душе, и судьбе, и зрению, и памяти, миру земному и небесному, стихотворение Дилана Томаса, только речь в нём была об осени валлийской, об октябре. Ну а мой день рождения был — бездомным, в московской зимней круговерти. Куда деваться? И куда мне идти? Ночлега, на ближайшее время, не было. Ночевать в подъезде каком-нибудь, потеплее, снова придётся? Да, наверное. А возможно, в чьей-нибудь мастерской подвальной, если будет радость такая. Пусть в подвале, но — не на улице. А на улицах, белых от снежной, налетевшей, метельной стихии, ветер дул, разгулявшийся так, что, казалось, он не затихнет, ошалевший, уже никогда. Словом, зимней была погода. Не в укор это ей. Не оду сочиняю. Не без труда я наскрёб какие-то деньги и купил на них сигареты, две бутылки сухого вина, подешевле, буханку хлеба. Денег еле хватило на это. Оставалось немного мелочи — на автобусы, на метро.



Положив покупки в портфель, где лежали книги и рукописи, я побрёл по холодной улице, наугад, куда-то вперёд. Шёл и шёл. Впереди забрезжила, сквозь метель, сначала Пушкинская, с занесённым хлопьями снега, одиноко стоявшим памятником солнцу русской поэзии, площадь. А потом, в просвете случайном посреди пелены снеговой, вдруг разорванной ветром, хлёстким, ледяным, — Маяковская, дымная, в едкой мгле сизоватой, площадь.

Я подумал: пойду-ка к Нике Щербаковой. Идти недолго. Обогреюсь. И отдохну. А потом — что-нибудь придумаю. Может быть, меня осенит — и ночлег найду, на сегодня, где-нибудь. Не ходить же мне бесконечно всюду по городу. Не стоять же мне на морозе и не мёрзнуть. Вначале надо, разумеется, позвонить. Я нашёл две копейки в кармане. И зашёл в унылую будку, называвшуюся лаконично, выразительно, словно символ всеобщей связи мировой: телефон-автомат. Позвонил. Раздались гудки. А потом я услышал — голос, бесконечно знакомый:

— Алё!

Ну конечно же, Толя Зверев!

— Толя, здравствуй!

— Ты где, Володя? У тебя день рождения. Помнишь? Я у Ники. И жду тебя. Поскорей приезжай. Хорэ?

— Я поблизости, на Маяковке. Жди меня. Я скоро приду.

— Жду. Хорэ!

Положил я трубку.

И пошёл, сквозь метель, вдоль ограды занесённого снегом, безлюдного, словно в спячке, сада «Аквариум», а потом — мимо Малой Бронной, прямо к Никиному, желтеющему сквозь нахлёсты снежные, дому.

Поднялся на верхний этаж. Позвонил. Дверь квартиры открылась. На пороге стоял улыбающийся Толя Зверев. С бутылкой в руке. Этикетка на этой бутылке говорила о многом: коньяк.

— Здравствуй, Толя!

— Здравствуй, Володя! Заходи.

Я зашёл в квартиру. Было в ней непривычно тепло. Я, похоже, отвык от тепла. Ничего, теперь-то — согреюсь.

Вслед за Зверевым в коридоре появилась томная Ника:

— Я так рада! Здравствуй, Володя! Проходи скорее за стол.

— Здравствуй, Ника!

Зверев сказал мне хриповато:

— Пойдём, пойдём!

Сняв пальто, я зашёл в просторную, сплошь завешанную картинами авангардными, с артистическим и с богемным уклоном, комнату, очень тёплую, где сидели за столом какие-то двое, незнакомые мне. Высокие. Чисто выбритые. В костюмах. Разумеется, оба — с галстуками. Только лица их — я не запомнил. Невозможно запомнить такие, без примет характерных, лица. И, хотя они, церемонно и приветливо даже, представились, имена их, невыразительные, почему-то я не запомнил.

Я присел за стол. Толя Зверев мне налил стакан коньяка. А себе — половину стакана. Незнакомцы — налили себе водки, в маленькие, с напёрсток, рюмки. Ника — себе налила персональный бокал шампанского.

Толя Зверев сказал:

— У Володи — день рождения. Поздравляю. Ты, Алейников, — гениальный, я-то знаю, об этом, поэт. За тебя я сегодня пью. Будь. Живи. И пиши. Ну, выпьем!

Все сидящие за столом, на котором стояло скромное угощение и бутылки, с водкой, с винами и с шампанским, оживились — и тут же выпили.

Шло застолье. Царила здесь, как обычно, хозяйка — Ника.

Я согрелся. Коньяк ли зверевский или что-то ещё действовало — но действительно, стало тепло мне, хорошо. И я закурил. Огляделся по сторонам. Да, салон известный московский. Вдосталь здесь побывало народу. Ника всех принимает охотно. Каждый день — всё новые гости. Все привыкли к ней приходить. Как-никак, есть возможность общения. Для богемы у Ники — лафа. Выпить можно. И закусить. Посмотреть картины. Послушать, иногда, стихи. Поболтать — об искусстве, да и о прочем. Словом, дом для бессчётных встреч.

Незнакомцы с Никой — о чём-то говорили. Довольно тихо. Я прислушиваться — не стал. Если надо — пусть говорят.

Мы со Зверевым вышли в соседнюю, совершенно пустую комнату.



Зверев как-то весь посерьёзnel, наклонился ко мне — и тихонько, еле слышно, сказал, нет, выдохнул напряжённо:

— Она шпионка!

— Кто? — не понял я.

Зверев:

— Ника!

— Почему?

Зверев, твёрдо:

— Я знаю!

— Брось!

— Ей-богу! Она работает — ну, на этих, на кагэбэшников.

— Правда?

— Правда!

— Зачем же, Толя, мы с тобой находимся здесь?

— А куда нам с тобой деваться? Бог не выдаст, свинья не съест.

Стало как-то не по себе.

Я сказал:

— Может, выпьем снова? У меня есть в портфеле вино.

— Да оставь ты своё вино! Пригодится ещё. Смотри! — Зверев вытащил из-за пазухи фляжку виски. — Давай — из горла!

— Что ж, давай!

Мы со Зверевым — выпили.

Между тем появились в комнате, где со Зверевым мы вдвоём разговаривали, отпивая по глоточку виски из горлышка, незнакомцы и Ника.

Сказала нежным голосом Ника:

— Мальчики! Нам пора. Вы поедете с нами? Едем мы — на такси. Подвезём вас куда-нибудь, в нужное место.

Я подумал: вечер уже. Подвезут куда-то — и ладно.

И сказал я Нике:

— Поедем. Где-нибудь по дороге — сойду.

Зверев только взглянул на меня — и вздохнул. Ничего не сказал.

Собрались мы быстро. И вышли — прямо в вечер, в снега, в метель.

У подъезда стояло такси. Забрались мы вовнутрь. Поехали.

Толя Зверев — молчал. Я — молчал. Незнакомцы — молчали. Машина пробиралась сквозь снег, с трудом, осторожно. Молчала и Ника.

Так мы ехали долго — молча.

Я потёр стекло запотевшее. Посмотрел — вроде что-то знакомое. Преображенская площадь.

Вдруг Зверев затрепетал, дверь рванул — и рывком, стремительно, выскочил из машины.

Я крикнул ему:

— Ты куда?

Он, в ответ мне, крикнул:

— Я шурина!

И пропал. Растворился в метели.

Незнакомцы — молчали. Ника обратилась ко мне внезапно:

— А тебе, Володя, куда?

Я ответил ей:

— Здесь я выйду. Навещу-ка Оскара Рабина.

Незнакомцы — переглянулись.

Ника:

— Ладно. Привет Оскару. До свидания!

— До свидания!

Выбрался я — в метель. Машина — тут же уехала.

Постояв на заснеженной площади, я побрёл потихоньку — к Рабину.

Оскар был тогда — под присмотром. Собирался он уезжать на Запад. Ещё не уехал. Возле дома его, где жил он, на первом, таком доступном этаже, постоянно дежурили какие-то наблюдатели.

Я всё это — знал. И всё же — не мёрзнуть же мне в метели! Оскар — человек хороший, приветливый. Навещу его. Есть в портфеле моём вино. Обогреюсь. Выпью немного. И, конечно, поговорим. Есть о чём ведь. А там — куда-нибудь доберусь



ещё. Ночевать, где придётся, давно привык я. Надо сил хоть немного набраться. Успокоится. Вон как метёт! Ну и снег! Настоящий, январский!..

Шёл я к дому Оскара Рабина. Вот и дом. Длинный, блочный, скучный. И на первом — я вижу сразу же так отчётливо — этаже — тёплым светом горит окно. Значит, дома Оскар. Прибавлю ходу. Ну, поскорее — к цели!..)

Голос сзади:

— Эй, борода!

Оглянулся я. Позади — обозначились две фигуры. Незнакомые люди. Высокие.

— Эй, ты слышишь? Куда идёшь?

Отмахнулся я:

— Вам-то что? Ну, иду. К своему знакомому. Поточнее сказать? К художнику...

Это — всё, что успел я сказать.

Сокрушительной силы удар — получил я в висок. И тут же рухнул в снег, потеряв сознание.

Сколько было потом ударов, как там били меня — не помню.

Да и как мне помнить об этом, если был я тогда без сознания?

Неужели настала — смерть?..

Я очнулся, когда — не знаю, где — не ведаю, в доме каком-то неизвестном, в гулком подъезде, вниз головой, на лестничном, пустом и холодном проёме.

Почему оказался я здесь?

Кто меня закинул сюда?

Ни портфеля, ни документов. Ничего нет. Карманы — вывернуты. Шапки — нет. Шарфа — тоже нет.

Боль была — действительно адской.

Голова моя — просто раскалывалась.

Всё избитое тело — болело.

Надо было — как-то спастись.

Надо было — отсюда выбраться.

Я пополз, сквозь боль, по ступенькам.

Ниже, ниже. Ещё немного.

Вот и дверь подъезда. Открыл её. Удалось. Хотя и с усилием.

Выполз — в снег. В сугробы. Пополз — дальше. Встать — я не мог. Всё — болело.

Полз я долго. Куда-то. Вперёд. С передышками. Дальше и дальше. В снег. Сквозь снег. Сквозь метель. Сквозь ночь. К жизни. К людям. Упрямо. Сквозь боль.

Над моей головой разбитой, резко, с визгом, затормозив, остановилась какая-то машина. Шофёр метнулся из машины — ко мне:

— Что с вами?

Говорить я не мог. Было больно.

Я с трудом прошептал:

— Избили...

— Может, вас отвезти куда-нибудь? Например, домой к вам. Поедем?

Дома не было у меня своего. И сказать об этом шофёру я стеснялся. Небось, подумает: «Ишь, какой бездомный бродяга! Ну, избили его. По пьянке. Что ж, бывает. А я-то при чём?»

Наклонился шофёр надо мной, стал меня поднимать:

— Вставайте! Потихоньку. Вам надо встать.

И в глазах его я увидел — и участие, и заботу, и немалое сострадание человеческое. И начал подниматься. Шофёр помогал мне. Так на фронте, наверно, порой помогали друг другу солдаты.

И шофёр меня снова спросил:

— Ну, куда вас везти? Говорите!

Говорить было трудно мне. Но сказал я шофёру:

— К Сапгиру!

— Что? Куда? — не понял шофёр.

— Отвезите меня к Сапгиру!

— Вы бредите? Что за Сапгир? Кто же вас так избил?

— Не знаю... Сапгир — друг Рабина.

В моём сознании брезжило лишь это: Рабин — Сапгир.

— Довезу. Дорогу покажете?

— Постараюсь.

Шофёр помог мне забраться в машину и лечь, на боку, за заднем сидении.
 Я сказал:
 — Денег нет у меня.
 — Да какие там деньги! — шофёр отмахнулся. — Вам надо в больницу!
 — Нет, к Сапгиру, — упрямылся я.
 — Хорошо. Поедем к Сапгиру. Кто такой он?
 — Поэт.
 — Поэт? Ну а вы?
 — Я тоже поэт.
 Покачал головой шофёр:
 — И зачем же так бьют поэтов?
 Я ответил ему:
 — Не знаю...
 Долго ехали мы. Я смотрел, временами, с трудом, за окошко. Говорил: «Сюда...
 Вот сюда...»
 Наконец, добрались мы до дома, где жил тогда Генрих Сапгир.
 Я сказал шофёру:
 — Спасибо!
 Он ответил:
 — Держитесь, поэт. Выздоровливайте скорее. Да, а как вас зовут?
 — Владимир.
 — А фамилия ваша?
 — Алейников.
 — Тот, из СМОГа?
 — Именно тот.
 — Был я как-то на вечере вашем. Лет, пожалуй, десять назад. Вы читали стихи. Хорошие. Только были вы — без бороды, молодым совсем. А теперь — с бородой. Я люблю стихи. Вы отличный поэт. Я помню кое-что. Ну хотя бы вот это, да, вот это: «Когда в провинции...»
 Я продолжил тогда:
 — «Болеют...»
 И шофёр, вздохнув:
 — «Тополя...»
 Я махнул рукой:
 — Это — старое...
 А шофёр сказал:
 — Но живёт!..
 Он помог мне выбраться в ночь из машины. Пожал я руку моему спасителю.
 Он, помахав мне рукой, уехал.
 Я стоял во дворе пустынном.
 Слава богу, первый этаж. Высоко подниматься не надо.
 Дверь в подъезд я открыл с трудом. Вот и дверь квартиры сапгировской. Поднапрягшись, я позвонил.
 Дверь открылась. В проёме дверном появился Генрих Сапгир.
 Он взглянул на меня — и глаза его переполнились явным ужасом.
 — Генрих, здравствуй! — сказал я Сапгиру. — Помогите мне сейчас. Пожалуйста.
 — Что с тобой? — воскликнул Сапгир. — Кто же так тебя страшно избил?
 Я ответил ему:
 — Не знаю. Обо всём — попозже, потом...
 Генрих помог мне войти в квартиру. Но в комнаты я не пошёл. Добрался до кухни. И — рухнул там на пол, навзничь, потеряв сознание вновь.
 Сколько так пролежал я — не помню.
 Приоткрыл глаза. Посмотрел — да, похоже, утро. Светло.
 Значит, жив я. Действительно, жив!
 Раздались голоса. Знакомые. Генрих что-то там говорил, обо мне, с женой своей, Кирой.
 Кира властно сказала Сапгиру:
 — Дай Володе десятку, Генрих, на такси. И пусть он отсюда убирается поскорее!
 Так. Понятно. Я лишний здесь.
 Что возьмёшь с неё? Это ведь — Кира. Наплевать ей, видимо, нынче на моё состояние. Надо подниматься. И встал я на ноги.



В кухню зашёл, с десяткой в руке, смущённый Сапгир:

— Володя, вот — на такси.

— Всё я слышал, — сказала я Сапгиру. — Не волнуйся. Скоро уеду.

Взял десятку. Сказал:

— Верну.

Отмахнулся Генрих:

— Не надо!

Я сказал:

— До свидания, Генрих! За приют, за помощь — спасибо. Постараюсь преодолеть наваждение это. Поеду. Где-нибудь, у кого-нибудь — отлежусь. Надеюсь, что примут.

И сказал мне Сапгир:

— Держись!

И ответил я:

— Буду держаться!

Дверь открылась. Я вышел — в снег.

И пошёл — сквозь сугробы — вперёд.

На такси — кое-как доехал до знакомых. Там — отлежался. Правда, долго пришлось лежать. Сотрясение мозга — не шутка. Да ещё такое, устроенное, безусловно, профессионально, без булды, со знанием дела. Должен был я боль — победить.

Победил. Отшумели метели.

Паспорт — новый пришлось получать, вместо прежнего, что исчез, вместе с рукописями моими, вместе с книгами, вместе с портфелем. Шапку — кто-то мне подарил. Шарф — нашёл я прямо на улице. Голова — болела порой. Очень сильно. Бывали кризы. Поднималось давление так, что, бывало, хоть криком кричи. Всё я вытерпел. Преодолею. Боль. И всю череду бездомии. Все нелепости, наваждения прежних, сложных, суровых лет. И минувшей эпохи — нет. Есть — лишь память. И — жизнь. И — речь. Время — вправду материально. Потому что живёт в нём — творчество. Может, жречество? Змеборчество. И — огни негасимых свеч.

Шелест южной, густой, зелёной, киммерийской, сквозной, узорной, непостижной и непокорной, знойной августовской листвы.

Шелест — лёгкий, почти бесшумный, иногда, а порою — сильный, нарастающий, изобильный, в небе — с отсветом синевы.

Шелест — вечный, сплошной, беспечный, быстротечный и бесконечный, шелест — лепет, высокий трепет, отзвук памяти и судьбы.

Шелест — прелесть, и шелест — шалость, незапамятность, небывалость, навевающий неизменно возвращение ворожбы.

Шелест — звук. Или — знак. Вокруг — мириады сплетённых рук.

Шелест — миг. Или — мир. В ответ: вот вам сто полновесных лет.

Шелест — магия. Шелест — дом. Вот он, рядом. С твоим трудом.

Шелест — музыка. Шелест — рай. Август. Дел — непочатый край.

Шелест — шёпот. И шелест — крик.

Шелест — власть. Ко всему привык.

Шелест — опыт. И шелест — нить.

Шелест — весть. И — за нею: быть!

Покатился клубок — вместе с нитью — дальше, дальше, в пространство, сквозь время.

Нить, кручёная и суровая, что связуешь — в моей поэме?

Вот и яблочко покатилося — ах, по блюдечку золотому.

Так скажи ты, что не забылось, — по-хорошему, по-простому.

Вот — былины. И сказки. Были. Мифологии воскрешенье.

Все — кто помнят. Все — кто любили. Бесконечное вопрошеньё.

Безответное заклинанье. Безмятежное восхищенье.

Вы откуда, воспоминанья? И — прощанье. И — всепрощенье.

Жёлтый лист, сорвавшийся с дерева, закружился в прогревом донельзя, раскалённом, пышущем жаром, душном, плавленном летнем воздухе, уносимый порывом лёгкого, налетевшего ненароком, торопливого, мимолётного, ненадёжного ветерка вдаль куда-то, но вдруг помедлил, зависая предо мною, как пропеллер, вертясь, по-

том весь обмяк, потеряв опору, пусть воздушную, пусть — на время, всё равно ведь был он в полёте, всё равно ведь парил — и вот он упал, трепещущий, вниз, на дорожку садовую, рядом с расцветающей алой розой, став невольным, немым вопросом: что же — дальше? Нужный вопрос. Дальше — осень. Пусть и нескоро. Этот лист — её знак. Предвестник. Молчаливый — но всё же звук. Взгляд её — сквозь летние дни. Дальше — осень? Но длится лето. Почва щедрая разогрета. И горит моя сигарета. И темно в лиловой тени. И светло — на припёке. Солнце — над Святою горой застыло. С пылу, с жару — так много было самых разных сказано слов. Столько было событий всяких, что теперь их следов двойных не доищешься здесь, в округе, где любой их найти готов. Жёлтый лист — он ответы знает на вопросы. Не зря летает над землёю. И пусть растает, растворится в пространстве пусть. Грусть — со мною. И весть — со мною. Пусть повеет былой весною всё далёкое — и родное. И — знакомое наизусть.

— У тебя вся спина белая!

Что за шутки? И чей это голос?

Ворошилов остановился. Оглянулся. Взглянул, сощурившись, вдаль, назад, во дворы, откуда доносился дурацкий оклик.

На скамейке, с бутылками пива и с кусками воблы, разложенной на измятой газете, сидели, усмехаясь, трое парней.

Ворошилов сказал им:

— Придётся на спине что-нибудь рисовать.

Парни дружно, громко заржали.

— Длинный, ты, наверно, художник? — вдруг спросил один из парней.

Ворошилов ответил:

— Художник.

— А меня нарисуешь? — спросил тот же парень. — Или слабо?

— А тебя рисовать я не буду. Потому что ты мне неприятен. — Ворошилов махнул рукой, словно он отмахнулся от мухи, и сказал устало: — Отстань!

— Что? — вскочили все трое парней. — Слушай, ты, художник! А ну, повтори-ка, что ты сказал?

Ворошилов сказал:

— Отстаньте!

Парни грозно придвинулись к нам.

— Ты, художник!

— И ты, борода!

— Схлопотать по мордам хотите?

Шли мы с Игорем Ворошиловым по своим делам, а точнее и честнее — в поисках пива. Шли — к пивному ларьку. А тут — на пути нашем долгом — загвоздка. Трое парней. Задиристых. Молодых. И довольно пьяных.

Я сказал Ворошилову:

— Игорь! Нам придётся объединиться.

И ответил мне Ворошилов:

— Да, Володя! Объединимся.

В двух шагах от нас грудой лежали груды спиленных с ближних деревьев, свежих, толстых, массивных ветвей.

Приподнял я с земли одну ветку — и шархнул по ней, с размаху, по наитию, видно, какому-то, резко, быстро, ребром ладони.

Ветка, с треском необычайным, разломилась на две половины.

Отшатнулись парни от нас:

— Каратист!

— Ребята, атас!..

Ворошилов схватил обломок ветки в руку правую:

— Брысь!

И парней — словно ветром сдуло. Даже пиво своё забыли, вместе с воблой, на той скамейке, где недавно сидели они.

Ворошилов сказал:

— Володя, неужели ты — каратист?

— Нет, конечно, — ответил я. — Никакой я не каратист. И об этом прекрасно ты знаешь. Просто — так получилось. И сам я не пойму — ну как это вышло?



— Значит, свыше нас уберегли! — Ворошилов голову поднял вверх — и что-то там разглядел. — Ну конечно! Ангелы наши. Нам сейчас они помогли.

Согласился я с ним:

— Это — ангелы.

Пить оставленное парнями пиво мы, конечно, не стали. Не хватало ещё — за кем-то, неизвестно — кем, допивать. Гордость есть у обоих. И честь. И не в наших — такое — правилах.

Мы отправились дальше. Мы шли по столице — в поисках пива.

Сколько раз такое бывало! Не упомнить. Не сосчитать.

Но в пивнушках — не было пива. И ходить нам — уже надоело.

И сказал тогда Ворошилов:

— Знаешь, что? Не хочу я пива.

Я сказал:

— И я не хочу.

— Лучше выпьем с тобой газировки. Без сиропа. По два стакана.

Я сказал:

— Газировки — выпьем.

Автомат с водой газированной отыскали мы вскоре. И выпили, каждый — по два стакана, шипучей, освещающей, чистой воды.

— Красота! — сказал Ворошилов.

Я сказал:

— Красота. Лепота.

Добрались мы — сквозь летний зной, звон трамваев и шум проезжающих непрерывным потоком, по улицам, тополиным пухом засыпанным, словно призрачным снегом, машин, сквозь прибоем звучащий гул голосов людских, сквозь протяжный, лёгкий шелест листвы, сквозь день, незаметно клонящийся к вечеру, сквозь желание выпить, которое мы оставили позади, там, в недавнем, но всё же былом, до знакомого всей московской, удалой, развесёлой богеме дома, где обитал я тогда.

Чинно, скромно зашли в подъезд. Поднялись на седьмой этаж в лифте. Ключ отыскал я в кармане. Дверь квартиры открыл. Мы шагнули, друг за другом, через порог. Оказались внутри. В какой-то удивительной полупрохладе. Так могло показаться нам, после наших дневных походов по жаре. Отдышались. Чай заварил я. Крепкий. И вкусный. «Со слоном». Когда-то считался он едва ли не самым лучшим. Пили чай мы. Вечер настал. Свет зажёл я. Включил проигрыватель. И поставил пластинку. Баха.

Волны музыки поднялись высоко, заполнили комнату, потянулись к двери балконной приоткрытой, проникли в наши, молодые ещё, сердца, в души наши, вошли в сознание, в память, в жизнь, в наши судьбы, в прошлое, настоящее и грядущее, в явь, которую мне приходится — через годы — воссоздавать, в книгу эту, в стихию речи, чтобы слышать — и прозревать...

...Отыскался мой давний набросок.

Оказался — с виду — небросок.

Только в нём — прежней жизни кусок.

Сразу кровью набух висок.

Сердце сжалось. Душа встрепенулась.

Неужели что-то вернулось?

Ненадолго? Или — навек?

Эх, наивный я человек!

Что гадать об этом — теперь?

Жизнь — моя. В ней не счесть потерь.

Обретений и снов — не счесть.

Нечто странное в этом есть?

Нечто светлое, всё же? Так.

Безусловно. Светлее стало.

В мире. В яви. Её ли мало?

Звук ли с призвуком? Добрый знак.

Истрёпанные, пожелтевшие, но всё-таки уцелевшие, завалявшиеся в бумагах, разрозненные листки.

С изрядным трудом, признаться, разбирая свой собственный почерк, попробую прочитать этот текст о минувшем времени.

День этот — день особый — начался, понимаю теперь я, задолго до своего места в календаре.

Пространным к нему предисловием было вынужденное, донельзя утомительное хождение моё по московским улицам — вроде бы и среди людей, вон их сколько везде, но в то же время и в полном одиночестве, абсолютном, полнейшем, непоправимом, невыносимом, осторонь от всех и всего вокруг, наедине с самим собой, со своими, то смутно сквозящими, холодящими, то воспалённо-жаркими, возникающими непрерывной чередой в усталом сознании, скомканными, запутанными, с узелками событий, завязанными наугад, лишь бы вспомнить, мыслями, с житейскими, бесконечными тогда, своими проблемами, из которых самыми важными были в ту трудную пору хотя бы недолгий отдых и желанный ночлег, на любых, даже самых жёстких, условиях, где угодно, когда угодно, лишь бы голову приклонить, лишь бы снова почувствовать эту безопасность приюта мнимую, безопасность дома, любого, пусть знакомого, пусть чужого, безопасность простого крова, да и только, почти гнезда.

Тогда — боже мой, каким же чудовищным, да и только, представляется это нынче, в спокойную, пусть относительно, и на том ей спасибо, пору жизни моей, — я бездомничал.

Семилетняя полоса измотавших меня вконец, показаться могло кому-то не случайно, моих скитаний подходила уже к завершению, но я, бродивший по городу с утра и до вечера, этого, пока что, ещё не знал.

Одно лишь изредка брезжащее впереди предчувствие скорых перемен в судьбе, неизбежных, удивительных и спасительных, потому что нельзя иначе, потому что вера с надеждой зажигают звезду во мраке на пути земном, и любовь окрыляет и совершает чудеса, да ещё какие, это знал я и этого ждал, заставляло меня, встряхнувшись, не поддаваться панике, не впадать всё чаще в хандру, или, хуже того, в тоску, что совсем уж хреново, но, вопреки всему, что мешало мне дышать, вопреки жестокой, с перебором большим, действительности, закрутившей со мной затянувшийся свой рискованный эксперимент, на грани срыва и взлёта, почуяв светлое что-то, упрямо и стойко держаться.

Тот, кто вдосталь намаялся в прежние, посреди бесчасья мерцающие, как фонарики за кормою проплывающих в гуще тумана молчаливых судёнышек, годы — без угла своего, без средств пресловутых к существованию, без одежды, необходимой по сезону, пусть самой простой, лишь бы грела зимой, лишь бы летом защищала от зноя, и ладно, всё сгодится, что есть, то есть, не до выбора, не до моды, говорить об этом смешно, а смеяться над этим грешно, вообще без всего такого, что является всем, от мала до велика, давно знакомыми и понятными всем приметам нормальной вполне, человеческой, без излишеств сказочных, жизни, — пребывая в каком-то подвешенном, не сказать поточней, состоянии, отодвинутым будучи страшной повседневностью, сонмами будней, беспросветных и хищных, куда-то на обочину той дороги, по которой гуляет советская и, значит, отличная, лучшая в мире, со знаком качества в петлице, вместо цветка, не до лирики ей, реальность, подальше от глаз, туда, к вынужденной богемности, к неприкаянности, к отверженности, — понимает меня, с полуслова, с полувзгляда, и хорошо, лучше всех остальных, уверяю вас, дорогие сограждане, знает, испытав это всё на собственной, на своей, а не чьей-нибудь, шкуре, как жестока и равнодушна к человеку бывает Москва.

Так всё складывалось, что мне совершенно некуда было, ну хоть вой, хоть кричи, всё равно не услышит никто, податься, не к кому было пойти, ненадолго совсем, отдышаться, успокоиться, пусть на часок, даже меньше, на всё был согласен я тогда, но куда деваться, если некуда было идти, просто некуда, не к кому вовсе, — никуда, увы, не пойдёшь, ни к кому, словно встарь, не зайдёшь, никого нигде не найдёшь, и на все вопросы ответ был один-единственный: нет.

Многочисленные знакомые, словно загодя сговорившись меж собою, все, в одночасье, непонятно куда запропали.



Нет — и всё тут. Где их искать?
Пустота, вместо них, какая-то нехорошая. Тишина бестолковая. Темнота? Мае-
та с теснотой? Кто знает!
Свято место, вроде, — ан пусто.
Знать, бывает. Идеи — не густо.
Мыслей — хоть отбавляй. С избытком.
Не прибегнуть ли вновь — к попыткам?
Чай, не пытки. Ну что ж, рискнём?
Не впервой играть мне с огнём.
Не впервой идти на авось.
И откуда это взялось?
Всё отсюда — из лет былых.
Из бездомниц, из бед сплошных.
Из невзгод. Наугад — вперёд.
Через реку времени — вброд.
Сквозь огонь, и дождь, и снега.
Благо жизнь была дорога.
Хоть висела — на волоске.
Хоть несладкой была — в тоске.
И — нескладной. Нелепой. Пусть.
Это помнится — наизусть.
Это было — не с кем-нибудь.
Был тернист и кремнист мой путь.

Заходил я, снова и снова, пересилив себя, шатаюсь, от усталости многодневной, и от голода, что там скрывать, в очередной, попавшийся, на пути моём, на глаза мне, телефон-автомат, в пустую, тесноватую, душную будку, с разбитыми стёклами, с дверью расшатанной, с трубкой, висящей на длинном шнуре, бросал дефицитную, сэкономленную двухкопеечную монетку, набирал, полистав записную книжку, чей-нибудь номер, в надежде, что вот-вот дозвонюсь куда-то, доберусь куда-то, вот-вот, потерпеть осталось немного, и грядёт впереди подмога, и удача, возможно, ждёт.

— Алло! Меня слышно? Алло!

Но, как назло, не везло.

В ответ раздавались либо длинные, заунывные, однотонные, механические, ни туда, ни сюда, сигналищие о крушении всех надежд, сообщающие, без всяческих слов, ненужных и лишних вовсе, ни о чём, вот и всё, гудки, либо голос невыразительный, отвечал, что сейчас такого-то, по причинам, ему неизвестным, разумеется, дома нет.

Измотанный, полуживой, с тяжёлою головой, с растрёпанными волосами, под столичными небесами, среди стен и оград, один, с бороною рыжей, с портфелем, в котором лежали стопки рукописей моих тогдашних, да корка хлеба чёрствая, да вода во фляге, да несколько книг, в состоянии то ли транса, то ли просто-напросто близком к обморочному, что было действительно ближе к истине, двигался, шаг за шагом, я, человек бездомный, никому на свете не нужный, несмотря на все свои, оптом, вон их всё-таки сколько, таланты, ну и что с ними делать, нищий, вот уж точно, по существу, хмурый, хворый, бедняга, бродяга, тот, в чьём сердце живёт отвага прозорливца, поэта, мага, никакого ни видя блага ни в тепле, вернее, жаре, ни в прохладном ближнем дворе, ни в деревьях поодаль старых, ни в ампириных, в сторонке, чарах, вдоль пыльных, с асфальтом в трещинах и выбоинах, тротуаров, отрешённо, словно по воздуху, мне мерещилось, переходил, на зелёный, дозволенный свет, проезжую часть шуршащих, верещащих машинами улиц, изредка, чувствуя дикую, иначе не скажешь, усталость в ногах, ненадолго присаживался на выкрашенные недавно жирной зелёной краской с ядовитым въедливым запахом скамейки, переводил дух, а потом, напрягаясь, пусть с усилием, но вставал, и шёл, но куда же, знать бы об этом тогда мне, дальше.

Встречные-поперечные прохожие косо поглядывали на меня — и, на всякий случай, во избежание разных, нежелательных, но возможных, и особенно здесь, в Москве, столкновений или вопросов, на которые отвечать никому из них не хотелось, или, может быть, разговоров, что само по себе отпадало, отметалось немедлен-

но всеми, нет, и всё, забывалось тут же, потому что дорого время, а здоровье ещё дороже, да и нервные клетки потом, как ни бейся, не восстановишь, и поэтому лучше мимо раздражителей сразу пройти, и, тем более, мимо этого, бородастого и кудлатого, в пиджаке измятом, с портфелем, что в портфеле — поди гадай, может, бомба, а может, граждане, прокламации, или выпивка, вон какие глаза соловые, неспроста это, лучше быть начеку, держаться подалеже, так спокойнее, так надёжнее, в толчее людской, в суматохе, в нервотрёпке нашей эпохи, где сплошные ахи да охи прерывают редкие вздохи одиноких субъектов, бредущих сквозь толпу, чего-нибудь ждущих от кого-то, или не ждущих вообще уже ничего, всё равно, и какое дело всем до всех, ведь страна хотела жить спокойно, да где покой, где, скажите, прелести быта, всё для всех навсегда закрыто, лишь разбитое ждёт корыто, вместо царства, да под рукой только скомканная авоська, чтоб с работы с ней в гастроном заскочить за манной земной, — обходили меня стороной.

Лица их густо пестрели. Роились. Дробились. Множились.

Пересекали Садовое, в рёве машин, кольцо.

Скомкались. Нет, скукожились. Выцвели. Подытожились.

Что-то случилось? Вроде бы все — на одно лицо.

Стали сливаться в общее, тусклое, смутноватое, будто бы виноватое в чём-то дурном, пятно.

Перемешались в мареве, в едком, угарном вареве, именно в том, где только что были все заодно.

Всякие городские, много их слишком было на каждом шагу, подробности мозг мой уже не улавливал.

Растерянно шурясь, брёл я на свет раскалённого солнца, инстинктивно вбирая, выпитывая, впрок, возможно, его энергию.

Не до шуток мне было. Сердце побаливало. Нашарил я валидол в кармане, таблетку положил под язык, почувствовал сладковатый, успокоительный, для меня, по привычке, вкус лекарства, скорее — конфеты, но считать мне хотелось — лекарства.

Боль была — какой-то сквозной.

Сверху донизу — всё болело.

Что за странности? В чём же дело?

Был взволнован я. Что со мной?

Промелькнул, пусть на миг, испуг.

Отогнал его. Где ты, воля?

Вдосталь в жизни — всяческой боли.

Распадаться нам недосуг.

Не сдаваться! За кругом круг.

Шаг за шагом. И миг за мигом.

К новым встречам. И — к новым книгам.

А потом — и к себе, на юг.

Если вырвусь отсюда снова.

Если съезнова повезёт.

Я надеюсь. А боль — пройдёт.

Непреренно. Честное слово.

Так вперёд! Сквозь тоску — вперёд.

Сквозь усталость. И сквозь бездомность.

Вечер скоро. Небес огромность.

Безусловность грядущих льгот.

Обретений возможных свет.

Пробуждений. Прозрений новых.

И — путей впереди. Суровых?

Лёгких — попросту в мире нет.

Истощение, да и только, — подобное состояние, как ни думай о нём, иначе, очевидно, и не назовёшь.

А может быть, просто усталость, общая, так ведь спокойнее, — следствие предыдущих, на износ, тяжелейших недель.

Надо было справиться с этим состоянием — предстояния: перед всем, что ждало меня впереди, что вставало там, за домами, за грозным гулом городским, за каждой крышей, каждым деревом, каждым окном, каждым, даже тревожным, сном, каждым, чудом пришедшим, благом, каждым поднятым в небо флагом, каждым шагом — в пространстве, сквозь время, сбросив с плеч всех скитаний бремя, всех бездомниц моих кошмар позади наконец оставив, и воспев, и навек прославив, коль сумею, душевный жар, и найти заветное слово, чтобы впредь его укрепить, надо было мне — выжить снова, чтобы дальше — дышать и жить.

Итак — что же было? Долгое моё, по мукам, хождение, с утра, и весь день, и вечером, и ночью, что вдруг пришла.

По улицам с переулками, с проездами, закоулками, бульварам, дворам и скверам, — знать, не было им числа.

Вокруг прудов Патриарших, и дальше, куда-то в сторону и вглубь, в густоту застройки столичной, и ввысь, почти.

Сирень ли цвела в округе, ну впрямь, как у нас, на юге, но влагою пряной пахло везде на моём пути.

Вдосталь наслушавшись пения голосистых предутренних птиц, почему-то я оказался в пустынном саду «Аквариум», где и встретил встающее солнце.

Стены театров поблизости смотрелись какой-то странной, вычурной декорацией.

Главное было в том, что рядом цвели деревья.

Сощурившись и соскучившись не на шутку по красоте, смотрел я на свечи каштанов, каскадами вертикалей излучавшие белый, тихий, с розовой прослойкой, свет, на яблони, благоухание которых казалось мне утренним шёпотом из далёкого, но доселе близкого детства.

И только две-три фигуры, застывшие, как изваяния гипсовые, на скамейках, да чья-то собака лохматая, бредущая по дорожке, порою напоминали о присутствии в мире, в столице, в непреложной яви, людей.

(Продолжение следует.)



ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ СТОЛИЦА

«КОСТРОМА MON AMOUR»

Кострома — притягательное место.
Особенно для приезжего. Особенно для столичного.

Прибывает сюда господин хороший и диву дается: городок-то славный какой! Картинка на жестяной коробке из-под монпансье, а не город: улочки уютные, ряды торговые, маковки церковные, каланча пожарная — как кремовое пирожное. И народец здесь живет такой ненарошненький, былинно-сказочный. Лодки дегтем мажет, лапти плетет да баранки жует.

Появился, к примеру, здесь однажды поэт и музыкант Б. Б. Гребенщиков, глянул вокруг — мать честная! «Буддийская» река Волга несет свои воды то ли в Персию, то ли в Иерусалим, а не то сама течет с Гималаев в Ледовитый океан. Мужички по Ипатьевской слободе бредут, хоть и пьяненькие, но просветленные. Из окрестных чаш вот-вот Гамаюн-птица выпорхнет да запоет песнь о БэГэугодной Костромской земле. И стала с тех пор Кострома для питерца Гребенщикова «монамуром».

Все это можно понять. У Костромы сложившаяся репутация духовного центра доподлинной Руси. Этакого заповедного оазиса «всамделишности» русской, русской самовитости и домовитости. Побывал тут, подышал здешним воздухом-ладаном — и вроде как прикоснулся к пониманию чего-то важного, ощутил, что Москва и Петербург — всего лишь хорошо отстроенные потемкинские деревни, а сердце-то русское — вот оно, туточки, у впадения Костромки в Волгу, бьется.

Иностранец, приплывающий в Кострому на туристическом теплоходе, это тоже понимает. Обижается только, что экзотика здешняя крепко подпорчена урбанистическими новшествами. Лучину, например, в избах уже не жгут, перешли на электричество и газ. На улицах медведей и бородатых мужиков в ушанках вовсе мало. Им бы, французам глупым, чуть дальше Московской заставы отойти...

Кострома — самая крепкая «надёжа» государственности русской, тайный алтарь святой монаршей идеи. Не случайно отсюда и Михаил Романов на царство зван. Иван Сусанин, один из наших идиолов-оберегов, из-под Костромы родом. Спаситель императора Александра II крестьянин Комиссаров тоже уроженец здешних мест. А костромские извозчики и лабазники, защищавшие в годы социальных смут исконный порядок от «штудентов»! Шутковать тут с революциями не моги. Державник Никита Михалков послал своих кинематографических юнkers подзаряжаться духом русской старины и аристократизмом офицерским не куда-нибудь, а в Кострому. Некоторые знающие люди говорят, что здесь какие-то лучи космические сходятся.

Рассказывают, что когда в конце 90-х первый президент России Ельцин прибыл в Кострому, то первое, что он сказал, сходя по трапу: «Эх, давненько не был я в Рязани!» Что ж, волжский ветерок опьянит кого угодно. Тут поневоле потеряешь ориентацию во времени и пространстве. Человек, приехавший в Кострому, вдруг начинает ощущать, что вернулся на свою историческую родину, о которой и думать забыл. Никто бы не удивился, если бы Ельцин воскликнул: «Ну, вот я и в Китеже!» (или «в Микенах!»).

За идеологическую основательность и мифологическую насыщенность полюбился наш город столичным профессорам, политикам, художникам. Едут они к нам, умиляются радушию, хлебосольству здешнему, рассказывают костромичам о выда-

ющейся роли Костромы в российской истории, восхищаются костромской аурой, убеждают костромичей в том, как хорошо в Костроме жить-поживать. А то и слезу пустят. Дескать, выпала вам честь-радость оберегать хоругви русские, сторожить капище священное. Обещают заехать еще, гостинцев привезти.

Картина до боли знакомая. Приезжает благополучный горожанин в деревеньку, грибки-ягоды кушает, в стожок ароматный лицом тыкается, дубами-березами любит, побряхтывает: «Хорошо-то как!» А утром, похмелившись парным молочком, садится в автомобиль и укачивает в свою уютную городскую квартиру.

Увы, иным гостям нашим Кострома дорога лишь в каком-то неумно-лубочном качестве. Как старинная монета, которую не нужно очищать от ржавчины и черноты, дабы не утратила она своего древнего очарования.

Смею утверждать, что у Костромы есть не только прошлое, но и настоящее, и будущее, есть повседневные заботы людей, живущих здесь сегодня, а не вчера. Им-то и не находится места на сусальной парсуне с ликом Костромы в цветастом платочке.

«Проснись, моя Кострома», — поет, противореча себе, петербуржец Гребенщиков...

Не нужно будить Кострому. Пусть она спит, храня свои мифы и сказки в неприкосновенной чистоте. Пусть останется то, над чем прольет слезы умиления заезжий человек.

КОСТРОМСКОЙ МУЖЧИНА

Костромской мужчина не обладает яркой внешностью, однако на его лице навсегда застыла хамовато-торжественная печать собственного превосходства. Жизнь на лесной бабьей стороншке, где мужские особи были в таком же дефиците, как строевая сосна на архипелаге Шпицберген, привела к формированию особого типа мужской философии. Суть ее можно выразить горделивой формулой: «Какой я ни есть, а все ж мужик!»

Костромской мужчина невысок ростом, зато крепок и широк в кости. Часто он имеет непропорционально короткие ноги, что, лишая тело эстетической презентабельности, дает ему и ряд важных преимуществ. Главное из них — особая устойчивость туловища при алкогольном покачивании.

Костромской мужчина не склонен оказывать женщине знаки внимания. Причиной тому не врожденная робость или стыдливость, а четкое представление о самом себе как о внеочередном объекте любых ухаживаний.

В силу этого костромской мужчина скуповат, что нередко вызывает негодование костромских женщин. Впрочем, иногда костромского мужчину охватывают труднообъяснимые приступы щедрости — и он покупает женщине букет цветов или новую рыбачистку из нержавеющей стали.

Костромской мужчина легко уступает женщине право принятия стратегических решений, но часто придиричив в ничего не значащих мелочах. Позволяя женщине доминировать в семье, костромской мужчина свято оберегает от посягательств свое почетное право ходить по квартире в нижнем белье и задерживаться после работы за кружечкой пивка.

Снося женские упреки и придирки, костромской мужчина неустанно успокаивает себя тем, что в его арсенале остается мощное оружие возмездия в виде удара кулаком по столу и вопроса «кто в доме хозяин?». Когда же приходит отчетливое понимание того, что контроль над ситуацией давно утрачен, а его мужское мнение никому не интересно, костромской мужчина срывается на реплику типа «ну и дура!..» (возможны лексические варианты).

Костромской мужчина достаточно мастеровит. Он умеет забить гвоздь и вернуть лампочку. Однако лучше всего деловые и творческие способности костромского мужчины проявляются в самозабвенном братании за бутылочкой «Старорусской» или в разработке внутри- и геополитической доктрины России (как правило, оба проекта реализуются одновременно).

Костромской мужчина неприсохлив в быту. Он охотно поедает то, что ему приготовит женщина, носит одежду, которую ему женщина купит.

Костромской мужчина консервативен и сентиментален. Приобретя современный автомобиль, костромской мужчина будет неизменно убеждать приятелей, что самая лучшая и безотказная машина в мире — это ржавеющий в гараже «Москвич-401».

Костромской мужчина не прочь посплетничать, но никогда не поставит концептуальные мужские сплетни вровень с ничтожными женскими.



Костромской мужчина плохо артикулирует гласные звуки, поэтому речь его часто напоминает невразумительную скороговорку, но в ответственные моменты своей жизни костромской мужчина умеет весомо молчать...

Вот он, костромской мужчина, топчется у ворот вашей гасиенды. Примите его таким, каков он есть.

КОСТРОМСКАЯ ЖЕНЩИНА

Костромская женщина опровергает знаменитое суждение Вольтера: «Женщина — это человеческое существо, которое одевается, болтает и раздевается». Между первым и третьим из упомянутых действий костромская женщина успевает совершить много других: она готовит пищу, зарабатывает деньги, управляя асфальтоукладчиком или заведя почтовым отделением, стирает белье, реинкарнирует мужа после вчерашнего, ну и конечно — святая святых! — болтает.

Костромская женщина красива. Природная стать сочетается в ней с притягательной округлостью форм, однако костромская женщина не всегда умеет правильно распорядиться своей красотой. Причиной тому неуверенность в своих возможностях, неистребимая мнительность и доверчивость.

Услышав комплимент в свой адрес, костромская женщина моментально начинает оправдываться, краснеть и оправлять подол.

Слишком легко костромская женщина цепляется за мнения и советы, подбрасываемые подругами, сослуживицами, а то и просто случайными людьми. Отсюда — неконтролируемая, стихийная смена настроений и внешних воплощений (прическа, фасон и цвет одежды и т. д.). Нередко такие метаморфозы приводят к искажению, затуманиванию естественного очарования костромской женщины.

Если костромской мужчина не знает меры только в двух вещах — в питии и футбольно-политических дебатах, то костромской женщине чувство меры изменяет постоянно.

Отдаваясь внушаемому с детства страху остаться «вековухой», костромская женщина может выйти замуж за первого встречного обормота и прожить с ним всю жизнь. Обормот-то еще поймееет с этого брака кое-какие дивиденды в виде всегда выглаженной рубашки и верного куска хлеба, а вот какие доходы получает женщина — бог весть! Василий Розанов, живший в Костроме у Боровкова пруда (в районе нынешнего цирка), делился таким впечатлением детства. Боковую комнатку в доме Розановых занимала женщина с дочерью лет восемнадцати. Каждую ночь девушка изводила мать вопросом: «Когда же ты меня выдашь замуж?» Эти слова врезались в сознание Розанова на всю жизнь: потом, когда ему на глаза попадалась женщина (любая!), он немедленно вспоминал маленький костромской домик и гремющий ночным набатом вопрос о замужестве.

Костромская женщина безраздельно отдается семье и очень быстро начинает квалифицировать мужчину как нечто мешающее налаживанию нормального бытового уюта. Многолетняя борьба с мужской тупостью, примитивностью и нечистоплотностью завершается благородным жестом, обращенным к мужчине: «Ладно уж, живи!» Отвоєванных мужчиной прав оказывается чуть больше, чем у домашних тараканов, но многие представители сильного пола довольствуются и этим.

У костромской женщины может быть любовник, но относится она к нему скорее как к подобранному из жалости на улице глупому ушастому щеночку или к купленному по сходной цене подержанному шифоньеру: в общем-то, он не нужен, но вещь еще не на выброс, может, и сгодится на что.

Если вы спросите у костромской женщины, зачем ей третья пара валенок (квартира, шуба, соковыжималка, машина и т. п.), аргументация последует предельно короткая: «Пусть будет».

Костромская женщина может быть восторженной и смешливой. Причем предмет ее восторгов мужчинам, как правило, не понятен, как не понятно и то, над чем и почему женщина смеется.

Костромская женщина любит шумно веселиться, плясать с притопом и петь караоке из репертуара Юрия Антонова и Татьяны Булановой, но в нужный момент костромская женщина умеет остановиться, собирает авоськи и, грохнув дверьми, исчезает...

Вот она, костромская женщина, стоит на хорошеньких ножках, ждет автобуса № 26. Проникнитесь к ней душевным теплом, полюбите ее.

КОСТРОМА БОГЕМНАЯ

Мой малолетний сын определяет богему как «жену бога». Ему, впрочем, простительно: подрастет — разберется, что к чему.

Богема... В последнее время слово это закрепилось в лексиконе массмедийных деятелей и простых обывателей. Только пользуются им, увы, часто без разбора. Читаю в одной из местных «светских хроник»: «В зале собралась богемная публика: бизнесмены, банкиры, представители творческих профессий». Воистину так: нет фигур более «богемных», чем банкир с торчащим из нагрудного кармана золотым «паркером» и жена банкира, на шею и пальцы которой надета трехлетняя зарплата какого-нибудь библиотекаря. По неграмотности репортер в очередной раз подменяет понятие «бомонд», то бишь высший свет, пришедшимся к слуху словом «богема», которое переводится как «цыганщина» и применимо лишь по отношению к малоимущей группе неконформистов-художников, ведущих асоциальный, а нередко и бродяжий образ жизни. Таков, к примеру, французский поэт Поль Верлен, средой обитания которого был кабак и грязный закоулок, или наш Сергей Есенин, который даже с жизнью простился в гостиничном номере, ибо своего постоянного пристанища просто не имел.

Кострома, вероятно, стремясь самоутвердиться в праве называться «цивилизованным европейским городом», без устали прорастивает из собственных семян всевозможные аристократические «лилии» и порочные «цветы зла». Есть у нас и губернское дворянство, и казачий батальон, и проститутки, и наркодельцы. Пусть и богема будет. В конце концов, чем улица Советская хуже парижского Монмартра!

Телевизионный душка-ведущий говорит: «Скульптор Ц. широко известен в кругах костромской богемы». Так и представляешь себе эти «богемные круги» — просвечивающих насквозь одухотворенных мужчин с расчесанными на прямой пробор волосами, безгрудых женщин-неврастеничек, обмотанных истлевшими от времени боа. Представляешь себе и самого скульптора Ц. — с горячным взором, в драганом свитере.

Местные исследователи и бытописатели этой среды время от времени потчуют обывателя пикантными подробностями бушующих там страстей, размышляют над бездонностью тамошних пороков и дарований. И задумался я: а есть ли она вообще, эта самая костромская богема? Существует ли у нас мало-мальски мощное интеллектуально-художественное подполье? Может, и вправду обитает где-нибудь в страшных костромских клоаках новый Рембо или Ван Гог?..

«Кастовые» признаки представителя богемы — творческая одаренность, абсолютная самодостаточность, наплевательское отношение к материальному и бытовому комфорту, семейная неустроенность, отягощенность многими слабостями, характерная внешность, соединяющая налет святости и порока. Что ж, пожалуй, будут соответствовать этому портрету один-два костромских музыканта-рок-н-роллашика, пара-тройка художников, кое-кто из поэтической братии. Прямо скажем, малова-то для того, чтобы именоваться «средой». Но даже этот тонюсенький ручеек мелеет и мутнеет год от года.

Известный наш поэт, чье мировосприятие очень близко к богемному, несколько лет назад бросил пить и подружился с цивилизацией. Сегодня это преуспевающий практик, который может запросто позвонить по сотовому телефону интеллектуалу Александру Гордону или гламурной Ксюше Собчак. Так в свое время Макаревич сменил рокерскую гитару на телевизионный поварской колпак.

Самый богемный из известных мне костромских писателей (Сергей Савин — к сожалению, недавно умерший) одной рукой хватал вареную картошечку из чугунка, а другой нажимал клавиши компьютера.

Так что с богемой у нас дела не ах! Впрочем, клошаров, бомжей, или, как называют их в народе, «синяков», в городе хватает. Осталось только стимулировать приток творческого вдохновения к их пропитым мозгам. Тогда мы сможем смело утверждать: есть в Костроме богема!

КОСТРОМА МАРГИНАЛЬНАЯ

Marginalis — в переводе с латинского означает «находящийся на краю». Маргиналами сегодня принято называть людей, выпадающих из жирно пропечатанного текста жизни, существующих на его обочине в виде невразумительных каракуль и нецензурных слов.





В советскую эпоху отклонения от «текста» не допускались, потому не было у нас в таком изобилии, как нынче, ни профессиональных бродяг, ни обитателей сточных канав и теплоцентралей, ни гурманов, столующихся у мусорных бачков. В самые светлые годы социализма не бывало у нас такого количества лиловоликих мужчин и женщин, словно сбежавших из массовой фильмов «Вий» или «Байки из склепа».

Вообще-то говоря, читать ремарки на полях интересно. Всегда любопытны мотивы, заставившие человека заселить некомфортабельную бочкотару. В свое время Александр Македонский, будучи в Синопе, захотел оказать какую-нибудь любезность городскому сумасшедшему Диогену, жившему в бочке. Тот попросил прославленного завоевателя лишь об одном: отойти в сторонку и не закрывать солнышко.

Проходили столетия, но благопристойный член социума не утратил интереса к нищему обитателю общественного дна. Причем к искреннему непониманию того, как можно так жить, примешивалось искреннее же восхищение тем, что можно жить так — не рефлексируя, не терзаясь житейскими проблемами, «буддийствуя», не завися от людей, идей и вещей, в которых, как в щупальцах спрута, и погибает живая душа человечья.

В России, где всегда особо чтит ходящих «по краю», сложилось гипертрофированно уважительное отношение ко всяческим человеческим отбросам. Вспомните хоть столетней давности паломничество столичных писателей и драматургов в хитровские трущобы — за смыслом жизни и доподлинно нравственными экземплярами Homo sapiens. Максим Горький почти обожествовал босяка, уподобив скопище пьяниц, бомжей и карточных шулеров чуть ли не ордену Святого Франциска Ассизского. Похоже, люмпен поэтизировался, что называется, на безрыбье: ну не собственника-крестьянина, не интеллигента бесхребетного, не буржуа же кровососущего воспевать! Сегодня эта проблема стала менее актуальной: ныне поэтизируется образ бандита, причем в худшей из его ипостасей.

Власть тоже всегда поглядывала на люмпена не без отеческой любви. Дескать, смотрите, граждане российские: вот, живут же люди, ничего у меня не просят, всем довольны. Необходимо бомжовое сословие и обывателю: есть, с кем сопоставить уровень собственного благополучия, есть, кому бросить денежку от щедрот своих. Почти столетие существовало у нас маргинальное государство с «обочинной» идеологией, населенное людьми «с обочины».

Вот бредут они, костромские клошары, в разномастных ботах и с коричневыми хомячьими щеками. Идут, покачиваемые алкогольным ветерком. В чем только душа держится, однако на лицах блуждает застенчиво-счастливая улыбка. Они словно стесняются своего мнимого блаженства в мире бесконечных забот. Нет, не похожи они ни на философа Диогена, ни на Гекльберри Финна, жившего в ящике из-под сигар, ни на супраморалиста Николая Федорова, ни на битников, ни на хиппи, ни на обитателей Двора Чудес, ни даже на горьковских «огарков». Несчастные, жалкие, раздавленные жизнью и обстоятельствами, биологические руины, человекоподобные памятникники собственной слабости и глупости.

Не по-христиански судите, возразят мне иные жалетели. Убежден, подлинное жестокосердие — быть преступно безответственным к своей собственной судьбе и к судьбе своих детей. Мы признаем право человека поступать именно так, возвышая клошара и снисходительно похлопывая его по плечу.

КОСТРОМА МАТЕРЯЦАЯСЯ

В прежние времена у господ офицеров бытовало выражение «сделать франц-хераус». Сие обозначало известный физиологический процесс, которым нередко сопровождается неумеренное потребление алкоголя. К примеру, стоит у парапета в позе колодезного журавля какой-нибудь поручик или штабс-капитан, пытаясь извергнуть остатки обильного ужина, — о таком человеке и можно сказать: «Франц-хераус делают-с».

Места для этого печального обряда выбирались малолюдные. В перечень героических поступков его тоже не включали, а на вопрос дамы: «Что же вы, поручик, так внезапно вчера исчезли?» — отвечали: «Письмишко матушке забыл отписать».

Времена изменились. Когда идешь по сегодняшней Костроме, тебя не оставляет ощущение, что вокруг делают бесконечный «франц-хераус». Только успевай уворачиваться! Словесная скверна по сути ничем не отличается от тех перегоревших органических помоев, которые возвращает миру перепивший гражданин. Разница лишь в том, что сквернослов сегодня не стремится уединиться возле забора, а выволакива-

ет содержимое своего интеллектуального и душевного нутра торжественно, ничего и никого не стесняясь.

Никогда блудословие не достигало такого чудовищного размаха, как сегодня. Никогда садовники русской словесности не чувствовали такой беспомощности перед лицом этой речевой саранчи.

В матершине костромичи проявляют всю свою недюжинную изобретательность. Ругаются надменно и грязно. Лексикон современного восьмиклассника заставит испуганно вздрогнуть любого сантехника эпохи развитого социализма. Речь едва оперившихся шестнадцатилетних нимфеток принуждает предположить, что за их плечами — полувековое пребывание на тюремных нарах. Многие мужские особи не могут связать двух слов без артиклей «на», «бля» или «опыть». Даже бабушка, хватаясь за поручень качнувшегося автобуса, причитает: «Господи твою мать!» Тоже, видать, хватила лиха, сердешная, насмотревшись заграничных «кин» да здешних рож.

Парни и мужчины блудословят в присутствии девушек и женщин — те благожелательно отвечают тем же. Хорошая иллюстрация к досужим разговорам о душевной щедрости и особой духовности русского народа. Для рвущегося к высотам нравственности русского человека мат — самая мягкая и удобная подстилка, уж извините за каламбур.

Конечно, ругаться нехорошо. Конечно, всякая брань хоть на ворота и не виснет, но унижает всякого человека, а в бранящемся высвечивает умственную и душевную скудость. Конечно! Но эти аргументы мы побережем для маленьких детей.

Взрослым дядям и тетям скажу так. Слово — из мистических сфер. Оно умеет гораздо лучше управлять человеком, чем человек им. Оно не прощает глумливого отношения к себе, постепенно отбирая у сквернослова ту меру достоинства, интеллекта и обаяния, которой тот обладал.

Эфемерность слова кажущаяся. Это материальная субстанция, хранящая в себе колоссальную энергию, и от вас зависит: стать ее мудрым пользователем или недомком-камикадзе, который смолит сигарки в пороховом погребе.

Дорогие земляки, пришло время рядом с весенним лозунгом «Очистим родной город от мусора!» вывесить другой, помощнее: «Очистим нашу речь от скверны!» И хорошо бы почин этот подкрепить конкретным делом.

ПРОМОКАШКИНО СЧАСТЬЕ

Помните знаменитую сцену из фильма «Место встречи изменить нельзя»: Шарапов в логове Горбатого, демонстрируя свои музыкальные навыки, играет эту Шопена. Промокашка, слушая бодрые фортепьянные переливы, ухмыляется: «Этак-то и я могу!» «Что же играть-то?» — чуть не плача спрашивает Шарапов. «Мурку!» — предлагает Промокашка, и после первых аккордов этой старой воровской песни в логове воцаряется полная душевная гармония.

Меня не оставляет ощущение, что сегодня отлетевшая душа Промокашкина инкарнировалась в целую нацию. Хотите убедиться в этом? Совершите прогулку по патриархальному среднерусскому городу Костроме. Из окон, кафе, киосков, магазинов и автомобилей на вас обрушивается песенная лавина, любовью именуемая поставщиками музыкальных консервов «блатнячком». Слово город населен исключительно «щипачами», «форточниками» и «медвежатниками», тоскующими о покинутых лагерных нарах. Есть у воровской песни и цивилизованный «лейбл»: иногда ее называют «русским городским шансоном». Хорошо придумано! Давайте теперь знаменитые «садитские» частушки окрестим «русской иронической готикой», а частушки матерные — «русским эротическим канцоньере».

Безусловно, из нашей культуры не вычеркнешь вшиво-кроваво-цинготную историю зоны. Можно и на лагерном материале создавать шедевры. Чего стоит хотя бы «Окурочек» Юза Алешковского! В этой песне есть все: и простонародная грубоватость, и высокая поэтичность, и тонкая ирония, и глубокий драматизм человеческой судьбы. Но умиляться убудочным текстам расплотившихся песенных «мурок» — это выше человеческого понимания! Если в недавнем нашем прошлом уголовный «шансон» мог рассматриваться как определенная альтернатива рафинированной и не в меру пафосной «советской» песне, то сегодня все определяется толикой нашего соображения и вкуса. Дело дошло до того, что наши эстрадные доны и донны через пару дней после Рождества Христова выпорхнули на голубой экран с перепевом все той же «Мурки» — видимо, самой впечатляющей из «старых песен о главном».

Убийственная противоестественность ситуации заключается в следующем. Мы с брезгливостью и гневом говорим о карманнике, который вытащил у нас в автобусе



кошелек, — и мы же блаженно улыбаемся при кретинистичных, но, как нам кажется, трогательных строках: «Мама, я жулика люблю, мама, я за жулика пойду...» С вас сорвали на улице шапку? Но не вы ли топотали ножкой в такт классическому «шансону»: «Арончик был натурой очень пылкой: ударил Розочку по кумполу бутылкой?...» У вас вынесли вещи из квартиры? Но не вы ли заказывали в кафе «Владимирский централ» и благодушно улыбались телевизионному «шансонье», старательно выводящему: «Ты зашухерила всю нашу малину, а теперь “маслину” получай!»

Нелепо утверждать, что эстетические наклонности Промокашки разделяются всеми, но, увы, многие в силу странного недомыслия погружают свои мозги и души в дегенеративный песенный саунд. Что говорить, Промокашка — парень симпатичный, но в кармане он носит финку и нет никаких гарантий, что она не будет обращена против нас.

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ФИЛОЛОГИЯ

Только не пугайтесь слова «пенитенциарная»! Так в юридической практике называют всё относящееся к системе наказаний. Например, тюрьма — это пенитенциарное заведение.

Пенитенциарные учреждения — это особый мир, который, впрочем, лучше изучать со стороны. Люди, для которых тюрьма была родным домом, на протяжении столетий формировали свою систему жестоких традиций, ритуалов, создавали свой язык, который не был бы понятен непосвященному. Так родился воровской жаргон. Большевицкий режим с его садистско-пыточными гулаговскими изысками максимально приблизил тюрьму к человеку. Через лагеря и пересылки прошли миллионы людей (в том числе людей ни в чем не повинных). Поэтому не приходится удивляться, что в советское время разговорный русский язык начал активно пополняться словечками, заимствованными из преступной среды.

В постсоветское время ситуация стала совсем удручающей. К 90-м страна уже прилично наблатыкалась (то есть, говоря «гражданским» языком, переняла преступный опыт) в воровском жаргоне. На нем общались даже некоторые думские депутаты, не говоря уже о рядовых братках, то бишь бизнесменах. Хорошо помню, как один крупный руководитель, возражая оппоненту, прилюдно орал: «Хватит мне тут ерша гнать!» (на воровском языке «гнать ерша» означает выдавать себя за преступного авторитета). В общем, в девяностые страна стала напоминать большой кельдым (так в известных кругах называют притон, где можно развлечься, взбодриться чифиром и поделить краденое).

Сегодня сленгоговорящие, в основном молодежь, общаются на невообразимой языковой смеси, обильно насыщенной «пенитенциарной» лексикой. Причем молодые люди, как правило, даже не подозревают о подлинном происхождении тех слов и выражений, которыми активно пользуются. Некоторые из этих слов и словесных оборотов вошли в повседневную речевую практику без изменения того значения, которое имели в воровской среде: бормотуха, бычок (окурок), жлоб, валенок (медлительный, туповатый человек), дербалызнуть, керосинить, кипиш (шум, ссора), компостировать мозги, до лампочки, всё путем, прикинуть себя за преступником, подбивать клинья, не фурычит, не в жилу, качать права. Другие входили в «гражданский» обиход с изменением первоначального смысла. Например, выражение «дать по ушам» означает изгнать человека из воровской среды. «Держать марку» — значит поддерживать связь с ворами, при этом воздерживаясь от преступной деятельности. Популярное у молодежи словечко «колбаситься» характеризует ситуацию, в которой задержанный или подозреваемый пытается изображать честного человека, возмущается с целью отвести от себя подозрения. Словечко «заколбасить» и вовсе жуткое. Оно означает убить!

Наверное, не стоит засорять свою речь такими неаппетитными словами. Сегодня пришло время откреститься от всего, что уродует русский язык. Кинуться в шурш, как сказал бы опытный вор (то бишь порвать с воровской средой и ее обычаями). А иначе у каждого из нас есть шанс навсегда остаться дятлом опилочным, удел которого колбаситься, будучи схваченным за шиворот на пороге кельдыма.

ПАРАНОРМАЛЬНЫЙ МИР КОСТРОМЫ

Один пожарный дома отдыха рассказывал о том, что однажды видел на лесной опушке спускающийся аппарат инопланетян. Дескать, был он металлический, весь опутанный трубами и светился разноцветными огоньками. Была ли это летающая

тарелка или взбодренный перцовкой пожарный принял за спускаемый аппарат ржавый смывной бачок, валявшийся в траве, — никому не ведомо. Недавно газеты сообщили о том, что некий лесник под Костромой вел огонь из берданки по окружающим его займку «чеченским террористам». После пленения впавшего в белую горячку патриота врачам пришлось перемещать его из паранормального мира в нормальный, о чем бедолага, вероятно, сожалел.

Приведенные выше факты показывают высокую внутреннюю готовность нашего населения к принятию проявлений паранормального мира. Если вы возьмете кого-то всерьез убеждать в том, что температура комнатных батарей напрямую зависит от степени «повернутости» к Земле колец Сатурна, то обязательно найдется поверивший в это. Если предположить, что пропавшие из механического цеха стальные болванки были приспособлены пришельцами для латания их звездолета, то это может устроить очень даже многих. Формы нашего сознания и быта таковы, что здравомыслие и порядок нередко квалифицируются как опасное отклонение от нормы, а заведомый абсурд — обретает качества подлинности.

Конечно, пределы паранормальности зависят в первую очередь от нас самих. Я знаю людей, которые самой вопиющей несурзацей нашей жизни считают явление на шпилях российских присутственных мест «царских» триколоров. Воспоминания о краснокумачовом прошлом и о колбасе по два двадцать заставляют их беспокоиться ворочаться на капиталистических лежанках. Для кого-то высший уровень паранормальности — непылющий человек. Для одного время и пространство искажаются при виде по окну провалившейся в землю избушки, для другого — при виде новорусского особняка. Найдется и тот, кто назовет саму Россию таким историческим альбиносом, чудовищным сгустком паранормальности, который не объехать ни на каком тракторе.

Я тоже внутренне готов отнести многие явления нашей жизни к разряду паранормальных. Оборванные и голодные дети, кланчащие у прохожих мелочь; матери, бросающие своих новорожденных младенцев; семьи, живущие на ежемесячное жалованье в тысячу рублей; напоминающий свалку мусора весенний город; пустая консервная банка, прикрывающая, подобно феске, бронзовую голову литератора Писемского, — да мало ли что еще может показаться нам запредельной странностью. Действовать названные явления могут посильнее, чем НЛЮ, зависший над чебуречной, или, к примеру, телекинез.

Разве не аномален высокого ранга чиновник, руководящий очень ответственной и хрупкой сферой нашей жизни и поражающий всех своим очевидным невежеством! Наша неистребимая вера в случай, в пустые обещания и слова, наше наивное упование на власти предрекающие — все это тоже находится за порогом нормальности.

Как нечисть тяготеет к чердакам, подвалам, заброшенным домам и кладбищам, так приметы паранормального мира липнут к человеческой безответственности и глупости, к житейской неустроенности. Я верю пансионатному пожарному: где-нибудь в костромском лесочке лежит сейчас припорошенный снежком космический корабль инопланетян, вернувшихся на свою историческую родину.

КОСТРОМА НОВОРУССКАЯ

Год от года, день ото дня хорошеет Кострома.

Рядом с покосившимися избушками эпохи Александра III прорастают новорусские особняки с витражами и бельведерами. Затрапезные продмаги превращаются в сверкающие зеркальными витринами супермаркеты, где можно купить севржюатину, плоды авокадо и замороженные лягушачьи лапки. Словно гадкие утята в лебедей, унылые учреждения и конторы волшебным образом преобразуются в фешенебельные офисы фирм, где жужжат умные компьютеры и от подтянутых служащих пахнет дорогим одеколоном.

Душа радуется, когда открываешь сегодняшнюю костромскую прессу, в которой скучные «вести с полей» давно уступили место пестрым рекламным полосам и объявлениям об элитном досуге. Семимильными шагами возвращаются в нашу жизнь казавшиеся безвозвратно утраченными представления, символы и понятия.

Конечно, новое пробивает себе дорогу с трудом. Кое-где еще мы встречаемся с досадными рецидивами прошлого. Нет-нет да и резанет глаз криво накарябанное на листке бумаги «Пива нет» или раздражающе-стандартное «Молоко», «Колбасы», «Хлеб». На автобусном вокзале можно увидеть надпись «Касса дооблечения пассажиров», навевающую воспоминания о хрущевско-брежневском безвременье. Однако стоит взглянуть на другую сторону улицы, как душа преисполняется восторгом: на красном кирпичном здании магазина красуется впечатляющий росчерк



«Продукты. Золото». Вот оно, яркое свидетельство глубокого своеобразия российского рынка! В самом деле, хорошо и удобно по пути с работы домой забежать в гастроном за пакетом молока и сосисками, а на сдачу прихватить в соседнем отделе золотой перстень граммов на 40-50 или что-нибудь из скромной платиновой бижутерии.

Спросите несведущего жителя какого-нибудь там Осло, каким ассортиментом товаров может быть представлен магазин с чарующим названием «Русский лен». Будет гадать норвежец до таяния арктических льдов — не угадает. Осло он и есть Осло.

Любой костромич знает, что в «Русский лен» нужно идти за холодильником или дверными ручками, в «Фототоварах» покупают детское питание, в отделе «Игрушки» следует пробивать чек на туалетную бумагу, а в плавательном бассейне можно обновить свой гардероб. В книжном магазине мы купим смеситель для ванны, в галантерейном — «жигулевские» дворники. Гены у нас еще те: даже дворец бракосочетаний мы устраивали не где-нибудь, а в здании бывшей гауптвахты. Долгое время этим целым служила филармония.

Верю: недалек тот день, когда город покроется вывесками типа «Ремонт обуви. Огранка изумрудов», «Прачечная. Пип-шоу», «Школьные ранцы. Заточка финок и расточка стволов». И это правильно!

В знаменитом фильме Бунюэля герои ведут светскую беседу, сидя на унитазах, а о том, где находится столовая, спрашивают смущаясь и пряча глаза. Унитаз ведь не сам по себе постыден, а в силу общественных установлений. А если их изменить?

Абсурд, возведенный в ранг самобытности, перестает быть абсурдом. Нелепость, квалифицируемая как «кизюминка», обретает силу достоинства. Отрава становится деликатесом, хамство переходит в шарм.

Если мы продолжаем жить по кафкианскому или бунюэлевскому сценарию, то уже пора переместить суды на пыльные чердаки, в драмтеатре проводить конные заезды, а в библиотеках — профессиональные конкурсы наперсточников.

КОСТРОМА ПРИМОРСКАЯ

Размышления над именами общественных заведений новой Костромы позволяют сделать вывод, что здесь вызывает противоборство двух направлений: ретроградно-русофильского и прогрессивно-западнического. Первое представлено «Славянским», «Русью», «Берендеевкой», второе — «Энигмой», «Альмагеей», «Камелотом», «Монбланом».

Налицо устойчивое тяготение к романтике южных морей: «Бегемот», «Попугай», «Оазис», «Якорь», «Альбатрос»; к образам древнегреческой мифологии: кафе «Медя», торговый дом «Пегас», салон красоты «Афродита». Случайно ли это?

Некоторые неумные остряки язвят, что Кострома, дескать, возомнила себя то ли портовым Гамбургом или Кейптауном, то ли солнечным островом Лесбос в Эгейском море. Отпускать шуточки на сей счет может кто угодно, но только не вдумчивый специалист-историк. Кострома имеет не меньше прав называться приморским городом и наследницей античной цивилизации, нежели какой-нибудь там Трабзон. В конце концов мы живем на берегу великой реки — и теоретически к нам мог заплывать кто угодно: хоть греческие аргонавты на триере, хоть древние перуанцы на бальсовом плоту, хоть египтяне на тростниковой лодке.

Не солидно предполагать, что выбор названий новорусской Костромы определяется только принципом благозвучия и эффектности. Имя никогда не дается просто так. Имя путешествует в нашей исторической памяти, блуждает в потемках коллективного бессознательного — и в один прекрасный день вылезает, как прыщ, — вот оно я!

Медленно, но верно Кострома отрешивается от мерянско-славянского родства и обозначает свою сопричастность судьбам великих цивилизаций Запада и Востока. На заново оштукатуренных стенах города появляются впечатляющие лейблы: «Мачо», «Эльдорадо», «Испаньола». На этом фоне тускнеют архаичные «медведи» и «домовые».

Процесс вхождения Костромы в цивилизованное топонимическое пространство следует ускорить. Наши соседи ивановцы, например, ушли в этом далеко вперед, широко освоив образы древней мифологии. Там не забыт даже египетский бог загробного царства Осирис (в его честь названа фирма, торгующая кошачьим и собачьим кормом).

Господа, «обдумывающие житье» и выбирающие названия для своих бизнес-проектов, проявите больше выдумки и задора. Пусть ваши гены подскажут вам правильное имя. Как чудесно звучало бы все это: агентство недвижимости «Пандора»,

частный офтальмологический кабинет «Полифем», строительная компания «Сизиф», охранный агентствo «Кербер», швейное ателье «Прокруст», коммерческий банк «Сцилла и Харибда», интим-клуб «Калигула», ресторан «Мардук», парикмахерская «Далила», агентствo ритуальных услуг «Анубис». Дельно! Красиво!

Это будет первым шагом. Вторым — приведение названий костромских улиц и площадей в соответствие с новорусскими именами. Негоже ресторану «Палермо» стоять на Советской, а торговому центру «Эльдорадо» — на улице Ивана Сусанина. Эклектично получается.

Ну а там, глядишь, и самому городу подберем имечко поблагозвучней: Вавилон, или Кносс, или Дур-Шуррукин. А то и вовсе — Париж!

Интересно, кто через полвека будет праздновать 900-летие нашего города: коринфяне, гунезцы — или таки костромичи?

КОСТРОМСКИЕ ИНОСТРАНЦЫ

Есть примета: если костромич переезжает в город покрупнее нашего или в другую страну, то назад он уже не возвращается. Более того: на вопрос «Скучаешь ли по малой родине?» девять из десяти невозвращенцев ответят: «Нет. Предпочитаю ее вообще не вспоминать». Дескать, да, родился здесь, тут мама с папой жили, тут детский сад посещал и школу, но на этом basta, отвяжитесь! Сентиментальные слезы мои давно высохли, сейчас я живу в Копенгагене (Мюнхене, Хайфе, Детройте) и всем глубоко доволен.

Кого-то такая позиция может повергнуть в шок. Кто-то удрученно и понимающе вздохнет, вспомнив чеховское: «Провинция губит талант». Кто-то сорвется на негодование и вопросы типа: «Где только родятся эти иваны родства не помнящие?» Где родятся — известно. И не будем спешить с упреками.

На рубеже 80—90-х сотни наших земляков отправились в первопрестольную (Москва — это в известной степени тоже заграница) и в забугорные дали на поиски лучшей доли. Одни делали политическую карьеру, другие преобразались в преуспевающих бизнесменов. Один женился на швейцарке, другая вышла замуж за немца. Кто-то заявился в белокаменную, как д'Артаньян в Париж, не имея за душой ничего, кроме предприимчивости и отваги, — и победил этот не очень гостеприимный город. Кто-то, увы, сошел с круга, растворился в столичных клоаках.

Тогда, 10-15 лет назад, у новоиспеченных иностранцев был верный повод почувствовать нам, оставшимся в нишей, неустроенной, разваливающейся на части стране. Костромичи же, еще не избалованные телевизионными мыльными операми, восторженно передавали друг другу очередную историю о волшебном превращении продавщицы заволжского гастронома в жену преуспевающего шведского бизнесмена. Нет-нет да и долетала до наших весел посылочка с гуманитарной помощью: голландской тушенкой и французскими галетами.

Сегодня, пожалуй, костромская бабушка, наглядевшись рекламы, предпочтет отправить внучке-«хрануженке» баночку какой-нибудь домашней вкуснятины: а то, небось, травят их там, в Европе, всякой пакостью химической. Костромские телефоны раскалялись докрасна в тревожные сентябрьские дни 2001 года, когда рушились нью-йоркские небоскребы. Я сам страшно переживал за друга юности, чей офис находится недалеко от злополучных домов. В 2002-м центральную Европу изрядно подтопило — опять повод для беспокойства: как они, бедолаги, там, в Вене и Дюссельдорфе? Рванули в Израиле очередную бомбу — снова в российской глубинке не спят, переживают.

Звонит мне на днях из Хельсинки бывший одноклассник — ничего понять не могу: в трубке гудит, ухает, словно с преисподней соединили. «Что такое?» — спрашиваю. «Да вот, — говорит друг, — гулял по парку — погода великолепная! — решил тебе брякнуть. Только номер набрал, — ветрина как налетел — жуть!» Поневоле посочувствуешь товарищу, живущему в такой щедрой на природные катаклизмы местности. Даже раструб сотового задувает. Хоть теплые носки парню пошлай.

Наверно, сегодня у костромских иностранцев больше причин с завистью и тоской поглядывать на оставленную лесную сторонку, где уютно трещат дрова в камельке и никто не упрекнет тебя за выглядывающее из-под пиджака исподнее. Но тосковать нельзя — и возвращаться нельзя. Почему? Тайну эту открыла мне одна костромская немка: не ностальгируем, потому что становиться невыносимо больно. Лучше вполне по-европейски взять себя за шиворот и вытряхнуть, как из мешка, воспоминания и надежды. По крайней мере, душе легче станет.

КОСТРОМСКОЙ ОСКОЛОК ПОДНЕБЕСНОЙ

«Русский и китаец — братья навек!» — это старое утверждение подверглось мной сомнению, когда однажды я очутился в одном северокитайском городишке с числом жителей этак около полумиллиона. Мне казалась, что все полмиллиона пребывают на улице одновременно. Обитатели этого людского муравейника беззащитно обшаривали мою одежду, лезли в карманы и пытались ухватить за бороду. Я видел, как рыдала русская женщина, потерявшая какие-то свои вещи (что не мудрено в Китае!), и как китайцы залиvisto смеялись, тыча в несчастную пальцами.

Возвратившись домой, я с тревогой размышлял о панмонголизме и эффекте «выдавливания»: суть его в том, что разрастающаяся желтая раса заполняет евразийское пространство, оттесняя славян в пределы Западной Европы, а испанцам, немцам и французам, естественно, не остается ничего другого, как переселяться на какие-нибудь атлантические архипелаги.

«Чайна-таун» есть во всяком крупном городе планеты. Мировой рынок наводнен дешевыми китайскими товарами. Практически все сувениры, оставляемые в русских учреждениях и семьях американцами, англичанами, итальянцами и прочими забугорными гражданами, в конце концов разоблачают себя малоприметной надписью «Made in China». К классическому выражению «китайские церемонии» добавилось теперь и «китайское качество». Разборчивый покупатель, прицениваясь на базаре к вещи, непременно переспросит продавца с опаской: «Не китайская?»

Медленно, но верно китайцы заполняют собой бескрайние просторы России. Несколько лет назад появились они и в Костроме. Сначала это были всего лишь студенты, постигающие тайны экономических, технических и гуманитарных дисциплин. Потом в городе начали открываться китайские ресторанчики. На очереди — появление маленькой, но влиятельной китайской диаспоры.

Китайцам в Костроме и хорошо, и плохо. Хорошо оттого, что свободного пространства больше: на улицах и волжской набережной малоллюдно, особенно вечером, — не то что на берегах Янцзы и Хуанхэ. Впрочем, вечером гостям Костромы лучше посидеть дома. Был случай: местный «патриот» страшал пугачом желтолицего уроженца Поднебесной, да сам едва ноги унес. Китайцы выстроились стеной, как во время восстания Красных повязок. Эти хлопцы в обиду себя не дадут: коллективистский дух в них чрезвычайно силен. Замечу, что живут они замкнуто, не допуская посторонних в свою среду, практически не общаясь со сверстниками-аборигенами. При этом они очень доброжелательны и по-детски азартны. Если их попросить устроить на Сусанинской площади китайский утренник в духе рекламы сока «Фруктовый сад», согласятся обязательно.

Плохо китайцам в Костроме зимой: морозец-то о-го-го! Впрочем, ребята они крепкие и в самые жуткие холода не желают уродовать свои конфуцианские лики русскими ушанками. Но главная беда для китайца — русский язык! Дело в том, что, обладая чудовищно сложной грамматикой, он совершенно не «стыкуется» с китайским, в котором грамматика (формы словоизменения) отсутствует вовсе. Кроме того, китайскому уху русский язык кажется излишне рычаще-шипящим, что и вовсе запугивает выходцев из Желтой империи.

Однако — ничего! Бог даст — язык осилят, научатся мириться со здешними холодами и нравами, обживутся в Костроме. У нас ведь много общего. Даже если мозги набекрень, то в одну сторону. Недавно это со всей очевидностью подтвердил прилежный студент-китаец. Ему было поручено написать реферат о каком-нибудь выдающемся китайском философе или поэте. В назначенный час на столе у преподавателя лежал готовый опус: «Великий Мао Цзэдун»...

Как говорится в классических китайских «цзацзуань», умен, кто вовремя спохватывается. И я радуюсь тому, что в глазах «костромских» китайцев нет ни тени желания смеяться над потерявшей вещи русской женщиной.



ИСТОРИЯ ГЕРМАНСКОГО КОНСУЛЬСТВА В НОВОСИБИРСКЕ*

6. Иностранная индустриальная колония в Сибири

Согласно имеющимся в англо- и немецкоязычной литературе данным, в СССР в период между двумя мировыми войнами использовалось в общей сложности до 70 000—80 000 иностранных рабочих и специалистов¹. Их массовое привлечение в страну началось в 1930—1931 гг. «в связи с громадной реконструкцией социалистического хозяйства и промышленности»².

Значительную часть привлеченной рабочей силы использовал в Сибири быстро развивавшийся Кузнецкий каменноугольный бассейн. Намеченные для него темпы роста добычи угля значительно опережали общесоюзные, а ее плановые объемы с 1928-го по 1930 год выросли почти в пять раз³. В это время наличие специалистов в процентном отношении к числу рабочих определялось в Сибири мизерной цифрой в 1,45 %, а инженеров — еще меньше (0,31 %). В Германии, в условиях «более легкой разработки каменноугольных месторождений», этот процент достигал 4,5⁴. Не лучше обстояло дело и в других отраслях индустрии. Уже в марте 1929 г. в письме секретаря Сибкрайкома ВКП(б) С. И. Сырцова И. В. Сталину говорилось о необходимости «пополнения каменноугольной промышленности в самое ближайшее время квалифицированными инженерно-техническими силами, как за счет командирования их из центра, так и путем приглашения из-за границы». Требовались инженеры для проектирования новых и реконструкции старых шахт, для монтажа и обслуживания импортного оборудования и механизмов, проходчики, забойщики, энергетики, строители, механики и т. п. Германия, переживавшая нелегкие времена (экономический кризис, депрессия, закрытие шахт, безработица⁵), и стала главным источником квалифицированной рабочей силы для развивающейся индустрии.

Был отработан действенный механизм вербовки специалистов и рабочих в Германии. При Торгпредстве в Берлине заинтересованными наркоматами были созданы специальные бюро: Уполномоченного Наркомата тяжелой промышленности, ООО «Союзуголь», Техническое металлургическое бюро, Представительство Наркомата по транспорту СССР за границей, Спецбюро ВСНХ и др.⁶ «Клиентов», глав-

* Продолжение. Начало см. «Сибирские огни», 2013, № 6.

¹ Graziosi, Andrea. «Visitors from other times»: foreign workers in the prewar piatiletki // *Cahiers du Monde Russe et soviétique* 29 (1988). S. 161—180. Здесь: S. 161; См. также: Heeke M. Münster. «Mit Ilsebill freiwillig nach Sibirien». Reisen nach Sibirien und Fernost während der Zwischenkriegszeit // *Deutsche auf dem Ural und in Sibirien (XVI—XX. Jh.) Forschungsbeiträge der wissenschaftlichen Konferenz «Deutschland — Russland: historische Erfahrungen interregionaler Zusammenarbeit im XVI—XX. Jahrhundert»*. Ekaterinburg, 2001. S. 371.

² Циркуляры Наркомата труда РСФСР от 25.12.1930 г. и от 17.01.1931 г. См.: Государственный архив новосибирской области (ГАНО). Ф. П-7. Оп. 1. Д. 4. Л. 10.

³ Заболотская К. А. Социально-экономическое развитие индустриальных регионов в условиях тоталитарной системы (на материалах Кузбасса) // *Германия и Россия в XX веке: две тоталитарные диктатуры, два пути к демократии*. Кемерово, 2001. С. 197.

⁴ Письмо Сырцова Сталину о Кузнецком каменноугольном бассейне. Март 1929 г. См.: ГАНО. Ф. П-2. Оп. 2. Д. 378. Л. 11.

⁵ Возраставшая быстрыми темпами численность безработных в Германии в это время достигла 6 миллионов человек. Вместе с почти двумя миллионами незарегистрированных безработных они составляли около 1/3 всего населения, не имевшей достаточного обеспечения, многие испытывали также страдания от последствий инфляции. См.: Rauch Georg von. *Stalin und die Machtergreifung Hitlers // Deutsch-Russische Beziehungen von Bismark bis zur Gegenwart*. W. Kohlhammer Verlag Stuttgart, 1964. S. 117—140. Здесь S. 118—119.

⁶ Bericht des Reichsarbeitsministers an das A. A. Berlin, den 24. März 1933 // *Politisches Archiv des Auswärtiges Amtes, Bonn — Berlin (PA AA)*. Bd. 436.



ным образом из Рура и Верхней Саксонии, им поставляли агенты Коммунистической партии Германии (КПГ). На биржах труда и на собраниях они вручали потерявшим работу вербовочные листы, с которыми те направлялись в Торговое представительство СССР. Претендентам обещали достойные условия труда и быта. Гарантировался привычный для Германии прожиточный минимум при питании в заводских столовых⁷.

В Берлине некоторые рабочие ставили свою подпись под так называемым «коллективным договором», который был составлен на русском языке. Этот договор гарантировал бесплатный проезд от советской границы до места работы, равные с русскими условия труда, минимальный заработок за смену в 5,75 руб. Дорога до границы, провоз багажа, а также оформление паспорта, визы оплачивались из собственных средств.

Однако с большинством выезжающих подобные договоры не заключались. По сообщениям Гросскопфа, «наплыв немецких рабочих-добровольцев был так огромен, что многие соглашались на выезд вообще без какого-либо договора и готовы были самостоятельно оплачивать путевые расходы на себя и свою семью до Сибири! Чтобы достать деньги на дорогу, многие шли на срочную распродажу — по бросовым ценам — своей мебели и всего имущества».

«Такие взгляды, — писал секретарь германского консульства в Новосибирске Кёнитцер [1], — становившиеся у ожесточившихся из-за длительной безработицы и других причин рабочих-горняков все более некритичными, вынуждали их, используя любые средства передвижения, кто на поезде, кто пешком или на велосипеде, спешить в Берлин в Советское торгпредство, боясь опоздать, чтобы предложить свои услуги. Только самые умные следовали совету не брать с собой сразу свои семьи. Почти никто не обращался за консультацией в Эмиграционное бюро. Дотаций от благотворительных учреждений удаивались лишь некоторые, самые удачливые из них».

Причиной таких неразумных действий, считали в консульстве, были не только щедрые обещания, но и долголетняя коммунистическая пропаганда в Германии, рисовавшая «социалистический рай на российской земле». Агитации поддавались даже многие из тех, кому не грозило увольнение и кто был достаточно хорошо обеспечен⁸.

В договоре специалиста с пригласившей его организацией прописывались многие нюансы: минимум заработной платы, жилье, оплата расходов по квартире (освещение, отопление, амортизация мебели), продолжительность отпуска и проч. Зарплата должна была составлять как минимум 300—450 руб. в месяц (около 900 рейхмарок при официальном курсе рубля в 2,16 марки). Германское посольство уже с конца 1929 г. било тревогу по поводу того, что наниматели вводят немецких специалистов в заблуждение о покупательной силе рубля и условиях жизни в Советском Союзе, в частности, о такой же доступности всех необходимых товаров, как в Германии, и их стоимости — не дороже немецких. На деле стоимость жизни в СССР была гораздо выше⁹. Была обещана выплата 1/3 заработной платы в валюте (до 1931 г. специалисты, как правило, получали в валюте все жалованье). Часть заработка в валюте могла быть переведена в заграничные банки¹⁰. В случае досрочного расторжения договора работодателем гарантировалось право на выходное пособие в размере месячного оклада и оплата проезда вместе с семьей к месту прежнего жительства. При заключении договора предпочтение отдавалось, конечно, холостым мужчинам (или, в крайнем случае, имевшим не более двух детей) и членам КПГ¹¹.

Поставкой специалистов и рабочих в СССР ведала также германская фирма «Гемайншафтсгруппе», имевшая в Харькове своего представителя (Коха), а в Новосибирске — его помощника (Ренкерта)¹². В 1930—1932 гг. благодаря ее деятельности десятки тысяч немецких рабочих и специалистов выехали в СССР: на Урал, в Карелию, на Украину, в Западную Сибирь. В Новосибирске действовали многочисленные представительства («Энергостроя», «Кузнецкстроя», «Кузбассугля», «Востоккокса», «Востокстали», «Авторемснаба», «Сибкомбайна», завода горного оборудования и других организаций), приглашавшие иностранцев. С конца 1931 г. по распоряжению председателя КИКа (краевого исполнительного комитета) Н. П. Грядинско-

⁷ Bericht von Kōnitzer aus Nowosibirsk an die Deutsche Botschaft Moskau, den 23. Oktober 1932. // PA AA. Bd. 436.

⁸ Brief von Grosskopf an Dirksen. 24. November 1932 // PA AA. Bd. 82.

⁹ См.: D.B.M. an A.A. 1. November 1929 // PA AA. Bd. 436.

¹⁰ См.: Vertrag mit dem Baukomitees vom Obersten Volkswirtschaftsrat als beratender Ingenieur Dr. Alfred Scheiding, den 22. August 1929 // PA AA. Bd. 436.

¹¹ Brief von Grosskopf an Dirksen. 24. November 1932 // PA AA. Bd. 82.

¹² Дело немецкого инженера Лангена, август 1931 г. См.: ГАНО. Ф. П-7. Оп. 1. Д. 116. Л. 2.

го каждое из них выделяло особых работников, которые встречали и размещали рабочих и специалистов из-за рубежа, заранее готовили к их приему помещения, обеспечивали прибывающих горячей пищей. Платная должность инструктора Инобюро по делам иностранных рабочих и специалистов была введена в конце 1932 г. при Краевом совете профессиональных союзов¹³.

В Сибири главной организацией, заказывавшей рабочих, был «Кузбассуголь». В Берлине отобранные кандидатуры рассматривались руководителем Бюро Адольфом Ледусом¹⁴, а если это были специалисты, то к рассмотрению присоединялся инженер угольной секции аппарата Уполномоченного НКТП Кудлай. При рассмотрении проверялись документы, подтверждающие квалификацию и стаж работы. «Политическую проверку» кандидатур на приглашение производили «дружественные СССР организации», прежде всего КПП.

Первые крупные партии немецких рабочих стали прибывать в Сибирь в 1930 году. Один из них, в составе 24-х человек, получил в мае месяце по заявке «Шахтстрой» Прокопьевский рудник (четыре техника и 20 рабочих, которые должны были осуществить работы по проходке новых шахт). В скором времени ожидалось прибытие еще 30 человек. Согласно договору, заключенному в декабре 1929 г. государственным трестом «Шахтстрой» с «Гемайншафтсgruppe»¹⁵, предусматривались высокие долларové оклады инженерам, техникам и рабочим (штейгерам, забойщикам, монтерам), премии, оплачиваемые отпуска с транспортными расходами для выезда на родину, страховые выплаты по инвалидности или в случае смерти и другие социальные блага. Общая численность персонала должна была составить 183 человека¹⁶. Договор заключался на четыре года, «вопреки желанию проамерикански настроенных кругов» в СССР, и очень высоко оценивался послом фон Дирксеном как «ценнейший вклад в развитие технико-экономических отношений между Германией и СССР». Фирмы должны были оказывать техническую помощь при закладке новых шахт не только в Сибири, но и на Урале, в Московском угольном бассейне, в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Проект был дорогостоящим, и фирмы за одни только свои чертежи, рисунки, патенты и пр. должны были получать от «Шахтстроя» ежегодно 360 000 марок¹⁷.

Прибытие немецких рабочих и предоставление им неслыханных по тем временам льгот (хорошо оборудованные квартиры, ненормированное обеспечение продовольствием при наличии в стране карточного снабжения, «хорошая спецодежда, высокая зарплата и другие льготы») вызвали резкое недовольство русских, которые устроили возле рабочего клуба своеобразную демонстрацию. «Мы сидим на норме, — говорил один из старейших горняков, — нам ничего не дают, а немцам дают без нормы мясо, масло, муку и другие продукты, все в неограниченном количестве. Нам, как проходчикам, предъявляют пройти 15—20 метров, а им только пять метров, больше они не берутся»... «На кой они нам загнулись с ихними пятью метрами, если бы эти продукты раздать нашим проходчикам, то они прошли бы и больше 20 метров на каждого!»¹⁸.

Очевидно, руководство «Шахтстроя» прислушалось к этим жалобам и в дальнейшем нашло более дешевый способ привлечения немецких специалистов и рабочих. Этому способствовал и разгоравшийся в Европе кризис горной промышленности, закрытие шахт и безработица. Уже осенью 1930 г., согласно сообщениям Гросскопфа, «стали изобретаться способы противодействия “Гемайншафтсgruppe”, имевшие целью прекращение договорных отношений». В марте 1931 г. представитель «Шахтстроя» официально объявил в Берлине, что фирмы останутся в России и получат новые заказы при условии добровольного отказа от сибирского договора. К этому времени со специалистами и рабочими, нанятыми ими, уже велись переговоры о заключении индивидуальных контрактов, а «группа» теряла при этом сотни тысяч марок¹⁹. В конечном счете, несмотря на все предложения пересмотреть усло-

¹³ Распоряжение председателя ЗСКИКа от 9.01. 1932 г. См.: ГАНО. Ф. Р-47. Оп. 5. Д. 165. Л. 2.

¹⁴ Биржа труда земли Бранденбург возбудила против Ледуса в конце 1932 г. уголовное дело за вербовку немецких рабочих в Советский Союз. См.: Там же.

¹⁵ Это были две немецкие фирмы: Фрелих & Клюпфель в Унтербармене и «Общество горной промышленности и подземного строительства» К. Дайльмана в Дортмунде.

¹⁶ Vertrag in: Bundesarchiv. R 9215. Bd. 321. S. 155—169.

¹⁷ Brief von Dirksen an das Auswärtige Amt. 9. August 1929 // Bundesarchiv. R 9215. Bd. 321. S. 27—28.

¹⁸ Спецсводка зам. П.П. ОГПУ «О настроении рабочих Прокопьевского рудника, в связи с приездом немецких рабочих в Шахтстрой» // ГАНО. Ф. 11 с/р-627. Оп. 2 а. Д. 15. Л. 404.

¹⁹ Grosskopf an die D.B.M. 2. April 1931 // Bundesarchiv. R 9215. Bd. 321. S. 25—26.



вия договора сообразно с новой конъюнктурой, советская сторона, выдумав массу претензий к фирме, его расторгла.

В июне 1931 г. началась «плановая вербовка» и призыв рабочих «из разных мест США и Канады», и иностранцы — рабочие и специалисты, группами и поодиночке, стали прибывать на Ленинский рудник. Сюда же в конце августа 1931 г. были доставлены рабочие из Германии. Всего прибыли 794 человека. После отъезда части прибывших к началу 1932 г. остались 270 человек (с 264 членами семей), 167 из которых — немцы (со 153 членами семей).

В отличие от первых партий, эти рабочие уже были расселены в «баракы стандартного типа, в одной колонии, вблизи шахт» (235 американцев и 30 немцев). Самая крупная партия немцев (235 человек) разместилась на Байкайме, в шести стандартных, плохо устроенных домах (бараках), столовая и продовольственный ларек были в одном километре от их жилья, шахта, где они должны были работать («по забою угля и проходкам») — в двух километрах. Из прибывших сформировали 12 «ударных бригад забойщиков и проходчиков, работавших на хозрасчете вместе с русскими рабочими»²⁰.

При крупных планах-заявках, какие обычно давал «Кузбассуголь», стали практиковаться также выезды в Германию командированных советских функционеров, которые сами руководили организацией набора рабочих и специалистов на местах. Они брали на себя функции определения «технической пригодности» представляемых кандидатур, в то время как проверка их во всех других отношениях оставалась в ведении указанных выше организаций.

Так, летом 1932 г. в Германию, в ИНО НКТП (Иностранный отдел Наркомата тяжелой промышленности), для этой цели был командирован начальник проектного управления треста «Кузбассуголь» Я. И. Зайдман. Директивное задание требовало от него набрать около тысячи человек: проходчиков (до 500), механиков, инженерно-обогатителей и проектировщиков, мастеров, монтажников оборудования. В течение трех месяцев он рассмотрел в Берлине 2500 карточек, съездил в Вену и Прагу, где у НКТП также были свои инобюро. Его поездка в Чехословакию совпала с окончанием проходки шахты в Острове и потому могла бы быть очень удачной, однако набор был прекращен телеграммой от начальства, объяснявшего причину отказа от чехословаков «отсутствием технических переводчиков». На деле причина была другой: немецкие рабочие и специалисты ценились выше. Еще менее удачной оказалась поездка Зайдмана в Австрию, где оказалась всего одна каменноугольная шахта, и вместо угольщиков пришлось «довольствоваться» монтерами, слесарями, токарями и фрезеровщиками для механических заводов. В Германии вербовщика также ожидали разочарования. Из имеющейся карточки ему удалось отобрать всего 115 рабочих и семь инженеров и техников, которые до начала сентября и были отправлены в Сибирь. Для организации притока новых заявлений пришлось отправить в Рурскую область агента, выделенного руководством «дружеской организации».

Вербовка специалистов шла так трудно потому, что «руководящие органы германской прессы и весьма влиятельная и авторитетная профессионально-техническая организация германских инженеров (ФДИ)» развернули «бешеную кампанию» против переезда инороботников в СССР, в особенности «на безвалютных условиях». Под нажимом этой организации был расторгнут ряд уже заключенных со специалистами договоров. «Полиция также пыталась всячески препятствовать отъезду работников (затяжка в выдаче паспортов, запугивание и т. д.)».

Вербовка обогатителей совпала по времени со «срочным набором» этих специалистов для Магнитогорска и Механобра²¹ на безвалютных условиях. Поскольку «Кузбассуголь» предлагал своим 10 обогатителям оплату до 200 марок в месяц валютной, пришлось переждать сначала отъезд «безвалютных».

К концу сентября выяснилось, что не удастся набрать и 500 человек чистых проходчиков, «углубщиков» шахт. Их заменили рабочими, по несколько лет проработавшими «на породе». Застопорился и набор 100 «крепыльщиков», каковых в Германии вообще не оказалось, поскольку здесь «организация работ креплений выработок» производилась теми же рабочими, что трудятся и на выемке угля. Практически невыполнимой оказалась директива о приглашении исключительно холостых работников.

²⁰ Об иностранцах Ленинского профсоюза. Ответ на запрос от 31.12.1932 г. // ГАНО. Ф. 11 с/р-627. Оп. 2 а. Д. 21. Л. 20.

²¹ Российская инженерная организация по разработке технологии обогащения и переработки полезных ископаемых, вторичного сырья, отходов и т. п.

До 1 октября выехали из Германии 353 человека — 44 % от выбранных Зайдманом. Средний возраст выехавших рабочих оценивался им в 32—33 года, средний стаж работы в 8—10 лет, средняя продолжительность безработицы в 10—12 месяцев. Качественным считался и набор специалистов, общая численность которых составила «около 100 человек»: с трехлетним стажем — 7,4 %, с пятилетним стажем — 17 %, со стажем от пяти до десяти лет — 31,6 %, со стажем свыше десяти лет — 44 %. Всего из трех стран отправке в Сибирь подлежали 816 человек²².

Таким образом, осенью 1932 года поток горняков в Кузбасс достиг своего пика. «В августе и сентябре, — сообщал Гросскопф, — иммиграция росла от недели к неделе; в октябре она достигла апогея, с ежедневным транспортом прибывали от 20 до 50 человек». Пошедший затем на убыль поток не прекратился совсем, но теперь основную его часть составляли уже не немцы, а чехи и другие иностранцы²³.

Одновременно существовал и довольно значительный обратный поток добровольцев, разочарованных приемом и предстоящими условиями труда и быта. Из 441 человека, прибывших осенью 1932 г. в Ленинск, «негодного элемента» оказалось 123, то есть 30 %. Они выехали назад уже к январю 1933 года.

Объясняя потери, власти сетовали на «халатное отношение к делу вербовщиков» (набрали большое количество «нежелательных и непригодных к работе на производстве элементов» — больных язвой желудка, ревматизмом, туберкулезом; специалистов «ненужной квалификации», пивоваров, садовников, парикмахеров; случайных людей — самогонщиков, картежников и пр.). Не желали трудиться в шахте некоторые американцы, в погоне за легкой наживой оставившие у себя на родине собственные дома, автомобили и от пяти до двадцати тыс. долларов в банке²⁴. Отмечалась и неподготовленность советских организаций к приему и размещению огромного числа иностранцев, к обеспечению их обещанной работой.

7. Немецкие горнорабочие и специалисты в Кузбассе

Сибирская индустриальная колония находилась постоянно в поле зрения Гросскопфа. Периодически он отправлял в посольство свои доклады с характеристикой положения дел в ней, поддерживал разнообразные связи с самими германскими гражданами и нужными организациями края, оказывая помощь в решении назревших проблем. Он пытался не только восстановить права своих подопечных, пострадавших от незаконных действий, но и воспрепятствовать пагубному воздействию на них «безбожного коммунистического пролеткульта». Особенно же велика была его роль в организации помощи «возвращенцам», выезд которых с «родины трудящихся» нередко напоминал паническое бегство.

Уже первые рабочие дни, где бы они ни проходили: на шахте, на заводе, в механическом цехе — приносили вновь прибывшим глубокие разочарования. Холодные и мокрые штольни, недостаточное освещение, несоблюдение мер безопасности, нехватка орудий и инструментов и несовершенство имеющихся, а также почти повсеместное отсутствие душевых в раздевалках — вот что находили они на своей новой работе. При таких условиях достичь высокого заработка, обещанного в договоре, было невозможно. Так, договорная тарифная ставка для шахтеров составляла восемь рублей в смену или 200 рублей в месяц, что было гораздо меньше обещанного. На деле же и гарантированный минимум зарплаты в 200 рублей не выдавался. Забойщику, к примеру, при расценках 5 руб. 75 коп. за упряжку, при выполнении 100 % плана за 24 рабочих дня, с прибавкой 10 % за полный выход и выполнение нормы, начисляли 151 руб. 80 коп. Проходчик получал чуть больше, из расчета семь рублей за упряжку²⁵.

Еще хуже было тем, кто приезжал в Сибирь вообще без договора и должен был трудиться на тех же условиях, что и русские рабочие. «Горняки, зарабатывавшие в Верхней Силезии 5,82 рейхсмарки, в Рурской области — 7,8 рейхсмарки за смену, в итоге зарабатывают здесь три рубля, иногда только 80—90 копеек за смену, в зависимости от того, как штейгер оценит выполненную работу. Отдельные работы, к примеру, рытье ям, крепеж деревом и др., оцениваются по особым, еще более низким тарифам»²⁶.

²² Доклад о командировке в Германию Начальника Проектного Управления «Кузбассугля» Зайдмана Я. И. См.: ГАНУ. Ф. 11 с/р-627. Оп. 2 а. Д. 19. Л. 12—19.

²³ Bericht von Grosskopf an die D.V.M. 24. November 1932 // PA AA. Bd. 82.

²⁴ ГАНУ. Ф. 11 с/р-627. Оп. 2 а. Д. 21. Л. 21.

²⁵ Отчет бригады Крайкома ВКП (б) «О работе иностранцев в системе «Кузбассугля» 2.01. 1933 г. // ГАНУ. Ф. 11 с/р-627. Оп. 2 а. Д. 21. Л. 34—35.

²⁶ Bericht von Könitzer an A.A. 23. Oktober 1932 // PA AA. Bd. 436.



Перевыполнить норму в это время было делом довольно трудным. Мешала организация труда, недостатки которой отмечали все проверявшие работу шахт комиссии. В отчетах констатировалось, что «порожняк и электричество, как и сжатый воздух, подаются по забоям несвоевременно и с большими перебоями», поскольку у компрессоров не хватает необходимых частей. Качественные инструменты и материалы, лес, цемент, балласт и т. п. отсутствуют, отбойные молотки плохие, за смену их надо менять два-три раза. Нет подсобных рабочих, забойщики сами отвозят добытый уголь, за что им платят как подсобникам. Для работы в глубокой воде нет резиновых брюк, а скверного качества сапоги, выданные на год, выдерживают всего два-три месяца. Те же, кто хотя и получил хороший резиновый костюм, не могут его носить в холодных шахтах глубиной от 50 до 100 м, так как теплое белье под него не выдается, а в продаже такового нет. Оставляла желать лучшего вентиляция в шахтах: спустя один-два часа после запуска она переставала работать из-за густого дыма, завлакивавшего шахту.

Ко всем этим бедам добавлялись пороки руководства: рабочих в открытую обманывали десятники, производившие неверные замеры и приписывавшие «своим» (тем, «с кем выпивают») больше, чем сделано, часто за счет «чужих». В начале 1933 года несколько таких десятников были уволены по жалобам рабочих, но это мало улучшило ситуацию²⁷.

Уже в сентябре 1932 года из-за недостатка средств и материалов «Кузбассуголь» был вынужден прекратить проходку новых шахт, и все прибывшие сюда шахтеры-проходчики остались без работы. Часть их была переведена в забойщики — с большими потерями в заработной плате, которая составляла в среднем 100—120 рублей, часть рабочих стала использоваться только три раза в неделю (работа через день). Так что многие оказались и в Сибири на положении безработных.

Иностранцы были недовольны также жильем и продовольственным снабжением. Стандартные дома — сколоченные наспех деревянные бараки, в которых размещались рабочие, жильем можно было назвать с большим трудом. Даже не слишком избалованные условиями жизни в Германии люди, получив комнату в таком бараке на четверых холостяков, впадали в отчаяние. «В бараках полно клопов, — жаловались они консулу, — в окна и двери дует, деревянные потолки и стены в сколоченных наскоро жилищах сделаны из необструганных досок, топлива не хватает. Мебель — это железные подставки для тонких, едва в пять сантиметров толщиной травяных матрацев или деревянные нары. На каждого человека — тонкое шерстяное одеяло, таз или ведро для умывания, и полное отсутствие какой-либо кухонной или столовой посуды и белья». Не было даже простых угольных лопат для топки печек. Плохие печи дымили, а тепло уходило наружу²⁸.

По ночам было так холодно, что волосы примерзали к железным прутьям кроватей. А один немецкий рабочий на Байкайме, в Ленинске, как значилось в одной из спецсводок, во время сна в помещении, где температура опустилась до -28° , «обморозил нос»²⁹.

Дневное довольствие в общественной столовой обходилось рабочему в 2,4—2,6 рубля (60 коп. завтрак; 1,05 руб. обед; 80 коп. ужин)³⁰. При месячной зарплате в 150 рублей такие расходы были бы ему доступны, если бы этим питанием можно было бы и ограничиться. Хлеб (по карточкам) стоил 62 коп. за кг, маргарин — 9 руб. за кг, масло — 1 кг в месяц за 14,95 руб., сахар — 2 кг в месяц по 13 руб. за кг. В результате для обновления износившейся одежды и обуви денег не оставалось даже у холостых рабочих. Женатым же, и особенно имеющим детей, нужно было еще обеспечивать свои семьи.

Качество питания в общественной столовой поначалу также вызывало много жалоб. После того как комиссии из Москвы и Новосибирска провели инспекторскую проверку (в Прокопьевске, на Байкайме в Ленинске), инициированную жалобами Гросскопфа в посольство и в МИД, пища стала лучше, качественнее; порции

²⁷ ГАНО. Ф. 11 с/р-627. Оп. 2 а. Д. 21. Л. 45.

²⁸ Bericht von Grosskopf an die D.V.M. 24.11.1932 // PA AA. Bd. 82.

²⁹ ГАНО. Ф. 11 с/р-627. Оп. 2 а. Д. 21. Л. 22.

³⁰ По сведениям Кёнитцера, которые расходятся с официальными данными, дневное довольствие горняков в рабочей столовой было дороже. Завтрак: масло с двумя кусками белого хлеба 50 коп., два куска сыра 50 коп., чай 5 коп., итого 1,05 руб. Черный хлеб — по желанию. Обед: суп 30 коп., мясное блюдо 40—60 коп., гречка 20 коп., чашка кофе 15 коп., итого 1,05 руб. Ужин такой же. Еда часто была отвратительной, а порции — при тяжелом физическом труде — в большинстве случаев слишком малы. В условиях такой умеренности (а каждому полагалась только одна столовая порция) некоторые покупали вторую порцию за полную двойную цену. Но большинство, как и русские рабочие, вынуждены были довольствоваться сухим хлебом и чаем. См.: PA AA. Bd. 436.

увеличились. Однако жалобы на ее однообразие (суп с капустой и каша) продолжались, и в целом рабочие оценивали свое питание как недостаточное.

Снабжение иностранцев продовольствием и предметами первой необходимости осуществлялось через особую систему Инснаба, в магазинах которой можно было наблюдать относительное разнообразие продуктов, но и достаточно высокие цены. Однако даже в магазинах Инснаба нельзя было купить лук и другие овощи, свежую рыбу и свиное сало, крупы, горох. Раздражало также оскорбительное отношение партийных и хозяйственных функционеров к требованиям трудящихся. На собрании немецких рабочих на Байкайме по поводу прекращения выдачи масла иждивенцам заведующий конторой Инснаба, сам бывший «американец», член партии Дубецкий заявил рабочим: «Если вы к нам приехали есть масло, то вы можете ехать обратно, а мы его скушаем и без вас, там есть еще много безработных, мы выпишем еще больше»³¹.

Чтобы свести концы с концами, купить овощи на рынке, даже те рабочие, которые получали 250 руб. в месяц, были вынуждены добывать деньги продажей вещей, привезенных с собой из Германии.

Недовольство немецких горняков выражалось в многочисленных жалобах, которые они высказывали в магазине, столовой, на партийных и рабочих собраниях. Многие, только разведав обстановку на месте предстоящей работы, поворачивали обратно. Когда выяснилось, что руководство не в состоянии осуществить свои обещания, началось повальное бегство в Германию. Уже к середине ноября 1932 г., согласно данным Гросскопфа, из Новосибирска выехали около 200 рабочих со своими семьями, среди которых было около 50 женщин и детей³².

Власти предприняли отчаянную попытку задержать всех, объявивших о своем возвращении на родину. «Все рабочие, — писал Гросскопф, — которые заявили об увольнении, чтобы вернуться в Германию, были сначала на месте обработаны партийными органами. На собраниях их заклеили как “контрреволюционеров”. Имели место и угрозы. Примерно 16 немцев, которые около шести месяцев назад сумели сбежать из Германии из-за политических преследований и заняли здесь ответственные посты или жаждут занять таковые, особенно отличились при терроризировании своих новых товарищей. Если эти мероприятия не имели успеха, неприязности продолжались. Затягивались на дни и недели расчеты, удерживались паспорта. Когда реэмигранты прибыли в Новосибирск, их снова подвергли обработке руководители угольного треста, партийных и профсоюзных организаций. Им предлагалась работа в Донбассе, на Урале и на других промышленных стройках <...>. Одновременно продолжались и каверзы. Власти удерживали их паспорта, отказывали в размещении и питании и создавали трудности в приобретении проездных билетов»³³.

Большая группа возвращавшихся на родину рабочих была задержана в Новосибирске во второй половине октября 1932 года на 10—14 дней. 17 человек выехали в Москву без оформления документов³⁴ и искали затем поддержку в посольстве. Консул связывал эту задержку со стремлением советских властей не допустить их возвращения на родину до начала выборов в рейхстаг, чтобы не подрывать авторитет КПГ. Он писал, что понадобилось приложить большие усилия, чтобы их отправить. Сложности заключались в необходимости обеспечить возвращавшихся рабочих временным жильем в краевом центре, продовольствием — не по рыночной, немисливо высокой цене. Главную головную боль создавала отправка несостоявшихся строителей социализма по железной дороге, поскольку поезда прибывали в Новосибирск уже переполненные до краев. «Так как руководство угольного треста, его партийная и профсоюзная организации чинят всевозможные препятствия, размещение, продовольственное снабжение, приобретение виз и отправка каждой группы требуют консульского вмешательства», — писал Гросскопф. В это время он констатировал также еще вполне корректное отношение краевых властей к его проблемам. При наличии оснований визы, как правило, оформлялись в течение положенных 48 часов. Власти по его просьбе помогали размещать беженцев в бесплатном общежитии «Кузбассугля», обеспечивали их столовыми карточками и продуктами по твердым ценам из магазина Инснаба для пятидневного пути до Москвы, помогали с билетами на поезд. Но уже тогда это требовало неоднократных продолжительных переговоров с краевым правительством, которые в большинстве случаев проходили «на грани»³⁵.

³¹ ГАНО. Ф. 11 с/р-627. Оп. 2 а. Д. 21. Л. 22.

³² См.: РА АА. Bd. 82.

³³ См.: Ibid.

³⁴ Письмо зав. Инбюро КПСЭ Эльснера в Краевой комитет угольщиков от 19.10.1932 г. См.: ГАНО. Ф. 11 с/р-627. Оп. 2 а. Д. 22. Л. 170—171.

³⁵ См.: РА АА. Bd. 82.



Уже тогда, в конце 1932 года, Гросскопф считал, что очередной эксперимент с использованием иностранной рабочей силы в СССР (к первым он относил опыты 1920—1921 и 1930—1931 гг.; последний закончился бегством из Донбасса группы немецких рабочих в 300 человек) не удался. Возвратное движение превосходит во много раз идущий извне поток, констатирует он. Заявки о возвращении подают группы в 60 и более человек. Чтобы смягчить отрицательное впечатление в Германии от бегства из СССР немецких рабочих и удержать основную массу их в стране, правительству требуется предпринять большие усилия. На успех, полагал консул, можно рассчитывать только при условии, что заработная плата для холостых рабочих будет повышена до 300 руб., а для семейных с детьми — до 500, при одновременном расширении рациона питания и достаточном обеспечении рабочих одеждой, бельем, обувью и другими предметами потребления. «Но и тогда будут недовольные, так как русские просто не в состоянии обеспечить немецким рабочим удовлетворение их повседневных привычек, таких как кино, кофе, обычная кружка пива и т. д.», — считал он³⁶.

Во время вербовки агентами КПП рабочим было настоятельно не рекомендовано (а коммунистам — запрещено) обращаться в консульство. «Это звучало как заклинание: “Консульство для вас не существует!” Шахтеры, приехав сюда, и в самом деле обходили консульство стороной, хотя иногда по четыре-пять дней шатались по городу. И это при том, что консульство находится только в одной минуте ходьбы от гостиницы “Динамо”, в которой они по прибытии получают довольно неплохое содержание... Теперь же, при возвращении на родину, все они хотят получить помощь консульства»³⁷.

Повальное бегство немецких рабочих из Кузбасса заставило германское посольство вступить в переговоры с НКВД о необходимости урегулировать возникшую проблему. Поскольку возвращенцы в большинстве своем не имели средств, немецкое правительство настаивало на том, чтобы советские организации (в первую очередь московское представительство «Кузбассугля») взяли на себя транспортные расходы на дорогу до границы, по меньшей мере. Необходимо было сделать представление НКТП, не создавшему нормальных условий труда и жизни рабочим, как было обещано в Берлине. НКВД обещал удовлетворить просьбы, в том числе безотлагательно уволить служащих, которые при вербовке рабочих приукрашивали реальность³⁸. Обещания, однако, выполнены не были, и в 1933 г. шахтеры оплачивали проезд от Москвы до Германии либо из собственных средств, либо из средств, предоставленных им Немецкой кассой взаимопомощи³⁹.

После уже упомянутой проверки состояния дел в «Кузбассугле» московской комиссией, инспирированной германским посольством по жалобам Гросскопфа, положение иностранцев действительно постарались улучшить. Всем начислили за последние три месяца, считая дни прибытия, зарплату в 200 руб. Были повышены тарифы на 20—25 %. Для покупки зимней одежды и обуви (валенки) каждому рабочему выделили доплату на шесть месяцев в размере 115 руб.

Но одновременно повысились цены на продукты в магазинах системы Инснаба (на 20—30 %). Так что в целом повышения уровня жизни не произошло⁴⁰.

В дальнейшем властям пришлось не только разрешить иностранным рабочим заводить личное подсобное хозяйство, но и начать активную работу по инициированию такой деятельности. Были выделены земли под огороды, при бараках стали сооружать стайки для содержания скота и птицы. Началось активное трудоустройство жен горняков.

Одновременно шла массированная идеологическая обработка иностранцев с целью склонить их к принятию советского гражданства. Немецкие секции ВКП(б), многочисленные партийные, профсоюзные функционеры, активисты КПП в СССР развернули «борьбу за большевистское воспитание каждого иностранного рабочего в сознательного участника коммунистического строительства». К делу были подключены периодическая и стенная печать, коммунистическая заграничная пресса, политические, в том числе женские, клубы, профсоюзы, группы переводчиков из числа говорящих по-немецки коммунистов, «сознательных» рабочих, бывших военнопленных и немцев-колонистов. В общежитиях были оформлены «красные угол-

³⁶ См.: Ibid.

³⁷ Bericht an D.B.M. den 10. November 1932 // PA AA. Bd. 436.

³⁸ D.B.M. (Tippelskirch) an A.A. 25. Oktober 1932 // PA AA. Bd. 436; D.B.M. an A.A. 1. November 1932 // PA AA. Bd. 436.

³⁹ D.B.M. (Dienstmann) an A.A. 1. Februar 1933 // PA AA. Bd. 436.

⁴⁰ PA AA. Bd. 82.

ки», где можно было прочесть «Москауер Централ-цуйтунг», местную немецкую газету «Дер Ландманн», «Арбайтер-Иллюстрирте»⁴¹.

Было развернуто ударническое движение, соцсоревнование между бригадами, победители которого поощрялись премиями: деньгами и продуктами (по одному килограмму масла и мяса в месяц дополнительно), промтоварами, поросятами, кормом для скота, курортными путевками, экскурсиями в живописные места Сибири и всего СССР (по Оби и Волге, на Алтай, в Сталинск, на Кавказ). Ударников стали отправлять в Москву для участия в майских и ноябрьских торжествах. Это ограничивало отъезд в отпуска на родину, из которых многие уже не возвращались назад. Конфликтные вопросы о «неправильных замерах, обчетах и пропавших упряжках», введении сверхурочных работ без оплаты (свыше восьмичасового рабочего дня, в выходные дни под видом «коммунистических субботников») стали рассматриваться особыми комиссиями с участием самих рабочих.

Иностранцы были освобождены от уплаты подоходного налога, который уплачивали за них полностью или частично предприятия, заключившие с ними договоры. Для достижения гарантированного минимума зарплаты шахтеров в 200—300 рублей в 1933 году были пересмотрены тарифы. С этого времени их заработок стал приблизительно в три раза превышать зарплату русских рабочих (немцу за одну упряжку добытого угля стали платить 10—12 руб., русскому рабочему — 3 руб. 92 коп.)⁴². И хотя такую сумму не всегда удавалось получить, разная оценка труда русских и иностранных рабочих становилась камнем преткновения в отношениях между ними, порождая зависть, вражду местного населения к иностранцам.

В целях задержки в стране лучших рабочих и специалистов власти поощряли вызов семей, женитьбу холостых мужчин на русских женщинах. Были созданы детские сады и немецкие школы. В Ленинске и Байкайме, где к октябрю 1933 года оставались 70 немецких рабочих и 10 специалистов, большинство которых работали проходчиками и забойщиками на Емельяновской шахте, в «красных уголках» стали функционировать политические кружки («ленинизма и текущей политики»). Занятия в кружках проводились на немецком языке пять раз в месяц, германские партийцы информировали членов кружка о международном положении, о роли профсоюзов в СССР, о соцсоревнованиях. Все доклады были идеологически выверены. Даже так называемые «культурные вечера» (с привлечением «художественных сил Дворца культуры») проходили с «постановкой докладов»: «ответ на провокации Гитлера о голоде в СССР», «о коллективной договорной кампании», «о Лейпцигском процессе» и др. На Байкайме для немецких рабочих была создана библиотека с 2553 книгами на немецком языке, 500 из которых были куплены на средства рудкома. Все иностранные рабочие были вовлечены в МОПР и Осоавиахим. В отчетах рудкома значились и другие кружки (русского языка, шахматный, литературный, музыкальный, физкультурный, «читки газет») ⁴³.

Коммунистическая пропаганда, отмечалось в консульских докладах, нацеленная на формирование из немецких рабочих и специалистов антагонистов капитализма, предполагала подготовку из них своего рода «ударного отряда» для строительства будущей советской Германии. Русификация, которая считалась достигнутой в случае принятия советского гражданства рабочим или специалистом, отходила на второй план⁴⁴.

К середине 1933 года материальное положение и общее настроение оставшихся на Байкайме рабочих заметно улучшились. При их участии были отремонтированы все бараки, в которых они жили, выстроены погреба для хранения овощей, стайки для коров, свиней. На трех га огородов выращивались овощи. К тому же шахта дополнительно обеспечивала их картофелем, капустой, сеном и соломой. Шахткомы стали помогать рабочим в снабжении зимней одеждой и обувью (полусубками и валенками).

В Прокопьевске был организован сельскохозяйственный кооператив иностранных рабочих в составе 150 человек, которые взяли дело обеспечения колонии продовольствием в свои руки. «Кузбассуголь» приобрел для него 30 коров, число которых вскоре увеличилось до 50, 50 свиней и 110 кроликов. Было посажено 41 га овощей. В результате рабочие семьи стали получать молоко, а общепитовские столовые — мясо.

⁴¹ Bericht von Grosskopf 28. Oktober 1930 an die D.B. in Moskau // PA AA. Bd. 196.

⁴² ГАНО. Ф. Р-47. Оп. 1. Д. 842. Л. 53; Ф. 11 с/р-627. Оп. 2 а. Д. 21. Л. 22.

⁴³ Информационная сводка от 31 октября 1933 г. См.: ГАНО. Ф. 11 с/р-627. Оп. 2 а. Д. 22. Л. 5—7.

⁴⁴ Aus Bericht des Konsuls Zechlin. 23.03.1931 // PA AA. R 83852.



Таким образом, частично положение удалось выправить созданием исключительных условий труда и быта для иностранных рабочих, принятием экстраординарных мер по их обеспечению всем необходимым. Многие бригады стали давать высокую производительность труда, выполняя и перевыполняя на 150 % и более дневные и месячные нормы выработки. В многочисленных отчетах констатировалась также огромная польза от немецких специалистов, их добросовестный труд, их высокая квалификация, их благотворное влияние на рабочих. Но имели место и сетования на незнание русского языка, что способствовало замкнутости и закрытости их частной жизни, и затрудняло с ними какую-либо идеологическую работу⁴⁵.

В начале 1933 года, по не совсем точным данным Крайкома Союза угольщиков, в угольной отрасли Сибири работали из числа иностранцев: Прокопьевск: рабочих — 469, специалистов — 34, членов семей — 642; Анжеро-Судженск: рабочих — 93, специалистов — 8, членов семей — 157; Ленинск: рабочих — 276, специалистов — 18, членов семей — 243; Кемерово: рабочих — 49, специалистов — 13, членов семей — 38; Томск: рабочих — 21, специалистов — 38, членов семей — 35; Новосибирск: рабочих — 0, специалистов — 80, членов семей — 10⁴⁶.

Национальный состав: в Прокопьевске и Анжеро-Судженске — немцы и чехословаки; в Ленинске — немцы и американцы. Немцев: в Прокопьевске — 190, в Ленинске — 109⁴⁷, в Анжеро-Судженске — 33.

В Сталинске (Новокузнецке) в 1931 году работали 148 немецких рабочих и специалистов, из них 23 женщины. Рабочие планы они выполняли на 103—110 %. Особенно ценились взрывники. В одном из отчетных докладов Отдела национальностей при КИКе о работе за 1931 год говорилось: «Несмотря на то что динамит у них экономится на 30—40 %, эффект от взрывов большой... у них заранее подсчитано, сколько камня будет от того или другого взрыва, а их предварительные подсчеты всегда правильны»⁴⁸. К концу 1933 г. в Кузнецкстрое оставались еще 60 строителей и 60 металлургов. Из 37 иностранных рабочих Кемеровского механического завода (токари, слесари, монтеры, модельщики) — 16 были немцами. На Томском механическом заводе, где изготовлялись отбойные молотки, трудился 21 иностранный рабочий, из них 10 немцев⁴⁹.

Труд немецких специалистов использовался в кожевенной, стекольной, швейной и других отраслях промышленности, а также в кооперации и торговле. В сибирских городах оставались 10 медиков, до 10 вузовских работников, профессоров из числа специалистов, давно проживавших в СССР, владевших русским языком. Всего на 1 апреля 1933 года в ЗСК (Западно-Сибирском крае) трудились 1074 иностранных рабочих и 298 специалистов, а вся колония с учетом членов их семей (798 жен и 670 детей) составляла 2857 человек⁵⁰.

В июле 1933 г. власти смогли заявить о значительном улучшении положения дел. Очередные отчеты констатируют происшедшую «в основном» акклиматизацию «инорбочих в Сибири». Они «включены в ударничество, соцсоревнование, учебу, посев в домашнем хозяйстве, воспитание детей в детсадах, лагерях». Ими воспринята «система нашего управления». «Удовлетворение получаемой зарплатой приостановило массовую текучесть»⁵¹.

Но это было лишь временное улучшение...

8. Конец иностранной индустриальной эпопеи в СССР

Неутешительные прогнозы консула о дальнейшей судьбе немецкой колонии в Сибири, да и всей затеи с привлечением к индустриализации иностранной рабочей силы оправдались к концу 1930-х гг. И для того были гораздо более веские причины, нежели отсутствие жизненных благ, привычных для иностранцев. После прихода к

⁴⁵ ГАНО. Ф. 11 с/р-627. Оп. 2 а. Д. 21. Л. 144.

⁴⁶ В Новосибирске указанные 80 специалистов трудились на стройках, в энергоучреждениях представительства «Энергостроя» и на двух заводах: Сибтекстильмашстрой (комбайно-танковый) и горного оборудования (будущий авиационный завод им. Чкалова). См.: Доклад председателя Инобюро КСПС Эльснера в ВЦСПС от 1.03.1933 г. // ГАНО. Ф. 11 с/р-627. Оп. 2 а. Д. 21. Л. 60.

⁴⁷ Эти данные несколько расходятся с теми, что приведены Гросскопфом в известии от 7 февраля 1933 г. Он получил их от приезжавших в Новосибирск горняков: «in Lenunsk und Baikaim nur noch etwa 60 zurueckgebliebenen sind, von denen weitere 15 bereits gekündigt hätten, um Mitte ds. Mts. nach Deutschland zurueckzukehren» См.: PA AA. Bd. 436.

⁴⁸ ГАНО. Ф. Р-47. Оп. 1. Д. 1466. Л. 7.

⁴⁹ ГАНО. Ф. 11 с/р-627. Оп. 2 а. Д. 21. Л. 88.

⁵⁰ ГАНО. Ф. 11 с/р-627. Оп. 2 а. Д. 21. Л. 75, 82.

⁵¹ Отчет о работе среди иностранных рабочих и специалистов по Западносибирскому краю на 1 июля 1933 г. // ГАНО. Ф. 11 с/р-627. Оп. 2 а. Д. 21. Л. 163.

власти в Германии нацистов произошло резкое ухудшение советско-германских отношений, что не могло не сказаться на положении немецких рабочих в Советском Союзе. Были прекращены массовые наборы новых контингентов рабочих в Германии. Перемены произошли и в отношении к германским рабочим и специалистам среди населения, они нередко стали рассматриваться как «фашистские приспешники», шпионы, умышленные вредители и саботажники. Все чаще в советской прессе стали звучать голоса о неэффективности использования труда высококлассных иностранных специалистов, о необходимости заменить их доморощенными «красными» кадрами. Резко усилилась идеологическая обработка, началось преждевременное расторжение трудовых договоров, высылки из страны и аресты германских граждан.

Так, 31 мая 1934 г. Гросскопф сообщил послу о досрочном расторжении трудовых соглашений с двумя германскими инженерами в Новосибирске, поводом стало их участие в консульском приеме 1-го мая. Оба пренебрегли при этом приглашением на торжественное празднование Дня международной солидарности трудящихся, которое устраивал трест «Кузбассуголь» и на которое из всех приглашенных иностранных специалистов явились только двое «марксистов». Консул усматривал в этом некую новую тенденцию в действиях властей, которая уже нашла свое проявление в увольнении четырех немецких архитекторов, участвовавших в праздновании Дня труда в консульстве. Гросскопф особенно сожалел о потере Карла Хауера из Бейтона, директора шахты, который пользовался огромным авторитетом у рабочих и, ко всему прочему, был «доверенным лицом консульства»⁵².

Камнем преткновения стал в это время также вопрос о валюте, необходимой стране, проводившей индустриализацию. В СССР продолжалась практика отказа от долгосрочных трудовых договоров, заключенных с немецкими инженерами и квалифицированными рабочими, в которых предусматривалась выплата хотя бы малой части заработной платы в валюте. Многочисленными становились случаи, когда от инженеров требовали отказа от указанного в уже заключенном договоре права на валютные выплаты под угрозой аннулирования самого договора. Сотни немецких специалистов были досрочно уволены по этой причине.

Поскольку дипломатический путь для урегулирования всего комплекса вопросов был закрыт (так как советское правительство рассматривало положение иностранных рабочих и специалистов в СССР как чисто внутреннее дело и не вступало в межгосударственные переговоры), то у иностранцев оставался единственный путь защиты указанных в договоре прав — обращение в советский суд. Но это была лишь теоретическая возможность, не работавшая на практике. Суды, как правило, отклоняли жалобы на основании неправильного истолкования работниками условий договора и положений трудового права. Посольство считало, что жаловаться властям в Советском Союзе не имело смысла еще и потому, что истцы, во-первых, могли потерять право на квартиру и продовольственное снабжение, и во-вторых, требовалось слишком много средств, чтобы выдержать весьма продолжительные сроки рассмотрения дел. В итоге МИД Германии расценивал участие немецких специалистов в индустриализации Советского Союза как весьма тяжелое для себя бремя⁵³.

В 1933—1934 гг. продолжился процесс выезда немецких рабочих и специалистов из СССР и по собственной инициативе, активное участие в котором принимал германский консул. Можно смело утверждать, что одной из причин плохой «приживаемости» немецких рабочих и специалистов в сибирских условиях являлось присутствие здесь германского консульского представительства. Гораздо проще входили в новую жизнь рабочие из США, которые приезжали в СССР по рекомендательным письмам «Интуриста» (в США не было еще советских консульств) и затем приобретали здесь виды на жительство для иностранцев⁵⁴. Американцы были представлены главным образом бывшими российскими и восточно-европейскими эмигрантами: русскими, украинцами, югославами, поляками, литовцами. Они владели русским языком, для их обслуживания не требовались переводчики, нехватка которых усложняла общение немцев с местным населением. Эти «американцы» быстро «обрусели», привыкли к местным условиям и, как отмечалось в одном из отчетов, «участвуют в общественной работе вместе с русскими и вместе начинают бороться со всякими неполадками в производстве и с появившимся иногда разгильдяйством в своей среде. Из них есть многие хорошие борцы за производство и социализм»⁵⁵.

⁵² Bericht von Grosskopf an D.B.M. 31.05.1934 // PA AA. Bd. 82.

⁵³ AA an die D.B.M. 21.02.1933 // PA AA. Bd. 436.

⁵⁴ Циркуляр ИНО ОГПУ от 17 марта 1934 г. // ГАРФ. Ф. 9415. Оп. 3. Д. 1390. Л. 331.

⁵⁵ ГАНО. Ф. 11 с/р- 627. Оп. 2 а. Д. 21. Л. 97 об.



Иначе обстояло дело с немцами. Незнание языка, чуждая среда, суровый климат препятствовали быстрой адаптации людей, а возможность в любой момент пользоваться услугами своего представительства, найти в нем помощь и защиту, делала их более независимыми, раскованными и свободными. Шахтеры чувствовали за своей спиной дыхание отечества, и знали, что при неблагоприятном развитии событий могут вернуться туда. Многие сделали это, даже несколько адаптировавшись в СССР.

Еще одна проблема, тревожившая приглашенных специалистов, — это остававшийся нерешенным вопрос о судьбах детей, а главное, подростков, прервавших в связи с переездом свое образование. Отсутствие немецких учебников, квалифицированных преподавателей, незнание русского языка делали невозможным перевод детей в русские средние школы⁵⁶.

В период с 10 мая по 21 сентября 1933 г. из Западно-Сибирского края выехали 120 рабочих и специалистов. Большею частью немцы, прожившие в Сибири в лучшем случае один год. Они выезжали «самовольно» по причине «нежелания работать». К апрелю 1934 г. заметно поредевшая иностранная индустриальная колония в ЗСК выглядела следующим образом.

В Сталинске оставались 54 специалиста (с 56 иждивенцами) и 81 рабочий (почти все немцы — металлурги). С иждивенцами (103, в том числе 43 ребенка) колония насчитывала 294 чел. В Прокопьевске, где по-прежнему трудилось больше иностранцев, чем в других местах, оставались 55 специалистов и 280 рабочих-угольщиков. С иждивенцами (435) и детьми (253) колония насчитывала 852 чел. 50 % ее составляли немцы, 40 % — чехословаки, 10 % — югославы и венгерцы. В Ленинске оставались 474 иностранца (21 специалист, 77 их иждивенцев, 168 рабочих, 248 их иждивенцев, в том числе 102 ребенка). 108 рабочих — американцы, остальные — немцы. В Анжеро-Судженске трудилось 9 специалистов и 89 рабочих (немцев — 24, югославов — 27, чехословаков — 30, венгерцев — 10). Вместе с иждивенцами и детьми (59) колония насчитывала 220 чел. В Кемерово — 189 (23 специалиста, 37 рабочих, из них 24 механики и 36 угольщики). Среди 129 иждивенцев было 68 детей.

В Новосибирске проживали 137 строителей и управленцев (41 специалист, 57 их иждивенцев, 10 рабочих, 19 их иждивенцев, в том числе 30 детей). Составляли новосибирскую колонию немцы, за исключением семи чехословаков. В Омске работали 12 специалистов и шестеро рабочих (немцев), а вся колония составляла 39 чел. Томская колония насчитывала 25 чел. (все немцы), на химическом заводе в Белово трудилось еще 24 немца. Таким образом, в целом 225 специалистов, 314 их иждивенцев, 681 рабочий, 1015 их иждивенцев. Общее количество детей составляло 575, а вся колония насчитывала 2254 человека⁵⁷.

К концу 1933 г. сохранялась немецкая колония в Восточной Сибири, насчитывавшая, по данным Гросскопфа, 185 человек. Здесь самая большая группа рабочих — 31 человек (28 семей) — трудилась на металлическом заводе им. Куйбышева в Иркутске. Это были остатки тех, кто приехал в СССР в 1931—1932 гг., и почти все они состояли в КПГ или РКП(б)⁵⁸.

Иркутская колония, как считал Гросскопф, была в материальном отношении одной из самых благополучных. Занятые на металлическом заводе треста «Цветметзолото», немецкие рабочие почти все без исключения были коммунистами из Саксонии. Поэтому между ними и консульством не было постоянной связи. В противовес тяжелому положению немецких горнорабочих в Кузбассе, дела рабочих в Иркутске обстояли относительно хорошо, так как их заработок был значительно выше, а снабжение продуктами в отрасли треста «Цветметзолото» считалось лучшим в Советском Союзе⁵⁹.

⁵⁶ ГАНО. Ф. 11 с/р-627. Оп. 2 а. Д. 20. Л. 128.

⁵⁷ Все цифры взяты без изменений из: Состояние профработы среди инорбочих по Зап.-Сиб. краю. Апрель 1934 г. // ГАНО. Ф. 11 с/р-627. Оп. 2 а. Д. 20. Л. 123—131.

⁵⁸ «С момента своего приезда в Иркутск, — докладывал о них Гросскопф, — немецкие рабочие находятся под сильнейшим коммунистическим давлением, которое оказывает на них партийная организация. Особенно усердствуют партийные секретари, прибывшие из Германии..., некий Иоганн Лебауэр из Нюрнберга, который терроризирует беспартийных рабочих, натравливает на них другого функционера, бывшего берлинского коммуниста Фурхнера. Под их давлением многие немецкие рабочие вступили в русскую коммунистическую партию, чтобы сделать свою жизнь терпимой. Но среди них, как и среди бывших членов КПГ, есть настоящие, национально-ориентированные немцы, имеющие мужество противостоять партийным бонзам. Большинство немецких рабочих сами разыскали меня во время моего пребывания в Иркутске». См.: Brief von Grosskopf an die D.B.M. 16 декабря 1933 г. // PA AA. Bd. 387.

⁵⁹ D.B.M. an A. A. 25.03.1933 г. // PA AA. Bd. 196.



Гросскопф продолжал проявлять неустанную заботу о германских гражданах, проживавших в Сибири. Он не только делал все возможное, чтобы помочь отъезжающим на родину. Он активно работал с ними, ходатайствуя о предоставлении работы в Германии самым лучшим сибирским специалистам. Некоторым он помог устроиться на неполную рабочую неделю (3 дня) с небольшим на первое время заработком в 80—90 марок. Но и это уже было достижением.

«Подрывная работа немецкого консула в Новосибирске и пропаганда его агентов» неоднократно фигурировали в отчетах разного рода комиссий, изучавших причины «текучести иностранных кадров». «Работа консула, — как значилось в одном из таких отчетов, — заключается в запугивании немецких рабочих потерей права на возврат в Германию, в выдаче паспортов на проживание только в течение года в Союзе или в Германии без права выезда в другую страну»⁶⁰. Вряд ли эти обвинения были справедливы. Власти перекладывали вину за состояние дел с большой головы на здоровую. В то же время эти обвинения создавали основу для фабрикации дела НКВД о «контрреволюционной» работе в Сибири германского консульства.

К концу 1934 г. немецкая индустриальная колония в Сибири практически растаяла. Основная масса немецких семей выехала на родину. Сказалось, очевидно, и улучшение положения в самой Германии, которая оправлялась от поразившего ее кризиса.

Характеризуя индустриальную колонию Сибири в своем докладе от 21 декабря 1934 г., Гросскопф замечал, что здесь остались главным образом убежденные коммунисты или политэмигранты. Самая большая колония сохранялась в Прокопьевске (120 человек). Оплата труда, в особенности молодых инженеров и рабочих, приближена к оплате труда русских. Почти прекратились выплаты заработной платы в валюте, они сохраняются только в отношении немногих старых инженеров — консультантов при постройке новых шахт. Не ведутся более и массовые вербовки иностранцев⁶¹. Заметно сократилось число немецких штейгеров и рабочих в цехах. Расформированы ударные бригады шахтеров⁶². Теперь все иностранцы трудятся в бригадах вместе с русскими рабочими. Сохраняющиеся еще магазины системы Инснаба уже практически пусты⁶³.

В конце 1934 г., после учиненного НКВД разгрома «контрреволюционных организаций» в Немецком районе и немецких селах других сибирских районов, в крае были приняты все меры к устранению из сельской местности с немецким населением всех граждан иностранного подданства, работающих в советских организациях. Совершенно секретное распоряжение председателя ЗСКИКа Ф. П. Грядинского на этот счет ушло 22 декабря в адрес 28 руководителей его отделов «для неукоснительного исполнения». «Ни один иностранный подданный, — говорилось в нем, — без предварительного согласования с Управлением НКВД по ЗСК не должен быть допущен для работы в какой бы то ни было должности в сельской местности». Всего было выявлено и уволено 17 иностранноподданных, в том числе учителя, служащий сельпо, инструктор маслопрома, мельник, колхозный счетовод, инструктор животноводства и др.⁶⁴

Справедливости ради надо сказать и о том, что само советское руководство в это время стало проводить более осмотрительную политику в отношении иностранных рабочих и специалистов. Были повышены требования к их профессиональным качествам, начались увольнения тех, кому на смену могли прийти русские специалисты.

⁶⁰ Докладная записка о состоянии производственного использования и материально-бытового обслуживания иностранных кадров, работающих в системе «Кузбассуголя», составленная ст. инспектором ИНО НКТП Хилчиним, нач. отдела кадров Шахновичем, нач. ИНО Раковым. Июнь 1934 г. // ГАНО. Ф. 11 с/р-627. Оп. 2 а. Д. 20. Л. 216—225. Здесь: Л. 222.

⁶¹ 8 апреля 1933 г. МИД сообщил посольству в Москве, что «здесь советское торговое представительство приостановило свою деятельность по поставке немецких рабочих в Советский Союз и советует претендентам обращаться непосредственно к советским хозяйственным организациям (трестам) в Советском Союзе» См.: РА АА. Вд. 436.

⁶² Расформирование этих бригад и введение в их состав «малоквалифицированных русских рабочих на подсобные работы, с тем, чтобы повысить квалификацию максимального количества» таких рабочих, началось еще в середине 1934 г. и, возможно, также послужило одной из причин массового выезда горняков на родину. См.: Bericht des Konsuls Grosskopf an die Deutsche Botschaft Moskau. 21.12.1934 // РА АА. Вд. 352.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Белковец Л. П. «Большой террор» и судьбы немецкой деревни в Сибири (конец 1920-х — 1930-е годы). М.: Литературное агентство «Варяг», 1995. С. 203.



Увольнения проводились под видом сокращения объема работ, с выплатой причитающегося по договорам выходного пособия, а при отсутствии договоров — с выплатой двухнедельного пособия и цены обратного проезда. По окончании срока действия договора его, как правило, не перезаключали. В то же время для осевших в Кузбассе «инороботников» были введены 10-процентная надбавка к заработной плате за трехлетнее пребывание в Сибири и увеличение на три дня тарифного отпуска⁶⁵.

По состоянию на ноябрь 1935 г. в СССР оставались около 2000 германских граждан из числа специалистов, квалифицированных рабочих и «прочих временно проживающих немецких пролетариев», — говорилось в докладе посла Шуленбурга⁶⁶ [2]. Автор доклада понимал всю безысходность положения немецкой индустриальной колонии в СССР. «В ближайшее время немецкие специалисты отыграют свою роль окончательно, — прогнозировал дипломат. — Их служба уже сейчас признается ненужной. Но возникающая из-за этого потеря немецкого влияния в Советском Союзе будет еще не самой важной. Гораздо серьезнее проблема фольксдойче — новое поколение русских немцев не свободно от влияния коммунистического учения. Поэтому вряд ли следует ожидать прироста числа германских граждан, верных своему государству и сохраняющих свое немецкое самосознание. Ибо нет надежды на то, что в обозримом будущем будут восстановлены основания, на которых покоилась самобытная жизнь российских немцев с их экономическими и культурными традициями».

В конце 1930-х гг., по данным германского посольства в Москве, в СССР насчитывалось всего 320—330 немецких рабочих и специалистов⁶⁷. В Сибирском консульском округе в 1936 г. оставалось приблизительно 100 человек⁶⁸, да и это незначительное количество продолжало сокращаться, правда, теперь уже не в результате выезда, а из-за утраты германского гражданства. В Новосибирской области на учете ОК ВКП(б) в 1942 г. состояли 22 немца, пять австрийцев, один венгерец и один чех. Это были бывшие «добровольцы интербригад», «добровольцы Испании», резерв КИМа и др.⁶⁹ Часть тех, кто не выехал из СССР, сгинули во время «большого террора» 1937—1938 гг. Примерно 1/4 часть из списка в 1453 «немца», расстрелянных в ЗСК по постановлению НКВД и прокурора СССР, — это лица, родившиеся за пределами Советского Союза⁷⁰.

(Окончание следует.)

⁶⁵ ГАНО. Ф. 11 с/р-627. Оп. 2 а. Д. 20. Л. 226.

⁶⁶ По консульским округам они распределялись так (вместе с членами семей): Ленинград — около 400; Москва — 600; Харьков — 400; Тифлис — 20; Новосибирск — 440; Владивосток — 25. Из консульских округов Киева и Одессы эта группа имперских немцев к середине 1930-х гг. практически исчезла. Положение германских специалистов и рабочих в СССР в записке от 14 ноября 1935 г., составленной атташе посольства фон Хайницем по материалам консульских докладов о состоянии дел в их округах «Die Reichsdeutschen in der Union der S.S.R.», подписанной послом фон Шуленбургом, характеризовалось так: «Экономическое положение специалистов ухудшилось в течение последних лет. Уровень зарплаты все больше приближается к зарплате аналогичных местных рабочих кадров. Ежемесячное жалование специалиста колеблется от 600 до 1500 руб., а зарплата квалифицированного рабочего — от 250 до 800. При этом нужно учитывать, что с 1930 г. покупательная способность рубля из-за его девальвации заметно снизилась, снабжение продуктами, одеждой и предметами потребления по сниженным ценам в особых распределителях постепенно сократилось, а с середины нынешнего года прекратилось совсем. Только немногим специалистам выплачивают еще часть зарплаты — редко больше чем 50 рейхсмарок ежемесячно — в конвертируемой валюте. В этих обстоятельствах вряд ли у специалистов появится стимул для дальнейшего продления их договоров, если только они не захотят остаться в Советском Союзе по личным причинам» См.: РА АА. R 83854.

⁶⁷ Pinkus B., Fleischhauer I. Die Deutschen in der Sowjetunion. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1987. S. 192.

⁶⁸ В Прокопьевске — 60, в Байкайме — 28, в Анжеро-Судженске — семь. См.: Bericht von Kōnitzer an die Deutsche Botschaft Moskau. 18.03.1936 // РА АА. Bd. 71.

⁶⁹ Письмо зам. зав. отделом кадров ИККИ Белова от 13 июня 1942 г. секретарю Новосибирского ОК ВКП(б) // ГАНО. Ф. П-4. Оп. 34. Д. 162. Л. 1.

⁷⁰ Белковец Л. П. «Большой террор» и судьбы немецкой деревни в Сибири... С. 254.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Карл Кёнитцер, евангелического исповедания, родился 25 сентября 1892 г. в Берлине, юрист по образованию. Во время войны в 1914—1919 гг. выполнял обязанности секретаря окружного суда в Белостоке, затем служил юристом в Берлине. С 1921 г. на службе в МИДе (оберсекретарь, с 1925 г. — инспектор юстиции, с 1926 г. — консульский секретарь, с 1929 г. — оберинспектор). Служил в Софии, Лондоне. 10.02.1932 г. получил назначение в Новосибирское консульство, сменил здесь секретаря Феликса Гюбнера. После отъезда Гросскопфа и до вступления в должность нового консула вел дела в консульстве, в августе 1937 г. переехал в Манилу, стал канцлером, служил в Нанкине и Шанхае, после войны в 1946—1951 гг. находился в американской оккупационной зоне, интернирован. В звании канцлера I класса служил до выхода в 1957 г. на пенсию в Генеральном консульстве в Сиднее. Умер 19.02.1971. Эти данные любезно сообщены Л. П. Белковец руководителем Политического архива МИД Германии д-ром Марией Кайперт в январе 1997 г., когда доступ к делу Кёнитцера еще не был открыт для исследователей.

2. Фридрих Вернер граф фон дер Шуленбург был назначен чрезвычайным и полномочным послом в Советском Союзе 16 июня 1934 г. и занял свой пост в Москве в октябре 1934 г. в возрасте 59 лет.

Родился Шуленбург 20 ноября 1875 г. в семье не слишком зажиточного прусского офицера, после окончания гимназии и годичной службы вольноопределяющимся в течение четырех лет изучал юриспруденцию в Лозанне, Берлине и Мюнхене. Консульскую службу после сдачи положенного экзамена начинал вице-консулом кайзеровского правительствa в Барселоне в 1903—1905 гг., продолжил ее в Лемберге (Львов), Праге и Неаполе. С 1907 г. и до начала войны служил в России, четыре года в Варшаве вице-консулом генерального консульства, потом в Тифлисе консулом (с 1911 г.). Во время войны в течение года воевал на Западном фронте, во Франции, в гвардейском арtpолку, выслужил чин капитана. В 1915 г., как знаток Кавказа, отправлен в качестве офицера связи в дипломатическую миссию в Дамаск, объездил весь Ближний Восток, а когда немецкие войска в 1917 г. захватили Кавказ, был переведен в Тифлис германским представителем.

Особенно важными для познания не только прежней России, но и России советской, были для него годы службы посланником в Тегеране в Персии, стране, одной из первых заключившей договор с Советской Россией. Этому способствовали дружба его с Брокдорф-Ранцау и частые встречи с ним в Москве, через которую он ездил в Берлин. Приход к власти НСДАП застал его в Бухаресте, где он с 1931 г. занимал пост германского посланника в Румынии.

В Аусамте после ушедшего с шумом предшественника Шуленбурга (Рудольфа Надольного) «рассчитывали увидеть в Москве спокойного и уравновешенного чиновника предпенсионного возраста, с ярко выраженным консервативным умонастроением, который не будет выдвигать собственные мнения и инициативы, а будет верно служить Гитлеру, как он служил германскому рейху и Веймарской республике».

Однако эти расчеты оказались ошибочными. Шуленбург обладал вполне сложившимися взглядами на развитие отношений между германским рейхом и СССР, основу которых заложил Рапалльский договор; он был убежден в том, что Россия и Германия могут, прежде всего, экономически, отлично дополнять друг друга. Шуленбург категорически отклонял возможность разрешения конфликтов между странами посредством войны и был твердо убежден в том, что любое военное столкновение Германии с огромной и могучей империей на Востоке — независимой от господствующей в ней идеологии и общественной доктрины — приведет к краху, как это уже случилось в начале XIX в. с Наполеоном.

Борис КУТЕНКОВ

БЕЗУТЕШНЫЙ УТЕШИТЕЛЬ

О стихах Ларисы Миллер

Начать статью с вопроса о репутации меня побудили слова, прочитанные недавно в блоге одного критика. Автор, в частности, писал о том, что «...жизнь в пространстве современной культуры требует не “вкуса”, а растущего “чувства уместности”. <...> Поскольку у поэзии нет читателя в строгом смысле этого слова, а есть пишущее-слушающее-выступающее сообщество, которое и является ее основным продуцентом-потребителем, — актуально то, что в этом сообществе ощущается интересным, сильным, новым и т. д. А эти люди руководствуются скорее не “нормой”, а “уместностью” и более способны к деконструирующей рефлексии <...>, чем их консервативные оппоненты. Можно, конечно, сказать и так: актуально то, что признается таковым теми, кто присвоил себе монополию на актуальность...»

На мой взгляд, есть, однако, немалая спорность — и даже ущербность — в позиции, согласно которой фигура поэта должна быть «уместной» и отличающейся «правильным поведением», — так же, как и в требовании «современности» стихов. Положение, занимаемое в этом смысле Ларисой Миллер, представляется специфическим и даже периферийным. Когда несколько лет назад в статье «Высокая (ли) болезнь?» («Знамя», 2004, № 1) Сергей Чупринин задался вопросом о «поэтической норме, имя которой — аутизм» и привёл имена поэтов, «не инфицированных неслыханной сложностью, не отворотившихся от нас, сирых, с гримасой кастового, аристократического превосходства», — в список счастливых исключений можно было бы легко включить и Миллер. Вспоминается и определение Чупринина

«миддл-литература», — то есть не синонимичная усреднённости, но сочетающая художественную ценность с ориентированностью на условного «простого» читателя.

Но кто он, этот «простой» читатель, и каковы его социологические параметры? Не будучи признанной в так называемом «литературном сообществе», Миллер не обладает и широкой популярностью: симпатии к ней не преувеличены, а ограничены узким кругом преданных слушателей. Поэтесса не имеет ничего общего с масс-медийными фигурами, превратившимися в самопародии и спекулирующими на стереотипическом понимании стиховой природы «наивным» реципиентом. С другой стороны, — среди «профессионалов» создаётся впечатление пренебрежительного отношения к стихам Миллер как к эстетическому анахронизму и недостаточности критической рецепции. При давней и плодотворной работе — ограниченное количество откликов; имя Миллер редко встретишь в премиальных списках. Впрочем, ради справедливости следует заметить, что и поэт не рвётся к «громким правам», предпочитая суете мудрое уединение. Вместе с тем «толстые» журналы с внятной эстетической программой — «Новый мир», «Арион» — ценят её и регулярно печатают подборки.

При этом на одном из редких вечеров Ларисы Миллер — прошедшем весной 2012 года в Малом зале ЦДЛ (место само по себе периферийное, с неоднозначной репутацией и отсутствием внятности в отборе выступающих), — яблоку было негде упасть. Симптоматично, что присутствовали в основном люди, совершенно не имеющие отношения

к тому сообществу, о котором шла речь в начале статьи, — а благодарные посетители интернетовского блога поэтессы, которые затем признавались ей в любви, читали немелкие, но трогательные стихи собственноручно сочинения, произносили искренние слова о том, что её творчество для них является спасительной «аптечкой» (позже, из переписки с поэтессой, я узнал, что кто-то из читателей однажды метко употребил по отношению к ней фразу «безутешный утешитель»). Картина была впечатляющая. С трудом представляемая и на вечерах гораздо более востребованных и «авторитетных» фигур. Такая противоречивость положения заставляет задуматься о многом: например, об эстетическом размежевании, когда «за бортом» магистральной линии литпроцесса остаётся поэт, делающий что-то своё, не вписывающийся в «поведенческие критерии» и знать не желающий о «принципе уместности», — казалось бы, банальность, что эта «уместность» во многом зависит от тусовочности, умения коммуницировать с «нужными» людьми и правильно подать себя. Задумываешься и о разнице между читательской любовью и «признанностью» в актуальном сообществе. «Вы сами отмечали, что многим современникам кажется старомодной», — это из беседы Инги Кузнецовой с Ларисой Миллер («Вопросы литературы», 2003, № 6). Но позвольте, разве «несовременность» стихов обязательно противоположна критериям художественной ценности? Оценочное ли это вообще понятие? И правомочен ли такой упрек по отношению к поэту, не гонящемуся за «изменчивой модой»?

Мне кажется, ключ к неписанности Миллер в современный поэтический мейнстрим, — и не то чтобы игнорированию, но скорее царственному отрицанию ей новейшей поэзии, — заложен в эссе «Несовпадение» (вошедшем в её книгу «Упоение заразительно», 2010). При чтении эссеистики обращает на себя внимание диалог бинарных оппозиций, своеобразная парность, — согласно которой рассматриваются и поэты, и события, и временные отрезки. Ходасевич и Иванов, «прошлый» век и «нынешний», контраст с «иным воздухом», которым «дышат английские слависты» (им преподаватель Лариса Миллер читала чичибабинские строки «О мать Смерть, сними с меня усталость» и «кожей чувствовала, что довольно с них тоски и надо срочно менять пластинку»)… «Я и умру, исследуя / Несовпадение с миром», — писала Татьяна Бек, значимый для Миллер автор. Здесь — «несовместимость» неба и земли переливается в несов-

падение самого поэта со всем окружающим. Сокрушаясь, приводя слова о «торжественном голосе времён минувших», противопоставляя его «отрывистому и маловразумительному» в современных служителях Музы (не «преодоление внутреннего дискомфорта» — но «болезненное удовольствие», «нарочитое заземление»), — Миллер, однако же, принимает чуждое со стоическим смирением. В других эссе: «Каков мир, таков и поэт. Он мрачно шутит или бубнит что-то на первый взгляд невразумительное, а на второй и третий — исполненное смысла (если таковой возможен в этом абсурдном мире)»; «Я была в шоке: что казалось мне раем, кому-то казалось адом, что казалось мне светом, кому-то казалось тьмой»; «Поэту перековали горло». Единственный поэт с «недоперекованным горлом» — Борис Рыжий (с которым Миллер состояла в переписке вплоть до его трагической гибели в июне 2001-го), — эстетически не очень близкий, но тем не менее ценный, как и Гандлевский, Лосев.

Вообще, эссе Миллер неопределимы для желающих проникнуть в её творческую лабораторию и лучше понять не только жизненные принципы автора, но и стихи. Написанные слегка архаичным языком, на первый взгляд — слишком «человечным» (по сравнению с распространённым наукоидным филологическим воляпюком, который часто маскирует ничтожность анализируемого текста), но затем — единственно правильным. Читаешь — и начинаешь верить в необходимость человеческой сопричастности, недавно казавшейся наивным критерием, выброшенным далеко за оценочный барьер. Вот программное высказывание об отношении к стихам в целом: «Всё в них правильно, всё на месте, а душа моя молчит». Известно, что когда поэт (да и не только поэт, попутно говоря) пишет о других, — он сознательно ли, подсознательно имеет в виду себя, то, что в нём есть, желаемое или, напротив, несвойственное. Когда Миллер говорит, что Тарковский «не переходит на крик, не захлёбывается словами», — это она о себе. «Стих безупречен и дисциплинирован» — это тоже о ней. Отзвук собственных стихов слышится и в постоянно мелькающей теме отчаяния, противопоставляемого «унынию» (второе — грех, первое — спасение; цитируются строки любимого Иванова про «отчаянье, приют последний...»). То и дело скользят мысли о банально-поэтическом словаре, — главным образом, в связи с Георгием Ивановым, слова о котором занимают большую часть книги (и он тоже рассматри-

вается в сопоставлении: с Набоковым, Штейгером, Ходасевичем, — за исключением, пожалуй, последнего, сравнение получается в пользу Иванова). «Избирательное средство» Миллер и Иванова подмечал и Андрей Василевский в давней рецензии на одну из её книг («Новый мир», 1997, № 5); сближает этих разных поэтов прежде всего ощущение нематериальности трагедии, — при той же «божественной ясности слога» и стремлении к «бессловесности». Но если у Иванова — трезвое и подчас хладнокровное принятие трагедии, то для Миллер основополагающим является самообман. «То, чего начисто лишена его поэзия», — пишет Миллер об Иванове. «Здесь разговор является самоцелью», — а это из другого эссе.

К дихотомии «уныние — отчаяние» близка другая: «банальность — штампы». Штампам поэт, как ни странно это может показаться на первый взгляд, воспекает осанну: это — понятие гораздо более широкое, чем штамп языковой, и связываемое в восприятии Миллер с привычностью, уверенностью в завтрашнем дне. Таковы, по её мнению, «штампы природы». «О мир, твои прекрасны штампы...» И неслучаен, наверное, упрёк, часто слышимый в адрес стихов Ларисы Миллер, — однообразие. «Она их печёт, как пирожки», — так охарактеризовала их критик, аргументируя нежелание публиковать мою рецензию на книгу Миллер в своей рубрике. Однако в случае с этим поэтом «неизменность» синонимична скорее «устойчивости», благотворной стабильности (впрочем, тут всё не так просто, с чем мы ещё столкнёмся, говоря о её стихах).

Что делает узнаваемой стилевую манеру Миллер? Если вдуматься — на память приходит лапидарное, завершённое по смыслу стихотворение с предельно простой, парной рифмовкой. Верно заметил Владимир Цивунин в статье «Сухое биение» («Новый мир», 2004, № 3), — «констатация переживания, но никогда не само переживание». Я бы добавил — указание самой себе, незыблемое в своей твёрдости и не требующее продолжения. Словно если продолжение последует, если не будет поставлена волевым усилием точка в нужном месте, — произойдёт сбив на неровный ритм или ещё какая-то непозволительная дерзость. На первый взгляд кажется, что этой манере Миллер не изменяет на протяжении всего творческого пути. Иных читателей такая неизменность притягивает: стоит настроиться на эту волну (как критик Эмиль Сокольский, один из самых чутких ценителей и очных собеседников поэтессы, автор нескольких статей о

её творчестве), как чувствуешь благодарность и доверчиво тянешься в ответ, — и кто лишит их этого «священного» права? Других, например, мою собеседницу-критикесу, заставляет усомниться в творческой эволюции поэта. Который и сам сокрушается по поводу собственной «классичности», — вот характерное стихотворение конца 80-х:

**О, в душу ввевшаяся норма —
Стихов классическая форма.
Кричу отчаянно и гневно,
А получается напевно.
Несу какой-то бред любовный,
А слышен только голос ровный.
Делюсь тоской своей полночной —
Выходят строки с рифмой точной.
Покуда пела, горевала
Себя в стихах замуровала:
Ни слёз, ни мигов горько-сладких.
Лишь стены строк прямых и гладких.**

Между тем, если понаблюдать за творчеством Миллер в его хронологической последовательности, — можно увидеть в рамках «классической формы» как стабильность, так и «ряд волшебных изменений». Мысль о незнании утрат, о творчестве как некоем спасительном приюте, — остаётся с ранних стихов, ещё не лишённых некоторого оттенка общекультурности, но высоко и даже восторженно оценённых Арсением Тарковским. В книгах «Безымянный день» (1977), «Земля и дом» (1986) не к чему придраться: всё математически отлакировано. Есть собственный лирический мир, советская «правильность» размеров и рифмовки. Но и сказать выдающегося о них тоже особо нечего.

**Такой вокруг покой, что боязно
вздохнуть,
Что боязно шагнуть и скрипнуть
половицей.
Зачем сквозь этот рай мой
пролегает путь,
Коль не умею я всем этим
насладиться.
Коль я несу в себе сумятицу, разлад,
Коль нет во мне конца
и смуте и сомненью,
Сбегаю ли к реке, вхожу ли
в тихий сад,
Где каждый стебелек послушен
дуновенью.**

Классически ясное письмо? Милая созерцательность? Всё это было не единожды — и у Рубцова, и у Владимира Соколова, и у второстепенных поэтов... Истинно миллеровское, — то, что в её поздней лирике приобретает черты едва ли не аутопортрета, —

проявляется скорее на уровне психологической интенции, минуя индивидуальные ритмические и стилистические ходы. Это отношение к собственным страданиям как к чему-то постыдному, создание иллюзии, тот самый несвойственный Иванову «самообман». Сам акт творчества в этом мире — не честный взгляд в глаза реальности, а средство эскапизма.

**О мир, грешны твои тела,
Порой черны твои дела.
Хоть между строк, хоть между делом
Будь тихим-тихим, белым-белым...**

Наиболее «живыми» кажутся как раз исключения из правил — те стихи, где «невыносимая» жизнь предстаёт в своих привычно-жестоких красках: «На смерть ученика» — горькое, правдивое и хлёсткое; стихотворение о доме престарелых. «Среди деревьев белых-белых / Пансионат для престарелых...» Сохраняется иллюзорность — «вера в чудо», говоря высокопарным языком, — но в концовках совершается чудесное преобразование, как бы отменяющее ближний, бытовой план:

**И нет чудес. Но, Господи, покуда
Ещё не выросла сырая гряда
Земли, не придавили снег и лёд,
Приди, веди: «Пусть встанет.
Пусть идёт».**

Неизменной все годы остаётся и относительность бытия, неуверенность в собственном существовании. «Ощущение неравновесности жизни преследовало меня всегда», — из того же интервью в «Вопросах литературы», упоминаемого в начале статьи. «Между облаком и ямой, / Между небом и осинкой, / Между жизнью лучшей самой, — / И совсем невыносимой». Оттого и рождаются стихи, — как подтверждение «равновесности», своеобразная проверка на прочность. В более раннем стихотворении — перекличка с Давидом Самойловым («Пиши простейшие слова»); для преподавателя МГУ Ларисы Миллер это — спасительная возможность оказаться «...среди гласных и согласных / В прозрачном мире правил ясных». Не «протирать как стекло», в отличие от самойловских «обычных слов», а скорее — рассматривать их под новым углом, выстраивая в разумной соразмерности. В упоминании сада, роши видится и скрытая полемика с Заболоцким («Я не ищу гармонии в природе»), которым Миллер, по её словам, в молодости «просто зачитывалась».

Строгая дисциплина стиха становится средством самодисциплины, — потому

творчество приобретает смысл почти прагматический («Хоть бы дали инструкцию, как обращаться...»). В этом смысле программным можно назвать стихотворение «Цветы на окнах и в руках...» 1984 года.

**То золотистый лепесток,
То одуванчик, ставший пухом,
Художник знает не по слухам,
Что мир безумен и жесток.**

**Но краска чистая густа...
И снова, точно заклинанье,
Цветы, цветы, окно с геранью
И свод небесный в полхолста.**

Альтер-эго поэта, знающее «не по слухам» жестокость мира, как бы самоустраняясь от неё, всё равно продолжает говорить о гармонии. Там, где побеждает «жизнь лучшая самая», почерк доходит до степени детского, наивного письма, оттапливающего несоответствием формы и содержания и вызывающего (в том числе у самого поэта) не самые радостные ассоциации: «Детские считалочки, а иначе не умею...» (из интервью). «Радостный» четырёхстопный хорей, — и серьёзность содержания (об этом, в частности, говорит Владимир Цивунин, замечая, что на месте Миллер «запретил бы себе писать этим размером»). Но если вдуматься, — только четырёхстопными хорейми дело не ограничивается, да и семантический ореол этого размера ассоциируется в русской стихотворной практике отнюдь не только с детскими стихами (стоит почитать на эту тему как исследования Гаспарова, так и статью Ильи Кукулина «Строфическая драматургия: катарсис откладывается», где критик исследует в свете семантической традиции этого размера стихотворение Виталия Пуханова «В Ленинграде, на рассвете...» (НЛЮ, 2009, № 96)).

В стихах конца 80-х — начала 90-х (вошедших в раздел «А между тем...» избранного Миллер «Где хорошо? Повсюду и нигде...» 2003 года) появляется всё больше образов окружающего хаоса и мрака. «И речи быть не может / О том, что Бог поможет. / Он сам разут и наг...» В музыкальный миллеровский стих вместе с чёрными красками добавляется жёстко-реалистическая нота: путешествие по кругу грозит закончиться и вырвать лирического героя из так любимой Миллер обыденности.

**Двадцатый век идёт к концу.
А мы всё ездим по кольцу:
<...>
А мне сходить через одну.**

Лексический запас поэта в эти годы не только пополняется пейоративной лексикой («хмарь», «хаос»), но и отражает социальные реалии, а также иронически обыгрывает приемы новояза («Что такое штука, столбик, / Разумеет каждый школьник») и новой гносеологии (ситуация, когда впечатлительному человеку остаются, по выражению Миллер, «не ребусы — клише»). Любимый четырёх-стопный хорей выдаёт дисгармонию, звуча травестийно, почти ёрнически. Тут уже «пахнет» не считалочками, а горькой иронией отчаяния:

**Оживление в больничке:
Потру запели птички,
Принесли благоу весть
К нам в палату номер шесть.**

Всё яснее становится, что «простой рас-порядок» ровных отточенных строк предстаёт как та устойчивая стабильность, о которой Миллер писала в эссе «О штампах с любовью»: «Шаблон — то, чему покоряется житейское море; то, что способно хоть как-то обуздать его и ввести в рамки». «Но в хаосе надо за что-то держаться...», — так начинается одно из стихотворений того периода. Дихотомия — между чёрным и белым — остаётся неизменной:

**То ли это про смертную муку,
То ль о радостях в райском саду.**

«О прискорбном — ни гу-гу», — говорит Лариса Миллер; поэтесса мало распространяется о личных невзгодах, ограничиваясь в разговоре о них отвлечённо-абстрактной лексикой, но сама фигура умолчания свидетельствует о присутствии этого «прискорбного» вокруг героя стихов того периода. Вместе с тем такая форма подачи художественного материала имеет и негативную сторону: всё более обидно оттого, что мы, читатели, не заслуживаем у Миллер такого доверия, чтобы делиться тяготами. Вроде бы и лирический дневник, — но «половинчатый», стыдливо избегающий подробностей. Сдержанность оборачивается общими местами, — при избыточной подаче этот стоицизм, вызывающий уважение, начинает утомлять: хочется неожиданной детали, которая бы перевернула сложившееся представление о поэтике Миллер, «дерзких слов / и потрясения основ», как говорилось в одном из ранних стихотворений. Попытка обойти вниманием конкретные детали уже не удаётся: так порождается конфликт между деталью и абстракцией, разговором о «вечном» и о «пустяках»:

**А в деталях... постылые эти детали!
Не от них ли мы так безнадежно
устали,
И особенно те, кто сегодня в летах.**

Это — из стихотворения 1999 года. В другом, более раннем (1987), однако, слышишь противоречивое:

**Я вас люблю, подробности,
конкретные детали.
Ведь вы меня с младенчества,
с рождения питали.**

В недавно вышедшем III-м томе «Антологии уральской поэзии» челябинский критик Игорь Постников писал об Олеге Дозморове: «Постоянное понижение новаторской планки, т. е. периодическая замена данного ему от рождения плазменного аннигилятора на шестидесятиваттную лампу накаливания, заставляет Дозморова снова и снова продуцировать стихи одного температурного режима с одним и тем же световым потоком, как бы количественно доказывая, что только так и должно быть». Мне думается, эти здоровые слова — с оговорками — можно отнести и к Ларисе Миллер. Оговорки — в том, что в обоих примерах несовпадения с читательским восприятием (оно, как известно, — вещь тонкая; оступился — и проваливаешься под лёд) свидетельствуют отнюдь не о малой степени таланта. Скорее — о некоторых внелитературных обстоятельствах, оказывающих влияние на творческий почерк: в случае с Миллер — природная скованность, мешающая «взять» на полтона выше. И тут начинаешь отчасти понимать антипатизантов поэта. Но стоит только чутко взглянуть в природу поэтического слова, — и то, что сперва видится как недостаток, предстаёт особенностью, органичной для определённого темперамента. Вроде бы соблюдается вариативность размеров, — но всё равно не покидает ощущение однообразия, внутреннюю обусловленность которого мы, кажется, постарались выявить. «Скучает форма», — говорит в таких случаях поэт и критик Михаил Айзенберг. Дыхание ровное: поэтесса ни разу не позволила себе ритмического сбоя, о дисгармонии мы догадываемся только на смысловом уровне, по специальным сигналам, которые «подбрасывает» нам автор, — к примеру, по троекратно повторению глагола, выдающему эмоциональную растерянность:

**Всё тяну на излюбленной ноте
Ту же песню. И всё ж улови,
Улови, улови перемену:
Песня та же, но в голосе — дрожь...**

В двухтысячные фон поэзии Миллер меняется, — и, по-моему, в лучшую сторону. Появляется новый камертон поэтического голоса. Гармоничная старость, принятие каждого дня с благодарностью и смирением, — все эти мотивы достигают апофеоза в позднем творчестве Миллер. Лирическая героиня книги «Накануне не знаю чего» (2009), — совсем не пушкинская старуха, ждущая даров; скорее — она умеет находить их в малом, наслаждаясь тем, что есть, и не повышая уровень своих притязаний.

**Что нас ждёт? Нас ждёт корыто,
То, которое разбито.
Что ещё? Да ничего,
Ничего, опричь него.**

Найден счастливый зазор между детством и старостью, которые почти идентифицируются; по-прежнему проявляет себя и психотерапевтическая функция стихов, и «детская» ритмическая основа. Завет из ранних стихов — чтобы «внимали мне и страдали / одни бессловесные дали» — исполняется. Словно человек, помня, что мысль материализуется, стремится «уговорить» пространство, сделать его лояльнее к себе. Дискурс творчества меняется в сто-

рону «золотого сна», райского сада, овечьего блаженным незнанием (недаром и названия разделов — «Книга первая», «Книга вторая» — рождают ветхозаветные ассоциации), отчего стихи приобретают метафизическое обаяние.

**Ну а сегодня рай земной,
И завтра тоже.
Сирень стоит живой стеной.
Её тревожа,**

**Несильный дождик шелестит,
Листвой играя.
И никогда не улетит
Душа из рая.**

Есть какая-то ирония в том, что последние сборники (как, впрочем, и большинство книг Миллер) выходят в издательстве «Время». Взаимоотношения Ларисы Миллер со временем — в обратной пропорции. Оно — переменчиво, поэт же хранит верность и классической традиции, и собственной манере, игнорируя «актуальные» течения. Времени (а вместе с ним и его отдельным представителям, ценящим «уместность») это, разумеется, неудобно, но что поделать — есть то, что дороже времени.



ЭТА «МАЛЕНЬКАЯ» КОСТРОМА

Бывают странные сближенья. Новосибирск и Кострома, одному 120 лет, другой 860. Одна древнерусская, европейская, почти столичная (376 км от Москвы), другой — далькосиби́рский, столично-региональный (3600 км до Москвы). Дед и прапрапрапраправнук, воплощенная история страны и ее юное продолжение. Казалось бы, что у них общего?

Оба города объединяет слово «провинция». И костромичи, чей город основал «москвич» Юрий Долгорукий, вполне согласны с этим. И устраивают конференции, в названии которых (как и в докладах участников) с гордостью значится это, в общем-то, не очень симпатичное слово. Предложили и мне поучаствовать, и вот уже второй год подряд приезжаю я в эту чудную Кострому. На этот раз выступил я на секции с сугубо провинциальным названием: «Культура повседневности и образ “маленького человека” в культуре 60-х гг. XX в.». Хотя и не понимаю, по какой причине мой доклад об Игоре Дедкове и Викторе Астафьеве, людях совсем не «повседневных» и не «маленьких», был включен именно сюда. А потом все понял: это ведь Кострома, город непредсказуемостей, город В. Розанова и А. Ремизова, А. Зиновьева и И. Дедкова, А. Бугрова и А. Ябличкова, больших оригиналов и «чудиков», как сказал бы В. Шукшин. Город, где, может быть, и родилось само понятие русской провинциальности с ее сложным отношением к столичности.

О чем позаботилась сама госпожа История. И цифра «13». Судите сами: великий подвиг Ивана Сусанина и венчание на царство Михаила Романова в 1613 году именно в Костроме не принесли, однако, городу ни-

каких «дивидендов», хотя она вполне могла рассчитывать на столичный статус. Сглазил, видимо, пожар 1413 года, который историки края почему-то так охотно вспоминают среди прочих дат, оправдывая сие количеством сгоревших церквей (30), что, при всей чудовищности факта, зарегистрированного летописями, должно было впечатлить непонятливого большими размерами тогдашней Костромы. А к тому времени она имела уже настоящую святыню — Федоровскую икону Пресвятой Богородицы, явившейся князю Василию Ярославичу в пору получения Костромой статуса столицы удельного княжества. Впрочем, оберегом икона по-настоящему не стала, о чем говорит скоропостижная смерть возвращавшегося из Золотой орды князя. Остается добавить, что все эти события происходили не в каком-нибудь, а в XIII веке.

Правда, вся эта мифология чертовой дюжины в истории Костромы легко рушится тем, что летоисчисление тогда велось «от сотворения мира», и «нехорошие» даты имели в оригинале иной облик. С другой стороны, с введением нового летоисчисления в XVIII веке, судьба Костромы как будто налаживается. Две великие императрицы сего галантного века изменили облик города коренным образом: при Елизавете Петровне Кострома застраивается заводами и мануфактурами, а при Екатерине Второй получает веер расходящихся от центральной площади улиц — наконец-то! — статус губернского города. Но с чисто костромской экзотикой: город героя-мученика Ивана Сусанина (памятник и площадь его имени в центре города) получит в начале XIX века ярко выраженную коммерческую символику — це-

лые галереи белокаменных торговых рядов Мучных и Красных, с ячейками-нишами для «торговых точек», колоннадные Табачные и Дегтярные ряды, а лучи-улицы будут названы в честь представителей династии Романовых: Екатерины, Павла, Александра, Константина, Марии. К этому нужно добавить Каланчу и Гауптвахту — как шедевры стиля ампира начала XIX века, а не утилитарные учреждения. И, наконец, в довершение причуд ансамблевой костромской архитектуры, площадь, окаймленную памятником Ивану Сусанину, Торговыми рядами, Каланчой и Гауптвахтой, — неподалеку еще монструозный памятник Ленину, постаментом которому служит недостроенный в 1917 г. монумент-многогранник к 300-летию Дома Романовых, — назовут почему-то «сковородкой». Говорят, что из-за той самой «лучевой» планировки улиц. Того же рода и легенда о том, что эту «сковородочность» подарила площади Екатерина Вторая благодаря своему капризу: бросила якобы свой веер на карту города, а подчиненные взяли под козырек.

Глядя на дальнейшую историю города, мы вдруг снова встретимся с цифрой «13». Как только пришла советская власть и добавила, согласно новому григорианскому календарю, 13 дней, судьба Костромы опять стала меняться: большевики потихоньку превращали столицу губернии в райцентр Ивановской, затем Ярославской областей, закрепив это де-юре в 1929 году. Вы не поверите, но выкарабкаться из захолустного статуса Костроме вновь помогла роковая цифра: указ об образовании Костромской области «из ряда районов Ярославской, Ивановской, Горьковской и Вологодской областей» был подписан 13 августа 1944 года. Смушает, конечно, этот «составной» характер возрожденной губернии. Но разве не такова вообще и вся история Костромы, где что ни дата, что ни «13», то о двух концах — и радость, и несбывшиеся надежды. Филологически говоря, сплошной оксюморон.

Теперь понятно, почему замечательный костромич, доктор исторических наук, профессор-культуролог Алексей Зябликов назвал свою книгу «Провинциальная столица» (2008). Много смыслов в этом заглавии: тут и вечное историческое «перетекание» Костромы из «райцентра» в столицу (края), и смешанные, двуликие чувства автора, то саркастически высмеивающего ее провинциальность, то гордящегося ею же — ее столичностью особого рода, не «московской». С такими же перепадами следуют главы-очерки 1-го заглавного раздела книги. В дебют-

ной автор воздает дань «сложившейся репутации духовного центра доподлинной Руси», ратует за сохранение «древнего очарования» Костромы, но без иконной сусальности. Поэтому, видимо, далее идет глава «Костромской мужчиной», показывающая, что сусальности в этой книге, как говорится, днем с огнем не сыщешь. Зато в следующей главе «Костромская женщина», вместо сарказмов в адрес «неяркой внешности» и повадок типичного костромича-домоседа, — тонко завуалированные ильф-петровской иронией комплименты костромичке. Она красива, но «не всегда умеет распорядиться своей красотой», «восторженна и смешлива», но часто без причины. «Проникнитесь к ней душевным теплом», — просит автор.

В своеобразные качели превращается не только каждая очерковая глава, но и их последовательность. Алгоритм тот же: А. Зябликов вроде бы вышучивает, например, «провинциальные забавы» (одноименная глава), и тут же почти что гордится ими как подлинно костромскими: «Базовое понятие костромской ментальности — дурак». «Но — не ругайте меня, дочитайте до конца!» — просит автор, и поясняет: это ведь синоним мудреца с «говориливым азартом, отсутствием стеснительности в выражениях и высокими локационными свойствами ушей».

Вообще, А. Зябликов пишет о серьезных вещах и очень смело, не боясь сорваться в тон ругателя и «очернителя» своей малой родины, трогает злободневное. Пишет, например, о «приличном месте», в которое до сих пор не пускает Кострому история, то в «транспортный тупик» превращая город, то «пробуя на зуб» его губернский статус. А надо-то просто изжить в себе «чувство собственной униженности и обиженности», создав, наконец, свое «приличное место». Но как это сделать, если живет и процветает «Кострома маргинальная», «матерящаяся», заслушивающаяся уголовным «шансоном», с «пенитенциарной филологией» на устах, «новорусская» и даже «приморская», т. е. не в меру использующая иностранную лексику в вывесках «общественных заведений». Тут-то автор и дает волю своему культурологическому сарказму, изливая его в целую главу-гротеск, в стиле гомерических утопий В. Войновича, уверяя, что костромичи — потомки древнегреческих аргонавтов.

После вполне понятного эмоционального всплеска — из горячего костромского патриотизма, естественно, — А. Зябликов возвращается в спокойное русло очерковости. Мы узнаем о том, как далеко распрост-

ранились по свету костромичи, осевшие кто в США, кто в Финляндии, во Франции, Израиле, Швеции и т. д., о китайцах-костромичах, которым автор искренне желает «обжиться» в городе. Узнаю о богатой и интересной истории Костромского технологического университета — alma mater самого А. Зябликова, месте его нынешней работы, о Центре И. Дедкова, который и проводит те замечательные конференции, куда и меня однажды пригласили. Приятно и трепетно, конечно, побывать в стенах, где учился (тогда еще в гимназии) В. Розанов, а ныне собираются уже не первый год ученые, журналисты, студенты, почетные гости в честь И. Дедкова, удивительного человека, лит. критика по профессии, культуролога по объему знаний.

Удивительно само сочетание двух имен, без посредства Костромы непредставимое. Да и сам Дедков вряд ли представлял себе, оказавшись в Костроме не по своей воле после окончания МГУ в 1957 году, что станет ее патриотом и проживет в ней 18 лет. И что, несмотря на надзор КГБ, сумеет прочитать здесь целую библиотеку не советских религиозных философов и полусоветских писателей 20-х гг. — Б. Пильняка, Е. Замятина, И. Бабеля, критика А. Воронского. Что станет критиком-универсалом, рецензируя спектакли и кинофильмы, новинки зарубежной литературы в «Иностранке». Но такое полулегальное, по сути, антисоветское самообразование не приведет И. Дедкова к диссидентству, как А. Солженицына или А. Синявского. Напротив, только сделает его еще большим патриотом, но уже провинции, «глубинки», и не только костромской. Это тоже своего рода «диссидентство», и преобразится оно в философию провинциальной литературы, нового ее понимания.

Определение «деревенская литература», вдруг получившее широкое хождение с 60-х гг., Дедков предлагает понимать шире: «провинциальная проза». «Это указывало бы, — пишет Дедков в статье «Пейзаж с окрестностями» (1979), — на место жительства писателей, за чьими именами Вологда, Воронеж, Иркутск, Псков, Курск, Ростов-на-Дону. (Ф. Абрамов, Ю. Куранов, В. Распутин, В. Личутин, Е. Носов, В. Семин. — В. Я.) Или другие среднерусские, сибирские, поволжские города». С «провинциальной» духовно роднится «военная» проза в лице В. Быкова, Г. Бакланова, В. Богомолова, К. Воробьева, В. Кондратьева, Ю. Бондарева. И в целом этот огромный отряд писателей обладает, по мысли Дедкова, тем глав-

ным качеством, что «отрицает какую бы то ни было иерархичность материала и героев; весь интерес — в человеке, малой частице народа, все значение человека — в его духовной неповторимости, в достоинстве его нравственного выбора перед лицом могущественных обстоятельств».

Даже в легальной печати это выглядело не очень-то по-советски, как вызов официозу, соцреализму с его навязываемой партийностью. А если взять его «Дневник», который он вел с 1953 г. и опубликованный полностью в 2005-м, то там со всей откровенностью обнаружится сила его противостояния строю, отнюдь не приветствовавшему свободу мысли и слова. Противостояния индивидуума, внутренне убежденного в своей правоте, и оттого еще более впечатляющего. Как этот огромный, почти 800-страничный крупноформатный том, как онегинский Евгений перед Медным Всадником, как Розанов, бросивший вызов громаде всей, по сути, дореволюционной культуры во имя правды «маленького человека» с «малой родины».

Этих двух «маленьких людей» (на самом деле — немаленьких) роднит костромская почва. С разным опытом и судьбой, с отталкиванием Дедкова от Розанова, но, в конце концов, она их сроднила. В 1963 году И. Дедков В. Розанова вроде бы категорически не приемлет, но уже нет «возмущения, отрицания, отфыркивания» от него. И только в 1982 году Дедков запишет о Розанове, по поводу его переписки с К. Леонтьевым: «Чрезвычайно интересен Леонтьев, но не менее — Розанов. И, конечно же, Розанов ближе, а иногда удивительно точен... леонтьевский и розановский углы зрения-понимания по-своему уникальны и независимы. Кроме того, получаешь удовольствие “стилистического” рода».

И совсем не обязательно, чтобы Дедков был почитателем и поклонником Розанова, у которого так много зависело от настроения. А Дедков зависеть от него не хочет — не та эпоха! Розанов был «сам собой», настроение, по-видимому, им правило. Но хорошо ли это?.. Ведь может Розанов совершенно искренне подивиться и легонько возмутиться тому, что вот помнят поэтов, а полководцев — нет. (И слава богу, что не помнят!) «Нужна великая, прекрасная и полезная жизнь!» — «Бессодержательное краснобайство», — возмущается Дедков в 1967 году. И это вполне нормально, потому что сусальный Розанов никому не нужен. Да и в свое время он таким, «иконным», ни для кого не был.

Но в начале XXI века, в эпоху «провинциальной столичности», Розанов становится актуальным. В обожании ли, в полемике с ним — все равно. Важность, злободневность Розанова и показывает А. Зябликов в своей книге, в этом он на первой же странице признается: «Волжским простором наполнена, костромским дождичком вспоена философия моего великого земляка Василия Розанова. Каждый раз с радостным предвкушением новых открытий погружаюсь в его литературное волхование. Пытаюсь понять тайну его сумасшедшей органики, его ничем не замутненной русскости...» («От автора»). Таким же образом можно попытаться осмыслить и «тайну» книги самого А. Зябликова, розановской не по стилю, а по духу и смыслу. И по настроениям, то минорным, то мажорным. В последней главе «костромского» раздела книги автор абсолютно уверен, что Кострому Розанов «более чем любил». Несмотря на то что провел в ней самые горькие детские годы (1861—1870). Но в итоге «костромской» для него «значит типично великорусский, архирусский». В «Уединенном», продолжает А. Зябликов, «Кострома упоминается Розановым как синоним всего безыскусно-настоящего», «конкретного», «жизненного».

Тут я и вспомнил свой доклад на конференции этого года, который как раз посвятил ключевому для Дедкова и В. Астафьева понятию «жизни» в ее возможной полноте, свободной от идеологических схем, навязываемых слишком уж назойливым государством. Дедков, однако, критиковал Астафьева за то, что тот резко усилил публицистическое начало в «Царь-рыбе», «Печальном детективе», в романе «Прокляты и убиты». Это казалось критику неоправданным сужением той самой жизни с большой буквы, самодостаточной в своем существовании. Хотя почему бы и авторский голос, публицистическое начало не включить в проявления все той же неделимой на части жизни?

Астафьев тяготел к борьбе с властью, Дедков же предпочитал индивидуальное противостояние / сопротивление ей. И это не разные типы провинциального самосознания, а его грани, проявление универсальности этого специфического самосознания. Ибо и Дедков мог так «приделать» лит. генералов вроде Ю. Бондарева или Е. Исаева, что Астафьев, как он пишет, «чуть со стула не упал от точности и умного слова, взревшего в тихой и суровой русской провинции». И разве не такими были Ф. Абрамов, В. Богомоллов, В. Семин, А. Адамович, Ю. Трифионов и, конечно, В. Быков и А. Солже-

ницын, особо любимые и Дедковым, и Астафьевым?

Находит Дедков эту Жизнь и в произведениях трех главных сибиряков — Астафьева, Распутина и Шукшина, и у С. Залыгина, которому посвятил отдельную книгу. Когда я делал в прошлом году доклад об этой книге Дедкова и о помощи Н. Яновского в осмыслении Дедковым «сибирской темы», мне возразили, что книга была написана критиком «на заказ». Пусть даже и так, хотя это понятие плохо соотносится с принципами Дедкова. Но какое знание Сибири, особенно литературной, он показал! Достаточно взглянуть на примечания: вместе с Ф. Шлегелем и Дж. Коллингвудом, В. Катаевым и Б. Пастернаком значатся А. Лейфер и В. Утков, Г. Гребенщиков, А. Новоселов, А. Топоров, В. Зазубрин и даже Г. Потанин. Любопытно, что к словам крестьянки из коммуны А. Топорова, говорившей в 1927 году о зазубринских «Двух мирах», Дедков мгновенно подбирает параллель из П. Флоренского, друга и соратника Розанова: «Художник есть чистое, простое око, взирающее на мир, чистое око человечества, которым оно созерцает реальность»... «Око» не должно быть «замусорено: ложными взглядами, теориями», — цитирует Дедков запрещенного (но пылливый критик отыскал-таки статью в легальном журнале «Декоративное искусство») советской властью философа еще во вполне советском 1985-м.

Сибирским «Розановым» стал для Дедкова Н. Яновский, посылавший костромичу тома «Литературного наследства Сибири» с Н. Ядринцевым и Г. Потаниным, весьма заинтересовавшими Дедкова. Он оценивает фигуру Н. Яновского как общероссийскую, масштабную («мысль в России существует зрелая и здравая»), записывает он в «Дневнике» после личного знакомства с Н. Яновским в 1980 году), стоящую в одном ряду с этими великими сибиряками. Их мысль о «федеральной идее» «когда-нибудь и пригодится России», — писал Дедков Яновскому в 1981 году. Символично и то, что последнюю свою статью Дедков посвятил А. Щапову, одному из сибирских патриотов, современнику Ядринцева и Потанина.

Дедков и Розанов — великие провинциалы, заслуженные костромичи, с бесконечностью рефлексии — и вглубь и вширь, простирившейся до Сибири у Дедкова и до Древнего Египта у Розанова. Для костромичей они — живые современники, всегда готовые к диалогу и сотворчеству. А. Зябликов в своей книге пишет словно в незримом присутствии этих вечных костромичей, отчего и его

«Провинциальная столица» выглядит не просто «очерками», как значится в подзаголовке, а, так сказать, беседами, наследующими «Опавшим листьям» Розанова и «Дневнику» Дедкова с их бескомпромиссностью. А в позапрошгодней статье в «Костромском гуманитарном вестнике» он вступил в заочный диалог с обоими. Розанов «считал преступным отлучение от государственного строительства ярких представителей интеллигенции», Дедков, наоборот, — благом, Зябликов выбирает мудрую середину. И находит для этого «срединное» слово «*внеприсутствие*», где все права во взаимоотношениях с властью на стороне «художника»-интеллигента, соблюдающего дистанцию.

О том, что это полурозановское-полудедковское словечко истинно костромское, говорит последний раздел книги «Заметки о костромских писателях и художниках», где приоритет отдается вышедшим из андеграунда в 90-е годы О. Губанову, С. Савину, Е. Разумову, Ю. Бекишеву и, конечно, Александру Бугрову. В 2010-е я собственными глазами видел, как он, тренер шахматной школы, интеллектуал-эрудит, знаток Розанова, посрамивший однажды академических розановедов, лидер городских неформалов, заседает в президиуме Дедковских чтений в КГТУ и выступает на пленарных заседаниях вместе с почтенными профессорами. Чисто костромской феномен!

Если бы он, человек-легенда, местный Бодлер и не сидел бы в президиуме, то все равно незримо присутствовал бы там, вер-

нее, «*внеприсутствовал*». Его образ-имидж просто-таки врезается в память: бритая налысо голова, доброе, улыбочное лицо то ли большого ребенка, то ли буддийского мудреца вне возраста и времени. И тут я словно прозрел: как бы идеально совмещались изображения Дедкова и Бугрова, если последнему примерить характерную пышную прическу Игоря Александровича! Тот же добрый взгляд и свет глаз, полуулыбка и внутренняя сосредоточенность. Позднее я прочитал в новой книге о Дедкове, купленной в кулуарах конференции, в воспоминаниях Бугрова: «В какой-то период своей жизни я хотел быть похожим на него». Было это в начале 80-х, прошло много лет, а похожесть осталась. Сознательная или внесознательная, ибо, его ученик, он верит, что «время Дедкова не прошло, и в вечности русской литературы имя Дедкова займет свое достойное место».

Писалось это А. Бугровым в контексте размышлений на будоражащую интеллигентную Кострому до сих пор тему «Игорь Дедков и Василий Розанов», где Розанов все-таки явно превосходит в известности своего «антипода». «Сейчас он (В. Розанов. — В. Я.) один из самых издаваемых и читаемых авторов», — пишет А. Бугров. Но иначе и быть не могло, слишком разными были эпохи, создавшие их. Зато почва, *genius loci*, была одна — Кострома, амбивалентная и оксюморонная, проклинаемая (были такие периоды и у Розанова, и у Дедкова) и бесконечно любимая. Одним словом, провинциальная столица, история которой еще далеко не закончена.



АВТОРЫ НОМЕРА

Алейников Владимир Дмитриевич родился в 1946 году в Перми. Вырос на Украине. Окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Основатель и лидер литературного сообщества СМОГ. Автор многих книг стихов и прозы. Лауреат премии Андрея Белого, других литературных премий. Член Союза писателей Москвы. Живет в Коктебеле и в Москве.

Белковец Лариса Прокопьевна, доктор исторических наук, профессор Томского государственного университета. Автор более 160 научных и учебно-методических работ, в том числе 10 монографий и учебных пособий. Член-корреспондент Сибирского отделения Академии наук высшей школы. Специалист по истории российско-германских дипломатических отношений. Преподаватель Новосибирского юридического института (филиала) Томского государственного университета. Живет в Новосибирске.

Белковец Сергей Владимирович, кандидат исторических наук, доцент Сибирского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Живет в Новосибирске.

Зафесов Юрий Муратович родился в 1959 году на прииске Артемовск Бодайбинского района Иркутской области. Окончил Московское командное училище им. Верховного Совета РСФСР. Автор поэтических книг «Медостав» (1989), «Белый ворон» (2003), «Водопад» (2013). Член Союза писателей России.

Казарин Юрий Викторович родился в Свердловске в 1955 г. Автор нескольких книг стихов и монографий, посвященных исследованию поэтического текста. Доктор филологических наук, профессор. Живет в Екатеринбурге.

Копытов Олег Николаевич родился в 1963 г. Окончил филологический факультет МГУ. Доцент Хабаровского государственного института искусств и культуры. Художественная проза, литературно-критические статьи и публицистика печатались в журналах «Дальний Восток», «Сибирь» и пр. Кандидат филологических наук. Живет в Хабаровске.

Крамер Александр родился в 1953 г. в Харькове. Окончил политехнический институт, заводской инженер. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Веси», «Дарьял» и др. Живет в Германии.

Крюкова Елена Николаевна родилась в 1956 году в Самаре. Окончила Московскую государственную консерваторию им. Чайковского и Литературный институт им. Горького. Публиковалась в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Знамя» и других периодических изданиях. Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

Пашкевич Алесь родился в 1972 г. в деревне Набушево Минской области. Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета. Поэт, прозаик, литературовед, переводчик, публицист. Председатель Союза белорусских писателей с 2002 г. Член Белорусского союза журналистов. Живет в Минске.

Поздняков Борис родился в 1945 году в Барнауле. Окончил юридический факультет Томского государственного университета, работал юрисконсультом на различных предприятиях Павлодара (Казахстан). Автор сборников поэзии и прозы. Живет в Новосибирске.

Титов Владимир Игоревич родился в 1980 г. Окончил Новосибирский медицинский университет по специальности «Психиатрия». Ответственный секретарь журнала «Сибирские огни». Живет в Новосибирске.

Ульзыгуев Амарсана Дондокович родился в городе Улан-Удэ. В 1985 г. окончил Литературный институт имени Горького. Публиковался в журналах «Арион», «Юность», «Дружба народов» и пр., автор поэтических сборников «Утро навсегда» (2002), «Сверхновый» (2009).

Шляпентох Дмитрий родился в 1950 году в Украине, окончил исторический факультет МГУ, жил и работал в новосибирском Академгородке. Эмигрировал в США в 1979 году. Адыонкт-профессор исторического факультета университета штата Индиана, South Bend. Автор книги «Восток против Запада» (США). Живет в США.

Яранцев Владимир Николаевич родился в 1958 году в г. Калинин. Окончил гуманитарный факультет Новосибирского государственного университета. Член Союза писателей России. Публиковался в журналах «Гуманитарные науки Сибири», «Сибирские огни». Кандидат филологических наук. Живет в Новосибирске.